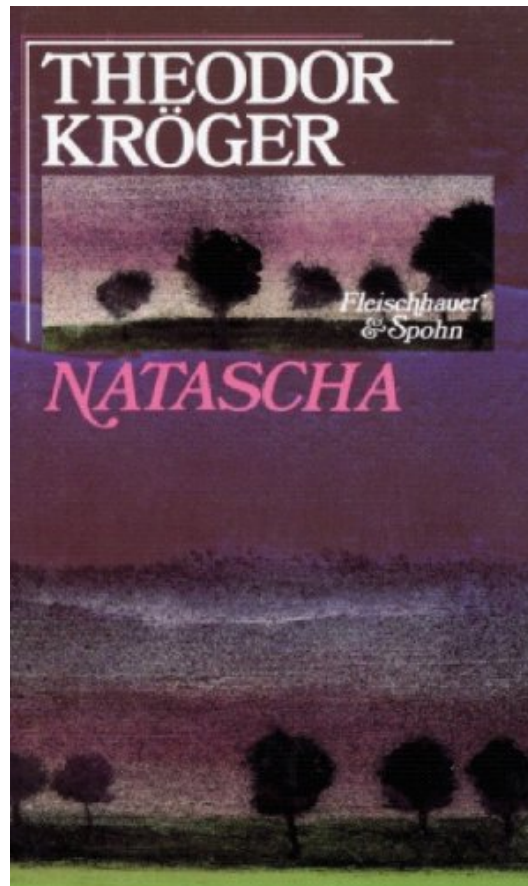


Теодор Крёгер

НАТАША

РОМАН



Издательство «Бертельсман Лезеринг», Гютерсло, 1963 год.

Аннотация:

Что чувствует человек, которому после долгих лет ссылки в сибирских лагерях удастся, наконец, вырваться на свободу? Ненависть ли это, безразличие – или также любовь? Этот роман, который Теодор Крёгер написал в качестве продолжения своей популярной книги «Забятая деревня», пытается ответить на этот вопрос. Читатель увидит в книге Берлин двадцатых и тридцатых годов, узнает волнующую и захватывающую историю маленькой полусироты Наташи, ставшей знаменитой танцовщицей ревю и актрисой, а также прочтет о возвращении Крё-

гера в Забытое, в ту самую «забытую деревню», мир и люди в которой не изменились. Роман был впервые опубликован уже после смерти автора его вдовой Хильдегард Крёгер в 1960 году.

(Аннотация взята из издания 1993 года, издательство Фляйшхауэр & Спон.)

От переводчика. Роман «Наташа» популярного в 1930-1940-х годах немецкого писателя Теодора Крёгера (настоящее имя Бернхард Альтшвагер, 1891-1958) представляет собой продолжение его первого и самого известного произведения «Забытая деревня». Как и «Забытая деревня», эта книга тоже написана от первого лица и основывается на личном опыте автора. Однако следует подчеркнуть, что обе эти книги являются не мемуарами, а исключительно художественными произведениями, да и биография самого главного героя и рассказчика не совсем совпадает с биографией автора. Достаточно упомянуть, что отец Бернхарда Альтшвагера владел в Петербурге лишь часовым магазином, тогда как в романах Крёгера он описан как действительно крупный промышленник, владелец литейных заводов. Потому искать реальные прототипы действующих лиц, отмечать несовпадения в хронологии, невероятные моменты в сюжете и т.п. просто не имеет смысла. (В.К.)

Изложенные частично в виде романа описания событий, пережитых моим мужем после Первой мировой войны находились в состоянии черновой рукописи, когда неумолимая смерть слишком рано лишила Теодора Крёгера возможности завершить свой труд. События, описанные в «Наташе», неразрывно связаны с его предшествовавшим пребыванием в ссылке в Сибири.

Многочисленные вопросы читателей о дальнейших произведениях моего мужа помогли созреть моему решению не утаивать также эту его последнюю работу от верного круга его читателей.

Осень 1960 года

Хильдегард Крёгер

С разорванными парусами, разбитый штормом, так гордый некогда корабль приходит порой в чужую гавань после долгого путешествия.

Так случилось и со мной.

Целый период моей жизни закончился. Он безжалостно привел меня из сияющих высот во мрак. Я был лишен света, в котором я жил, будучи молодым человеком, света, освещавшего и согревавшего все мое бытие. Он одурачил меня как многих других, также моих товарищей по Сибири, которые безмолвно и полные презрения к жизни уходили из этого же сияния в тень.

Я пристально смотрел на основание горящей свечи, в темноту, которая всегда лежит там. Таково и наше существование: свет и тень! Четыре месяца назад началось мое бегство в одной из многих забытых деревень Северной Сибири. Оно вело меня на протяжении почти восьмисот километров, в большинстве случаев по ночам, через тайгу. Голод и бураны последней зимы безжалостно опустошили поселения, и немногие люди, которые еще оставались там, уже походили на зверей. С моей маленькой, косматой лошадкой Колькой я пробирался от одного убежища к другому, от одного крохотного костра к другому, пока я не достиг, наконец, однокольной транссибирской железнодорожной линии. Там меня избил патруль Красной армии. Только тот позыв к движению во мне, который механически заставляет человека идти дальше, привел меня в Германию, в Берлин и в эту дешевую, снимаемую почасово комнату у вокзала Фридрихштрассе.

Теперь, наконец, я хотел подумать о себе самом, побыть в одиночку с тем, что я еще спас вместе с крохотным остатком жизни. Свеча горела...

Мой силуэт, приобретший огромный размер, беспокойно витал рядом со мной, время от времени двигаясь как призрак, когда пламя колебалось на ветру. Свет изображал контуры согнувшегося мужчины, растрепанные волосы, перевязанную правую руку под накинутой на нее курткой и бесформенное бедро правой ноги, которое едва ли помещалось даже в распоротых брюках. Но самым большим, доминирующим над всем, как будто он своими огромными размерами хотел еще больше подчеркнуть эту тень или даже защитить ее от любых будущих происков, стоял, прислонившись рядом, костыль из сибирской березы, мой последний оставшийся попутчик, сопровождавший меня издалека, еще с той стороны границы, на который сначала опирался калека, и который потом после с трудом пройденного пути вместе с ним должен был погибнуть где-то здесь. Это было на транссибирской железной дороге, поблизости от города Перми в Ураль-

ских горах, где один старый крестьянин, не сказав ни слова, сделал для меня этого друга.

Уже тогда я не понимал, куда и зачем я иду, что заставляет меня, хромая, продолжать путь к неизвестному мне месту, к неведомой цели?

Чего же я хотел еще? Испытать новые взлеты и падения, как я уже знал их? Что они значили для меня и что означали все эти привитые понятия? Я уже ушел от них. Я слишком далеко ушел. Я познал слишком многое из этой жизни. Я слишком многое увидел и испытал за ее грязными кулисами, и перенес слишком много за последние годы... Смог ли бы мозг еще навязать новую волю даже этим разбитым конечностям? Может быть. Но зачем? Только для того, чтобы и дальше терпеть одиночество?

Я хотел только оставаться один с оставшимся мне кусочком жизни. Эта жизнь походила на мою тень, которую, как призрак, двигало тихое дуновение сквозняка. Но внутри меня все еще бодрствовало. Во мне непроизвольно возникали все новые и новые воспоминания.

Это была юная девушка, простое лицо которой, обрамленное простой крестьянской косынкой, боязливо и нерешительно стояло передо мной. Незадолго до моего отъезда из Петербурга мы поженились; благодаря этому я помог ей бежать на Запад.

С самого первого момента, когда меня положили на солому в вагоне для скота, эта русская девушка выполняла свой долг милосердия также перед моими ранеными товарищами и больше не отходила от меня.

Отъезд по невыясненным причинам задерживался на несколько дней. Наши скудные пайки были съедены. За ранеными не ухаживали. Постоянно охраняющие нас чекисты, молодые, крепкие мужчины из «Чрезвычайной комиссии» в черных кожаных куртках, с только что отштампованными советскими звездами на фуражках, пожалуй, думали, что смогут заработать себе первые награды своей преувеличенной строгостью и своими постоянно снятыми с предохранителя револьверами «Наган». Мы могли рассчитывать почти исключительно на помощь нескольких наших женщин, которые вышли замуж за пленных солдат в России, а те, в свою очередь, зависели от разрешения приносить нам питьевую воду из колонки на разрушенной обстрелами железнодорожной станции.

Тягостная тишина вдоль вереницы вагонов только иногда прерывалась стенаниями раненых. Не было ни ткани, ни даже клочка бумаги, чтобы перебинтовать наши раны, так что скоро нас окружил ужасающий всепроникающий запах. Бо-

ли усилились до невыносимости. Когда, наконец, двери вагонов были задвинуты, когда колеса начали катиться, тут же моя «жена» легла рядом со мной, и ее холодные, нервничающие руки, которые тоже уже несколько дней не прикасались к воде, гладили меня по лбу. Вероятно, она, эта стройная, белокурая женщина, до сих пор избалованный и оберегаемый ребенок из уважаемой семьи, покраснела при этом первом соприкосновении?

Я видел, как на рассвете она сидела на корточках рядом со мной, в грязном тупе из овечьей шерсти и в юфтевых сапогах, или, благодаря добродушию нового часового, стояла, прислонившись к раме немного приоткрытой двери. Все же, всякий раз, когда мы проходили новую проверку, о частоте и придирках которых мы больше не знали, и они выкрикивали оба наши имени, она представлялась громко, даже если при этом тревожно прикладывала руки к своему сердцу. Она поправляла мне солому под головой, снова и снова осторожно клала одеяло на разбитое плечо и когда она думала, что другие товарищи спят, нашептывала мне одобряющие слова, настолько близко и сердечно, что я чувствовал ее губы на моем ухе. Затем мы приехали в Берлин – к нашей цели.

Она стояла передо мной у широко раскрытой сдвижной двери вагона. На ее руке висел по-крестьянски связанный узелок из пестрого ситца, из которого еще высовывался наш помятый медный чайник, незаменимый спутник на бескрайних расстояниях России. Она поспешно достала его, потом наш единственный нож, который нам позволено было иметь, и положила оба предмета рядом со мной, как будто я теперь с этими ставшими ценными вещами должен был идти еще очень далеко, но теперь совсем в одиночку. Вероятно, она была права! Две станции городской железной дороги могли оказаться настолько бесконечно далеки, что человек навсегда терялся в жизни. Прядь ее спутанных волос выскользнула из-под косынки. Слезы появлялись под ресницами и медленно скользили вниз по щекам. Она, кажется, мерзла.

Вокзал был украшен новыми знаменами такой же новой Германской республики, гирляндами и приветствиями. Духовой оркестр с силой заиграл песню «На родине, на родине, там увидимся мы вновь». Выкрикиваемые имена проносились по воздуху, по эту и по ту сторону.

Родственники встретили молодую русскую девушку с цветами и благодарили меня громкими, но пустыми словами. Они стояли в почтительной позе и ждали, пока мы не попрощались. Мы воспринимали все это, как будто глядя издалека. Мы чувствовали себя бесконечно одинокими, потерянными в новом мире, берега которого мы, наконец, достигли после некоторых опасностей, и задавали себе вопрос о дальнейшем пути.

Мы должны были расстаться, как это и было оговорено.

- Федя..., – прошептала она. – Наша поездка заканчивается... Ночь за ночью мы лежали бок о бок, прислушиваясь к грохоту колес и рокоту корабельных двигателей... боясь, что это может внезапно прекратиться... Я была счастлива, что была тебе нужна. Из потока ее мыслей она смогла произнести только лишь слова: – ... и никто не примет тебя... спустя так много лет!

Тут поезд дернулся и медленно пришел в движение. Я не ощущал ничего, кроме покинутости и затихания знакомых звуков.

Ее робкий взгляд натолкнулся на меня. – Мы будем писать друг другу, Федя, в любом случае... никогда больше не потеряем друг друга из виду... Но куда?... Куда?... Да... Я не забуду тебя!

Держась рукой за поручень вагона, она пыталась шагать все быстрее и быстрее. Потом ее узелок упал, и она с криком споткнулась об него.

Больше я ее не видел...

С растущим упорством боли снова и снова одолевали меня в тускло освещенной комнате. Мои стоны наполняли тишину, и мой взгляд начал блуждать вокруг, как взгляд зверя в загоне.

Только лишь один шаг, одно только маленькое действие нужно было сделать, и потом меня принял бы окончательный, вечный покой...

Но приказ на это не поступал.

Что-то во мне еще жило!

Что-то во мне еще хотело жить!

Я ждал.

Ждал чего? Я этого не знал.

Но все же!

Обещание вернуться домой, вот что принудило меня прийти сюда.

Но это было упорное ожесточение, в сочетании с яростью и со стремлением в мгновение ощущавшихся более разрушить, уничтожить все вокруг себя, и за-

душить ту мнимую мудрость судьбы, которая допустила то, что моя когда-то любимая женщина, как и тысячи и тысячи товарищей по войне были зверски убиты где-то в бушующих снежных буранах в Сибири, заставить ее обнаружить слепоту и нищету.

До сих пор это ожесточение, которое было свойственно мне уже в молодости, всегда спасало меня, и оно снова усиливалось настолько мощно, что оно перебороло также ту тень, по которой я только что тосковал.

Значит, это оно еще жило во мне!

Пробили башенные часы, и я считал каждый из их девяти осторожных ударов. Затем, однако, меня снова одолели боли, которые я с некоторого времени мог успокаивать только лишь морфием, так как прежняя медицинская помощь была лишь временным решением. Наконец, боли заставили меня постоянно бодрствовать, принудили к однозначному действию, к сознательному использованию моей левой руки, к движению, которое уничтожало застой во мне.

Я достал свой набор для инъекций и сделал себе укол. При этом я также увидел крохотную капсулу, которую друзья предусмотрительно дали мне, чтобы я не был неподготовленным.

Она выскользнула у меня из пальцев... блеснула в свете свечи... разбилась.

Так же во мне упало и разбилось что-то очень, очень тяжелое, что мне до сих пор приходилось нести.

Теперь у меня не было больше ни того, ни другого. Но мне это уже не было и нужно.

Веки опускались. Тело, кажется, становилось невесомым. Боль постепенно проходила. Все мысли превращались в нереальные сны, становились осторожным, счастливым пребыванием в дали, нежная кобальтовая синь которой возвещала приближение будущего, кажущегося нереальным света, и в то же время звучало, едва слышно, безупречно исполняемое пианиссимо, покоясь в рожках, похожее на дуновение, и над всем этим невесомое вибрато виолончелей и скрипок.

Я внимательно слушал и слушал.

- Здравствуй, дядя Федя... Вот чай и сахар, – русские звуки тихого, неуверенного детского голоска застали меня врасплох, вопреки моей воле вернув к дей-

ствительности. Моя левая рука чувствует робкое прикосновение. – Задумался...?

Маленькая рука с крохотными ямочками лежит на моей руке, и когда мой взгляд скользит по ней дальше, он обнаруживает маленького, грациозного, просто одетого человечка с черными волосами и большими, говорящими глазами.

- Задумался? – повторяет девочка свой вопрос теперь еще тише и довольно долго ждет мой ответ. При этом она непрерывно смотрит на меня.

- Я уже один раз звала тебя. Прости, что помешала тебе... Ты ранен, у тебя, наверное, сильные боли, бедняжка? Пей чай и возьми кусочек сахара.

Девочка доверчиво кладет мне кусочек сахара в руку и придвигает стакан. – Моя мамочка передает это тебе с большим сердечным приветом. Мы русские. Убежали. Ты тоже?

Я киваю.

- Домовладелец пришел к нам и сказал: тут один человек прибыл из России, и в его документе стоит имя «Фёдор». Здесь на вокзале Фридрихштрассе шатается много всякого сброда, поэтому он также от каждого требует какой-то документ, как полицейский. Это он привел меня к тебе.

Она ждет снова, в надежде, что я что-то скажу.

- Мы живем здесь уже целый год, – добавляет она, как будто чувствуя в себе обязанность растормошить меня. – Я хожу здесь в школу, а моя мама... – Ее черные глаза внезапно наполняются невыразимой грустью. – У нее осталась только лишь культя... больше нет целых пальцев... Двумя маленькими кулачками она закрывает себе рот. – Ей их зажали дверью... когда отправляли моего папу и других в вагоне для скота, – добавляет она шепотом. Они и меня били, потому что я так кричала при этом. Она показывала мне на место на ее маленьких ладошках. – У моей мамочки осталось только по одной фаланге на каждом пальце... и с ними она теперь работает... Как же это Господь Бог терпит такую большую боль? – спрашивает она звонким голосом.

Моя левая рука медленно поднимается ко рту. Я откусываю кусок сахара, пью чай, в то время как вопрос ребенка продолжает звучать во мне.

- Мамочка очень просит тебя, чтобы ты перешел к нам, прямо через улицу, – убедительно говорит она. – Она больна, не может прийти сама. Она хочет спросить тебя, что там на родине...

Я опускаю голову, и ребенок сразу понимает мой немой ответ.

- Значит, мы еще долго не сможем поехать домой, искать папу и спрашивать о нем?

Малышка не хотела намеков, только полную ясность.

- Нет, деточка, еще долго нет.

Наши взгляды встречаются друг друга, и в них прячется все невысказанное и, все же, недвусмысленно жестокое.

- Но... почему это так, дядя Федя?

Я засовываю остаток сахара в рот, и при этом моя левая рука кажется мне такой тяжелой. Тогда я выпиваю стакан чая глоток за глотком, причем ребенок постоянно наблюдает за мной.

- Спасибо твоей маме за чай и сахар. Передай ей от меня большой привет и скажи ей, что она должна думать только лишь о тебе, деточка. Я болен, у меня сильные боли, и я приду в другой раз. – И я добавляю поспешно: – Позже, в ближайшие дни. А теперь позови ко мне домовладельца. Я хочу расплатиться и выехать.

- Куда? Переезжай сразу к нам! Мы должны поговорить с тобой. Обязательно! – она настаивает, и ее лицо внезапно становится алым как от сильного жара.

- Теперь я не могу. Сначала мне нужно пойти к врачу. Ты же сама видишь, я ранен.

- Да, да..., но ты же скоро придешь... когда снова будешь здоров? Ты же тогда точно придешь к нам, дядя Федя? – спрашивает она снова со странной настойчивостью и беспокойством, которое вызывает у меня почти физическую боль, так как в ней кроется такое большое отчаяние.

- Я хочу прийти. Ты только скажи мне, где ты живешь. Со слабым намеком на мимолетную улыбку она спешно выбегает из комнаты. Озабоченно я смотрю ей вслед. При этом мне в глаза бросаются ее тонкая фигурка и грациозная походка, хотя на ней тяжелые, массивные ботинки.

За почти не видимую нитку, похожую на кусок растрепанной марли, которая лежит под гипсовой повязкой, я вытаскиваю маленькую сумочку, беру оттуда одну банкноту и сразу засовываю ее в больную правую руку. Потом я бегло

осматриваю помещение. У него старые, темные занавески и обои, трехногая металлическая стойка с поврежденным умывальником в углу, рядом с ним ведро и ободранный диван. Дешевая почасовая комната!

- Это стоит только шесть марок, так как ты был здесь один, говорит наш домовладелец, – звучит детский голос. – И он дарит деньги мне. Он часто делает это. И мы не платим ему за квартиру, – тихо добавляет она. – Он по глазам моей мамочки угадывает любое ее желание, и при этом он такой увалень, как медведь.

Она останавливается и снова краснеет. Но затем она поворачивается к двери, пару секунд внимательно прислушивается и взволнованно шепчет мне в ухо: – Но мы все равно очень его боимся, знаешь!

– Я приду к вам. Я вытаскиваю монеты из сумки и даю ей деньги, однако, при этом я думаю, насколько это плохо обещать что-то вопреки своей воле, особенно ребенку, которого ведь нельзя разочаровывать в таком бедственном положении.

Девочка приносит мне костыль, ставит его мне под бок и забрасывает мой узелок с последними пожитками через хилое плечо. С напряжением всех своих сил малышка пытается поддержать меня. Ее лицо темно-красное от усилий, но она не отпускает меня, пока я, наконец, не встаю прямо.

- Ух! Ты тяжелый как каменная глыба, да еще и большой как дом. И все же я боюсь причинить тебе боль, – запыхавшись, произносит она. – Твой костыль ведь из березы! Это самое красивое дерево. Я очень люблю его, так как оно переливается красками при каждом дыхании ветра и шумит, и даже разговаривает. А ты знаешь сказку о маленькой царевне, которую заколдовали и превратили в березу?

- Да. Она была красивой и очень стройной, у нее были белокурые волосы и всегда печальный голос, который потом превратился в шум березы.

- И так как у нее не было братьев и сестер, она больше всего любила детей.

Я чувствую, как мы понимаем друг друга все лучше.

Девочка задувает свечу, и мы выходим.

В коридоре пахнет влажным грязным бельем. Через старую стеклянную дверь из нескольких «окошек», оклеенную пестрой клетчатой калькой, пробивается тусклый свет. Ребенок вешает на дверную ручку картонку с надписью: «Сдается»

почасово дешевая комната», и ступает впереди меня. Несколько стертых деревянных ступенек, полутемный коридор ведет нас во двор с выстроенными в ряд мусорными ведрами. Многоэтажная световая шахта, освещенная несколькими окнами, гнетуще поднимается над двором как стена тюрьмы. Затем мы стоим на улице, в свете вечерних фонарей и в дымке лениво текущей Шпрее, на поверхности которой беспокойно мерцает свет. Вокруг темные стены, напоминающие кулисы. От вокзала Фридрихштрассе доносятся гудки машин. Там угрожающе лежит ярко-красный свет метрополии.

На противоположной стороне улицы ребенок останавливается. Он все еще подпирает меня всей своей силой.

- Вот здесь мы живем. Но ты же точно придешь к нам, дядя Федя,- спрашивает она снова с той же настойчивостью и беспокойством.

- Совершенно точно!

- Только точно запомни адрес! Номер дома стоит над воротами! Во дворе, сразу справа на первом этаже мы и живем. Наша фамилия Андреевы, а меня зовут Наташа. Не забудь..., пожалуйста! Мы будем ждать тебя, слышишь? – при этом она очень осторожно встряхивает меня, чтобы придать силу ее словам. – Однако у тебя нет денег, и твоя больная рука, нога...

Внезапно она кладет мне свои раскрытые ладони на грудь, долго смотрит на меня, не в состоянии говорить дальше. Ее глаза приковывают меня. Ее губы начинают дрожать. – Может быть, ты даже сможешь жить у нас. Мы будем добры к тебе. Тогда мы тоже больше не будем одни. Ты ведь достаточно силен! Нам очень тяжело... жить без защиты, ведь у моей мамочки... такие бедные ручки... ты знаешь, дядя Федя.

Я держу ее и в то же время пытаюсь ее гладить.

Тут она поднимает взгляд. Слезы появляются у нее в глазах, медленно текут по щекам вниз. Она опускает голову и всхлипывает тихо и безнадежно. – Это так тяжело, так трудно... одиноко...

- Наташенька, не плачь, душенька! Смотри, что я принес вам. Теперь беги, только быстро!

Я кладу девочке в ладошку сложенную купюру, сжимаю ее пальцы над ней, и, охваченный неожиданной нежностью к этому испуганному ребенку, я склоняюсь к ней и касаюсь ее щек губами.

- Но у тебя же у самого нет...

- Быстрей, дитя мое, не оставляй свою маму дольше одну! – добавляю я поспешно и нежно отталкиваю ее от себя.

Изящная фигурка вбегает в черные ночные ворота и исчезает из виду.

А я хромаю дальше, так быстро, как только могу, прочь, так как я сознательно обманул Наташу.

Это был теплый вечер. Оживленное движение заполнило давно знакомую местность. На находящемся на возвышении городском вокзале один пригородный поезд следовал за другим, и я слышал, как быстро и громко закрываются двери многочисленных купе. Синие вагоны Международного общества спальных вагонов катились сюда со стороны Силезского вокзала, в окнах горели маленькие настольные лампы с красными абажурами, на длинных белых табличках красовались названия городов: Париж, Остенде, Хук-ван-Холланд, Лондон, и так как кочегар как раз открыл топку паровоза, адски-красный жар накрыл своим светом весь зал ожидания и прилегающие дома. Свет, жизнь, голоса над мерцающим асфальтом: картины, которые я уже так много лет не видел, о которых я когда-то с такой большой увлеченностью рассказывал одной молодой татарке в самой глубине Сибири.

Когда буря, ужасная снежная буря в Северной Сибири, пронесся над нашими одинокими, прижимающимися друг к другу деревянными избами, засыпая их плотными волнами снежинок размером с лист дерева, снова погружая все во тьму, я, как будто заклиная, рассказывал о Петербурге, Берлине и других больших городах: «Там сейчас жизнь и свет, Фаиме! Там много, очень много людей ходит по улицам и смотрит в сверкающие витрины, говорят друг с другом, смеются, ходят в оперу, на балет, залитые ярким, не знающим тени светом из расточительно больших хрустальных люстр!» В это момент я смотрел, твердо сцепив пальцы, на тусклый свет нашей керосиновой лампы. Потом я внезапно встал, несколько раз обошел комнату, поспешно погладил Фаиме по голове, прижимая ее к себе с большой страстью. «Я возьму тебя с собой, Фаиме! Я возьму тебя с собой! Я клянусь тебе! Ты должна поехать со мной!» Она взглянула на меня, я видел, как сверкают ее черные глаза, щеки начали пылать; тогда мое сердце забилось быстрее. Однако ей и нашему ребенку так и не удалось увидеть этот захватывающий свет дальних стран. Оба навсегда остались в убийственном буране и оставили меня в одиночестве. Я исчез на шесть лет – большой промежуток времени для проносящейся мимо тени человеческого существования. Погруженный в мысли, я стоял, прислонившись к стене дома, опираясь на костыль, и не мог идти дальше, в то время как все, что я видел,

быстро проносилось передо мной как картинки в калейдоскопе. Но все это больше ничего для меня не значило.

Усилившиеся снова боли напомнили мне, что надо идти дальше.

Пройдя еще несколько шагов, я увидел латунную вывеску одной из тех гостиниц, о которой мне говорили друзья. Я приблизился к швейцарской. Пожилой швейцар поднял голову от своей работы, однако его взгляд выжидающе оставался на бланке для регистрации. Я, как условлено, сделал только одну черту, как будто у меня только карандаш выскользнул из пальцев.

- Пожалуйста, можете заполнить бланк позже, в вашей комнате. Я проведу вас наверх.

Он уже схватил ключ, мой узелок, помог мне опереться на него и проводил к лифту. В комнате он оставался в привычном положении обученного гостиничного служащего. Мой взгляд быстро осмотрел удобно обставленное помещение с примыкающей ванной комнатой. Только теперь я почувствовал неопределимую усталость, полное безразличие, которое парализовало все мое мышление и мое тело.

- Пожалуйста, позовите побыстрее врача! Мои силы на исходе.

- Сейчас!

С помощью мужчины я лег на кровать, в том же виде, в котором пришел. Швейцар спешно вышел и закрыл дверь.

В короткие мгновения неясного пребывания в полусне перемешивалось все только что увиденное, сопровождаемое далекими гудками автомобилей, грохотом проезжающих поездов, отдельными звуками веселых людей. Наташа и ее поспешное исчезновение в черных воротах... Простое лицо моей «жены» появилось заплаканное передо мной, бледнело, исчезало... Наш маленький медный чайник был, к счастью, до края наполнен водой, она поднесла его к моему рту, я принялся жадно пить...

Мысли начали понемногу приобретать упорядоченную форму.

Время! Время! Оно же не может быть безвозвратно потеряно!

Фигура высокого, стройного мужчины постепенно приобретала более четкие контуры. Он подошел ко мне, осторожно взял мою левую руку, долго щупал

пульс, потом тихо произнес несколько слов, затем несколько предложений, которые я, однако, не понимал. Тонкие черты его лица были серьезны.

Я узнал его. Доктор Вайгерт!

- Который час? – спросил я.

- Четыре утра, – ответил он. Позже он беззвучно, как привидение, прошелся пару раз взад-вперед по полутемной комнате, спокойно разложил сверкающие бледным отблеском инструменты на ночном столике, пододвинул стул к кровати, сел и снова нащупал мой пульс. – Я подготовил все, чтобы снять гипсовую повязку, перевязать вас заново. Гипс весь пропитан кровью. Нужно как можно быстрее сделать операцию, потому что есть опасность заражения крови. Профессор Пайр в Лейпциге был бы самым подходящим специалистом для этого.

Следующие дни исчезли из моей памяти. Они были наполнены только мгновениями едва ли прочувствованного бодрствования, за которыми следовали представления, в которых прежняя действительность и фантазия хаотично смешивались. Я осознанно воспринимал только маленького, полного мужчину с белоснежными, коротко подстриженными волосами и маленькой эспаньолкой: тайный советник Пайр, знаменитый хирург. Он задавал мне все время одни и те же вопросы: ампутировать правую руку или заменить разбитый плечевой сустав искусственным? Он сидел на краю кровати и как подобный отцу друг представлял все причины, которые должны были оправдать ампутацию, поддерживаемый своим элегантным ординатором, доктором Геригом.

Пайр утверждал, что он вряд ли мог бы удалить последний и самый маленький осколок из сочленения плеча, так как это были как раз осколки костей, а не металлические осколки. Однако это неприятное обстоятельство должно было повлечь за собой неизбежный факт более позднего, вероятно также более частого и очень болезненного отторжения кости. Вследствие этого одновременно ускорилась бы прогрессивная мышечная атрофия всей руки, в сопровождении временного полного паралича, который в свою очередь стал бы причиной соответствующей непригодности к работе.

Я всегда возражал, когда видел Пайра. Я спорил с ним с ожесточением, да, мне даже хватило дерзости для того, что я однажды доказывал Пайру, этой медицинской величине, насколько он ошибается в своем утверждении, что ампутация руки стала бы лучшим решением. Да и что мне потом делать с только одной рукой?

Тайный советник гладил своими маленькими, толстыми пальцами, на которых еще можно было видеть следы талька, белую маленькую эспаньолку и молчал, якобы под впечатлением моего жесткого сопротивления, вероятно, однако, думая так: тот, кто умнее, тот уступает; но позже ему все равно придется ампутировать мою руку. Наконец, решение было принято: моя рука должна была быть сохранена с помощью искусственного сустава.

Снова действительность и фантазия перемешались. Далекое приближалось.

Глухой удар с силой бьет меня по черепу и болезненно-одурманивающе скользит по правому плечу вниз. Как странно... я ожидал его уже давно и, тем не менее, был поражен им. Блестящие штыки. Поднятые приклады винтовок. Выстрелы трещат. Гнетущая сила прижимает меня к земле. «Держите! Держите!» Хотят удержать меня...? Теперь я на ногах, бегу, нагнувшись головой вперед, и со всей силой врезаюсь в большую, движущуюся массу. Она уступает. Выстрелы щелкают как удары кнутом. Паника! Никто не знает, куда бежать! Но я знаю это! Колька, мой друг, моя сибирская лошадка, ржет. Колеса начинают катиться, грохочут беспрерывно.

Вороны кружатся вокруг нас, кричат хрипло и жадно. Мерзкие твари! Я стреляю в проклятую черную стаю. Пронзительно крича от ярости, они взлетают выше. Моя Колька мертва!... Моя маленькая, косматая сибирская лошадка! Теперь я совсем один.

Расплывчатые фигуры склоняются надо мной; они сильно пахнут лекарствами и причиняют мне очень сильную боль. «Бандиты напали на меня. Вы не верите в это, господин тайный советник?»

Синий ветер как дымка проносится в бледном свете утра над бескрайней тундрой за Северным полярным кругом. Болото... Силуэты искалеченных, кривых берез и сосен. Шумят сотни и сотни широких, могущественных крыльев. Тоска по свету и теплу уносит их в дальние страны. Потом все снова стихает. Под серо-черным, затянутым тучами небом надутые пургой снежные холмы громоздятся как застывшее море. Нагнувшиеся под тяжестью снега березы и кусты отмечают дорогу, по которой гонят в Сибирь каторжников. Группа ссыльных с трудом плетется по ней. Вороны каркают и кружатся вокруг шатающихся людей в дребезжащих цепях, также жадные серые псы, от куста к кусту. Звери надеются, что в бурани, который послал Дед Мороз из степи, сдохнет также эта колонна. Посреди волков беспечно идет Игнатьев, мерзкий писарь. Пьяная скотина постоянно натравливает волков на нас, хотя он даже не может видеть... так как у него больше нет глаз...

Волки поют свою жуткую вечернюю песню. Они и вороны подгоняют каторжников лучше, чем плетки конных казаков, так как даже самый жалкий не хочет остаться лежать, быть разорванным, борется за маленький кусочек жалкой жизни, цепляется за последнюю надежду. Батюшка-царь ведь иногда позволял милосердию стать выше правосудия.

- Вперед, сукины дети! Вперед! – Казак поднимает плетку, но никого не бьет, у него добродушное сердце. – Похоже, ты больше не можешь идти? – спрашивал он какого-то человека. – Ноги замерзли? Да, Сибирь холодна, очень холодна. Но подумай, как тепло будет на этапе! На! Выпей глоток! Матушка-водка дарит тепло.

Молодой человек, уставший до смерти, плетется дальше. Ноги больше не болят, они стали бесчувственными деревяшками. Как во сне он снова слышит призыв казаков: «Вперед, сукины дети! Вперед!», сопение лошадей и приближающийся вой волков... «Уууууу. Гав! Гав!... Ууууу...» Потом он падает. Медвежьи лапы казачьего унтер-офицера поднимают его на лошадь. Больные и мертвые только затрудняют доставку колонны.

Добрались до этапа. Ссылные валяются, так же как они шли, на пол, и спят. Но казачий унтер-офицер стоит на коленях и растирает снегом ступни молодого человека. Они полностью пропали, обморожение. Он тщетно пытается влить ему водку. Не в первый раз он ставит два огарка свечи по обе стороны умирающего. – Эй, собачьи души, знает кто-то из вас молитву? Ватага мрачно молчит, большинство храпит. Тогда старый унтер-офицер складывает руки умирающего на груди, расстегивает рубашку и кладет ему в застывшие пальцы маленький крест со своей груди. «Прости нам долги наши», произносит он низким басом и крестится. «Да придет царствие Твое... Да будет воля твоя... И защити нас от лукавого...» Кто-то раскрывает входную дверь. Смена караула... На ледяном ветру башни гаснут обе свечи.

Покачиваясь, я лежу на темной поверхности моря.

Клочки тумана скользят над водой и надо мной. Полярная звезда сверкает над бескрайней, безмолвной тундрой... Огромный серый северный олень с широкими рогами, на которых ярко горят новогодние свечи, тянет меня в санях в сторону нескольких юрт тунгусов, и хотя ветер крутящимся вихрем бродит вокруг, я, к моей радости, вижу, как из отверстия их юрты вылетают снопы искр. Они ждут меня, чтобы продать мне шкурки. Косматые собаки лайки начинают выть и лаять... Тунгусы... они отвергают мысль о физическом насилии.

Вероятно, те, которые должны будут распоряжаться нами, когда-то позже, намного позже – будут носить только самые простые, крепкие монашеские рясы и убедительно научат нас, что только чистота всех наших средств освящает цель?

Затем снова появляется море и его широкий, бушующий прибой. Пришедшая издалека волна осторожно поднимает меня вверх, несет меня все дальше и дальше прочь... За что и почему я уже умираю молодым?

Я не нахожу ответ...

И снова я увидел, как Пайр сидит рядом со мной. Он гладил белую маленькую эспаньолку своими маленькими, толстыми пальцами и внимательно наблюдал за мной. Он щупал мой пульс, и при этом я чувствовал приятное тепло его нежных рук хирурга, хотя я изо всех сил сопротивлялся новому бодрствованию и возвращению в сознательную реальность. Мысль, которая сначала медленно, а потом упорно завоевывала пространство во мне, мысль о том, что мне отныне придется справляться с жизнью и с ее трудностями как инвалид, беспокоила меня и вызывала во мне горечь. Наконец, через несколько дней я впервые почувствовал мою левую руку. Она с трудом поднималась, чтобы ощупать плечевой сустав правой руки. Но мне это никак не удавалось, и во мне вспыхнул гнев. Значит, Пайр все же ампутировал руку!

- Ваша рука лежит в вытягивающей повязке, – спокойно сказал он. – Сестра Шарлотта, зеркало!

Наши взгляды встретились. Также в этот раз на лице пожилого профессора было видно только понимание моих опасений. Потом зеркало убедило меня.

Проходили дни, потом недели.

Был вечер. Посещения тайного советника и его ассистентки, которые тщательно наблюдали за искусственным плечевым шарниром и делали свои заметки об этом, верные долгу хлопоты медицинской сестры, поданная с точностью до минуты еда, контролирование градусника, эти процедуры были, наконец, изгнаны за звуконепроницаемую двойную дверь, умолкли где-то за ней. Обе оконные створки были открыты как обычно широко. За ними лежал почти темный сад клиники с по-осеннему окрашенными деревьями и кустами, время от времени призрачно движущийся из-за дыхания ветра, окруженный высокой, напоминающей монастырскую стеной закрытый мир. Однако за его пределами непрерывно поднималось, ночь за ночью, захватывающее красноватое небо большого города – еще гораздо больший мир!

Я потушил свою лампу на ночном столике и долго, очень долго, смотрел из окна наружу, как будто бы эти два мира, на пороге которых я теперь стоял, могли дать мне намек, хоть какой-то знак.

Но ничего не последовало.

Все было тихо и безмолвно. Только когда ночь отступила, когда серый рассвет безразлично, но настойчиво, потребовал своего, принес ясность, я вспомнил свое обещание, которое за прошедшие годы совсем не утратило силу и значение, я вспомнил о моем отце!

Со дня экспроприации его предприятий в европейской и азиатской России по закону военного времени, после его интернирования в собственном доме, наконец, после отъезда в Германию, он вел только лишь призрачное существование. Предъявленный ему неким высокопоставленным чиновником сразу после начала мировой войны документ «О национализации всех предприятий» он прочитал тогда стоя, медленно, громко, слово за словом. Он понял это постановление как смертный приговор, даже если там и имелись две смягчающие оговорки: Он должен был немедленно включить свои литейные заводы в российскую военную промышленность, и он должен был получить российское гражданство; наследственное право почетного гражданина города Петербурга было дано ему уже давно.

Обе эти оговорки были для него неприемлемы. Он знал уже слишком много, и он оценивал будущее с прямо-таки зловещей ясностью. Когда-то веселый, самобытный великан, тип радующегося работе культурного европейца с духом ганзейских купцов, он уже почти не воспринимал жизнь и ее импульсы. Об этом он написал мне в Сибирь один единственный раз. Я знал, что он ждал и надеялся только лишь на мое возвращение и мое сообщение.

Таким я тогда и оставался, но день ото дня я становился все более нетерпеливым. Отделенное от мира существование посреди стен клиники, тихий приход и уход сестер и врачей, педантично точное распределение времени, постоянные вопросы о разрешении, можно ли сделать то или это, все это угрожало лишить меня остатков моего самообладания.

Время ползло удивительно медленно.

Левая нога явно выздоравливала, так как пуля была извлечена, шрам уже зажил. Правую ногу с раной длиной 15 см подвергали массажу, двигали с помощью ортопедического аппарата и добивались также быстрых успехов. Но правая рука! Комментарий тайного советника Пайра неделю за неделей звучал

одинаково: «Терпение!» Он порекомендовал мне через несколько недель поехать в Швейцарию, к профессору Роллье в Лезене. «Но на какой срок?» спросил я. Пайр лишь неопределенно пожал плечами.

Итак, мне нужно было снова научиться ждать и преодолевать себя самого, так же, как в многолетнем плену. «Пожалуйста, сестра, дайте мне блокнот и карандаш. Я хочу попытаться снова научиться писать, заниматься чем-нибудь».

Сестра Шарлотта поставила устройство для сидения на моей кровати более вертикально, чтобы я мог сидеть, и выполнила мое желание. Она была черноволосым, симпатичным созданием, и много лет прослужила военной медсестрой на Востоке исключительно во фронтовых военных госпиталях. Вечерами она рассказывала мне о том, как «красные» взяли ее в плен на Украине, и как немцы провели смелую вылазку, чтобы освободить ее. С терпением она начинала водить моей левой рукой. Я настроился и написал неразборчиво первые неуклюжие буквы. Первое письмо я написал отцу. Но потом я порвал его. Это ужасно, думал я, много лет думать только о сильном, здоровом сыне, чтобы потом внезапно узнать, что он стал инвалидом. Потом я написал нескольким санаториям в Швейцарии и при каждом запросе обеспокоено думал о высоких ценах.

Вскоре после этого я получил сообщение от Наташи. Чего она хотела от меня? Кто дал ей мой адрес? Почти рассержено я раскрыл ее письмо. В нем путались русские и немецкие слова, утопленные в потоке всех только мыслимых ошибок.

«Дорогой дядя Федя!

Когда я тогда возвращалась так быстро, ты уже исчез. Мой поиск тебя долго оставался напрасным. Наконец, я получила твой адрес. Ты жив, и мы очень рады этому! Скоро я напишу тебе очень длинное письмо, но, к сожалению, я только плохо умею писать. Ты видишь это. Я еще только учусь писать по-немецки в школе. Не беспокойся об ошибках, но все же точно исправляй их. Так ты еще научишься писать твоей последней рукой, левой. Когда ты придешь? Мы все еще ждем тебя. Тебя сердечно обнимает твоя Наташа».

За этим последовали несколько почти неразборчивых слов, написанных ее матерью. Невольный взгляд на мои пальцы, и я с дрожью подумал о рассказе ребенка: «У мамочки осталась только культия,... больше нет целых пальцев. И с ними она теперь работает...»

Потребность сказать несколько утешительных и теплых слов этому бедному ребенку принуждала меня снова и теперь часто братья за карандаш. Я старался быть понятным на самом простом языке ребенка. Также для меня цель была до-

стигнута: время стало идти быстрее, с ним вместе проходили размышления и ропот на судьбу. Последний ответ запаздывал, но, когда он пришел в толстом письме, я поймал себя на радости от того, что снова могу читать грубые каракули Наташи. Моей первой мыслью было то, что теперь и я мог бы писать ей так же много.

«Мой дорогой дядя Федя!

Твое длинное, милое письмо принесло нам всем большую печаль. Я читала его в школе, во время урока. На этом меня поймала моя учительница. Я сказала ей, что мой друг написал его мне, и как мы познакомились в снимаемой почасово комнате, так как моя мама послала меня к тебе. Наш домовладелец посредничал при этом. Его зовут господин Нойманн. Поэтому теперь мы должны были идти в полицию. Наш хозяин рычал как лев и называл мою учительницу глупой коровой и клялся поколотить ее. Он сказал, что он никогда не хотел продавать меня в почасовой комнате за деньги, и за бесплатно тоже нет. Моя мамочка – приличная женщина, даже если мы уже год не платим за комнату. Но в этом виновата только война, а не мы, говорил он. Еще в тот же вечер наш хозяин дал пощечину учительнице. Весь ее дом был на ногах, так она кричала. Теперь он должен заплатить штраф, но он с большим удовольствием сделает это, говорит он всюду очень громко.

Теперь все смотрят на меня, и мамочка плачет из-за нашего позора. Но разве это позор, дядя Федя? Теперь господин Нойманн заваливает нас деньгами и подарками. Теперь вся школа смотрит на меня. Но новый учитель и старый директор очень добры ко мне, не так как та тощая учительница. Теперь она больна.

Ах, письмо дается мне так тяжело. Сегодня я снова чувствую себя такой слабой. Если бы я только могла поговорить с тобой! Вечером мы молимся за тебя, как и за нашего папу.

Пиши быстро и очень много. Мне еще никто не писал писем».

Я ответил. Наташа сразу написала снова:

«Мы обе страшно взволнованы. Наш хозяин вдруг захотел жениться на моей мамочке. Она плачет. Она ведь уже замужем. Напиши ему об этом, ради Бога! Иначе он не поверит. Он хочет спросить тебя самого. Мамочка не может выйти за него замуж. Скоро мы сбежим отсюда, даже если у нас есть здесь еда и все. Все соседи уговаривают нас, что надо все же выйти за него замуж, он же богатый домовладелец. Тогда нам будет очень хорошо с ним. Когда же ты приедешь, дядя Федя? Мы очень ждем тебя, ведь мы так одиноки.

Я всегда очень сильно мерзну, очень часто я усталая и печальная. Иногда я чувствую себя такой слабой и жалкой, и мне всегда хочется плакать. Мне так трудно. Скажи, почему это так?»

Несколько позже я получил телеграмму, в которой господин Нойманн сообщал о своем визите.

Следующий день останется незабываемым! После нескольких недель я снова увидел всю мою фигуру в зеркале.

«Настоящий шедевр после четырех операций!» – заметил доктор Гериг, полный восхищения.

Медленно я отвернулся от моего отражения.

Пришло время обязательной прогулки, прихрамывая, в саду клиники. Впервые с моего детства я пытался одеться с чужой помощью. Насколько надоедливым это было! Неужели мне до смерти придется нуждаться в чьей-то помощи? Санитар поддерживал меня. Сестра Шарлотта встала на колени и зашнуровала мне новые ботинки, накинула мне новую куртку на плечи. Правая рука покоилась на проволочном каркасе. Она подала мне современный, регулируемый костыль. У меня были только новые вещи.

В углу еще стоял прислоненный мой старый костыль из светлой березы, на котором ежедневно останавливался мой взгляд. Я знал, что он всем мешал.

День, полный чудесной ясности, укутывал уединенную тишину сада и его маленьких тропок, где по-осеннему окрашенная листва своим шелестом предупреждала мои робкие шаги. Так медленно я шел.

Когда я потом снова вошел в мою комнату, она была педантично чистой, проветренной, кровать только что заправлена, и на столе уже стояли кофейный сервиз и букетик астр. Все же, вероятно, это правильно, подумал я, что меня заставляли, чтобы я и дальше что-то делал, что-то говорил, чтобы хромал дальше. Я не отвечал на вопросы сестры. Взгляд на часы. Я ждал. Но чего, собственно? Этого чужого человека, который вовсе не интересовал меня? Ответ, который он ожидал от меня, уже давно был predetermined. Разве он действительно не знал?

Мое отражение... Каким оно все же еще было?

Я непременно должен еще раз увидеть сам себя, оценить, должен быть уверенным!

Полный упрямства я поднимаюсь с дивана, сначала опираюсь на кофейный столик с рискованно тонкими ножками, хватаюсь за основание кровати, подтягиваю ноги, и стою со свободными руками! Кошусь в зеркало как беззащитный человек в сторону непреклонного врага, испытующе прищурив веки. Второй шаг; еще один. Я могу упасть. Только упрямство поддерживает меня.

Фигура, согнувшаяся, как хищная птица, выставившая в сторону парализованное, больное крыло, пристально и зло смотрит на меня из зеркала, не теряя меня ни на секунду из виду, безжалостно, строго, немного откидывается назад и цинично кривит угол рта, насмехаясь над самим собой и своим бессилием.

И каким я был раньше...?

Тогда, еще за несколько секунд до боя на вокзале...?

Я пытаюсь представить себе это. Но... внезапно я больше не знаю этого.

Я вижу только лишь эту дикую, похожую на хищную птицу фигуру, которая, согнувшись, стоит передо мной. Только ее.

И это я?

Я...

Внезапно я совершенно точно знаю, что я никогда, никогда больше не буду таким, каким был когда-то.

Фигура передо мной в зеркале расплывается. Я все еще пристально смотрю на нее, хотя едва ли уже что-то узнаю.

Тут входит сестра. Она испуганно смотрит на меня. – Мне уже надоело ваше кладбище! – говорю я несдержанно громко.

- К вам как раз гости, – отвечает она, в первый раз неуверенно.

- Что вы со мной делаете каждый день! Я хочу уйти, куда-нибудь. Я...

Наташа... Ее восклицание замирает на губах, едва она переступает порог моей комнаты, и только что сияющий взгляд ребенка становится мрачным. Но потом она робко подходит ко мне, охватывает меня руками и тихо начинает плакать, как в вечер нашей первой встречи. Сестра поддерживает меня. Мать Наташи и ее домовладелец входят и неуверенно приветствуют меня.

Господин Нойманн, статный, добродушный мужчина, пытается успокоить ребенка заботливыми словами, при этом с хитрой улыбкой осторожно снимает упаковочную бумагу с большого торта, и ставит его на кофейный столик вместе с двумя бутылками красного вина.

Малышка все еще цепляется за меня, гладит меня обеими руками, немного наклонив головку в сторону.

- Я буду сидеть рядом с тобой, и буду держать твою руку. Так делает мамочка, когда я болею. Тогда боли переходят на другого, как говорят.

Я киваю и пытаюсь улыбнуться.

Андреева, молодая женщина, с похожей на мальчика фигурой, просто одетая, с густыми темными волосами на прямой пробор, выделяется меланхолией в ее темных глазах, женщина, обаяние которой обезоруживает.

- Теперь у тебя есть твой дядя Федя, Наташенька! – тихо говорит она по-русски и краснеет. Ее правая рука в перчатке поднимается, как будто бы она хотела коснуться своего ребенка, вероятно, также, чтобы протянуть ее мне для приветствия. Но она смущенно снова опускает ее, и, хотя я рассматриваю при этом ее черты лица, в которых виден едва заметный оттенок далекой Азии, я в то же время вижу, насколько необычно мала эта рука. Женщина потупила взгляд.

- Дядя Федя, дорогой, почему же ты не позвал меня? И ты ни словечка не написал, что... – Наташа останавливается, пытается улыбнуться и смотрит на меня. – Я бы заботилась о тебе.

- Врачи никого не пускают ко мне.

- О, я могу просить и умолять так долго, пока самое жесткое сердце не смягчится. Ведь в России это все умеют, разве ты больше не знаешь? И немцы тоже милые, добрые, хорошие люди, и если они тогда соглашаются, то они всегда быстро махнут рукой.

Я пытаюсь шутить: – Если бы ты ходила с шарманщиком, ты могла бы зарабатывать много денег.

- Я не умею петь, но я могла бы научиться танцевать. Ведь мой папа был в Петербурге в балете при придворной опере!

Госпожа Андреева смотрит на нас обоих и любезно кивает.

Имя сольного танцора Андреева было широко известно. Здоровый юмор Нойманна и его шутки о моем многолюдном посещении воспринимаются с удовольствием, и вот мы уже сидим за кофейным столиком. Немного закатав рукава, он щедро и радостно распределяет свой торт и наливает нам саксонский «Blietchen». В нем присутствует что-то трогательно озабоченное, и наша беседа, которая ведется то на немецком, то на русском языке, не ослабевает, как будто бы мы уже давно знакомы друг с другом, и когда потом госпожа Андреева спрашивает о своей неожиданно исчезнувшей дочери, господин Нойманн сразу отправляется искать ребенка.

- Простите, пожалуйста! – сразу обращается она ко мне. – Я даже не знаю, кто вы, как вас зовут, – убедительно начинает говорить она. – Но ваше отношение к моему ребенку и ко мне, когда вы как раз приехали из России, дают мне надежду обратиться с сердечной просьбой к земляку. Это просьба отчаявшейся женщины! Ее левая рука импульсивно ложится на мою, однако сразу отдергивается.

- Это безнадежно! Быстрый ее взгляд указывает на стоящий рядом с нею стул, на котором сидел Нойманн. – Но ведь я не могу работать! И вы знаете... Внезапно она снимает перчатки и покорно кладет изувеченные руки передо мной.

Все во мне застывает.

- И с этим теперь работать, – шепчет она едва слышно. – Но как? Как?

В этот момент дверь очень широко раскрывается. – Ваш тайный советник, дорогой хозяин, упражняется с малышкой парой слов из русского языка. Он четыре года служил на Восточном фронте военным врачом, и тут он Наташу...

Господин Нойманн умолкает; он видит снятые перчатки. Медлительно он садится на свой стул и так сильно сжимает пальцы друг с другом, что они становятся темными.

- Если бы я мог отсечь мои пальцы, чтобы отдать их вам! Я тотчас сделал бы это! Почему вы снова и снова мучите себя и вместе с тем также меня? Успокойтесь, дорогая Татьяна!

Голос мужчины дрожит. Неуверенно он надевает ей специально изготовленные для нее перчатки и поспешно проглатывает стакан вина. – Скажите, пожалуйста, я могу здесь курить? Теперь мы все хотим покурить и дальше говорить друг с другом. Спички? Я, наверное, забыл их в машине. Как жаль! Ах, вот они! Как же я их сразу не нашел!

Мы курили, мы пили вино, и когда сестра Шарлотта обратила мое внимание на то, что уже поздно и меня ждет ужин, мы расставались с честным обещанием больше не терять друг друга из виду. На прощание ребенок оттянул меня в сторону, встал на носки и поспешно зашептал мне: – Попроси профессора объяснить тебе, как нужно заботиться о тебе, тогда мы быстро заберем тебя к себе. Ты знаешь... Мамочка все меньше говорит со мной, часто смотрит в одну точку. Я тогда очень боюсь. Ты же скоро напишешь мне снова? – добавила она убедительно радостно и громко, из чего господин Нойманн сделал вывод, как хорошо это стало бы для ее учебы. На лице госпожи Андреевой появилось сдержанное беспокойство. Я ободряюще кивнул ей.

Сестра Шарлотта принесла ужин и позже под села ко мне с вязанием, склонив над ним голову. При этом на лбу у нее слева я заметил широкий, темный шрам, который она получила от шальной пули во время боев за Ростов-на-Дону. Тыльная сторона кисти ее левой руки зажила плохо, безымянный палец отсутствовал полностью. Грудь поднималась в тихом вздохе.

- Да... Госпожа Андреева... – Она подняла нить и продолжила вязать. – Господин Нойманн надеется, что завоюет ее расположение своими деньгами. Мужчина за пятьдесят, который во всем остальном судит обо всех вещах так поделовому, должен был бы быть все же чуть благоразумнее.

- Он хороший, порядочный человек, но у него очень небольшой шанс добиться расположения. Он, к сожалению, по-своему слишком примитивен, а госпожа Андреева по-прежнему привязана к своему пропавшему мужу. Она сломалась из-за разлуки с ним и никогда больше не будет здоровой, если он не вернется назад.

- Но а где же ему искать свою семью, которая убежала, куда глаза глядят?

Ее иглы все время стучали. Внезапно она подняла взгляд вверх.

- А вы знаете, что Наташа нездорова? В ее правом легком есть темное пятно.

- Что вы говорите?

- Наш шеф поймал ее и просветил на рентгене. Это он делает быстро, еще до того, как сам человек что-то поймет. Но я восхищаюсь этим ребенком, ведь она не жалуется, не говорит ни слова об этом, хотя чувствует, что у нее постоянно что-то не в порядке.

- Теперь я понимаю слова ее письма. Она писала, что она часто мерзнет, устает и бывает печальной.

- Типичные признаки!

Несколько позже я спросил, неожиданно для себя самого: – Как вы думаете, сестра, я скоро смогу пользоваться моей рукой, по крайней мере, двигать ею так, чтобы я мог ею работать?

- Как я могу ответить вам на такой вопрос? Я в этом ничего не понимаю, я же не врач!

- Но, пожалуй, через один год, если бы я усердно грел ее на солнце где-то в Швейцарии? – настаивал я.

- В этом я уверена, так как шрамы у вас удивительно быстро заживают. Да, конечно!

Я горько улыбнулся. – Почему вы так испытующе смотрите на меня?

- Я почти не могу выдавать вам мои мысли, и еще меньше есть у меня право на это... Сестра немного покраснела и потом тихо произнесла: – Судьба положила к вашим ногам этого больного ребенка. Вы не можете пройти мимо.

Я ответил не сразу.

- Вы должны видеть мое положение, как и она. Денег хватит на лечение на курорте в Швейцарии только для меня одного, но для девочки их уже недостаточно. Кроме того, я только с трудом могу хоть как-то перебиваться. Вдобавок к этому мне придется постоянно быть рядом с Наташей, которая будет только мешать мне всюду и при каждой мысли? Я должен сначала подумать о себе самом. Вы и так уже достаточно подгоняете и травите здесь меня!

- Это была только такая моя мысль, – заметила она, как будто извиняясь.

Но эта мысль настойчиво преследовала меня. Не было ли это хорошо, что я встретил Наташу, потому что я впервые в жизни боялся изолированности?

Я добился моей выписки из клиники вопреки мнению тайного советника. Все во мне стремилось к тому, чтобы выйти из покоя больничной жизни. Так однажды утром я подготовился к отъезду, попрощался с покачивающим головой Пайром, внимательно выслушал его напоминания и советы, поблагодарил верную сестру Шарлотту, вместо которой мною теперь занялась симпатичная молодая сестра,

которая привычным способом засунула мне подмышку новый костыль. Взгляд на моего старого друга из березы, который все еще потерянно стоял в углу, и я начал колебаться, не взять ли мне с собой этого моего последнего товарища по Сибири.

- Но современный костыль красивее и удобнее, – заметила молодая сестра, слегка подчеркивая это свое утверждение, и немного улыбнулась, вероятно, удивившись моей сентиментальности.

- Да уж, какая радость обладать чем-то красивым в этом роде! – грубовато ответил я. – Я прошу вас, господин тайный советник, сохраните пока мой березовый костыль. Позже я попрошу прислать его мне.

Сад клиники показался мне в этот день особенно уединенным. Неуверенным шагом я переступил за порог садовой калитки. Почти задумчиво она скрипнула за мной, и ее замок защелкнулся.

Такси привезло нас к железной дороге. В купе мы сидели друг напротив друга, и я довольно долго рассеяно рассматривал молодой профиль румяной сестры, которая с любопытством пыталась смотреть на все, что проносилось за окном. Когда она замечала мой взгляд, она разглаживала свой темно-синий костюм, удостоверяться, сидел ли капот с красным крестом также безупречно, и не забывала приводить в порядок светлые волосы.

- Я почти не выезжала из города, и поэтому я очень рада нашей поездке, она даже не может быть для меня достаточно долгой. Вы можете это понять?

- Только не беспокойтесь.

Снова каждый погрузился в свои мысли.

- О, эта широкая река! Это, пожалуй, Эльба? Но я не вижу барж, – добавила она разочарованно.

- Это Заале.

- Ах да! Ведь Эльба впадает около Гамбурга в Северное море. Оттуда трансатлантические пароходы идут в Америку, в далекий мир! – В ее вздохе лежала тоска. – А как едут в Сибирь? – спросила она рассеянно и, пожалуй, больше из приличия.

- С вокзала Фридрихштрассе.

- Напрямую, без пересадок?
- Почти.
- Собственно, очень удобно.
- Верно.
- Но там же очень, очень холодно, и есть медведи и волки?
- Да, не самая приятная жизнь!
- Вы, наверное, смеетесь надо мной из-за этих вечных глупых расспросов и думаете, что я наивная. Пожалуйста, простите меня... Я была рассеяна, – добавила она, покраснев, и откинулась назад в кресло.
- Ах, людям всегда хотелось бы увидеть так много в этом мире. Я много бы дала за это! Шесть недель назад я получила свой диплом.
- Сестра, не каждый может вынести жизнь на чужбине. Она часто кажется страшно далекой, и тогда люди тоскуют по близости родины как по человеку, которого очень любят, и которого никто другой не может нам заменить. Никогда не уезжайте на чужбину одна. Там можно легко потеряться и больше не найти дорогу домой... Вот! Только взгляните! Теперь вы видите вашу Эльбу с баржами на буксире, а вон там даже большой пароход.
- Да! Действительно!... Какая красивая и широкая река!

Провинциальный вокзал.

Мы вышли из скорого поезда и пересели на другой. Старая узкоколейка, маленький паровозик которой дымил и пыхтел, трогательно выполняя свой долг, и спокойно и почти непрерывно звоня, вез нас в сердце Мекленбурга, мимо широких, тихих озер, окруженных могущественными лесами в последнем, осеннем великолепии, где иногда по одиночке, иногда несколько, видимых издалека крыш расположились вокруг церкви. Звуки нижненемецкого диалекта звучали в моих ушах, но после столь долгих лет отсутствия они не вызывали во мне уже ни малейшего резонанса.

Поезд замедлил ход.

Мое сердце взволнованно билось.

Там! Мой отец!...

Слегка подняв голову, немного прищурив глаза, с напряженным лицом, он ищущим взглядом исследует ряд вагонов. Он скрестил руки за спиной. На нем серый костюм. Рядом с ним стоит моя мать, маленькая, спокойная, в черном платье; на воротнике и на рукавах, как всегда, видны белые кружева. Она свежа и слегка загорела на солнце.

Я стою на платформе вагона.

Теперь они видят меня.

Во взгляде моего отца быстро сменяют друг друга радость и страх. Он неспособен сделать даже один шаг ко мне. Внезапно он почти почтительно снимает передо мной шляпу. Его волосы белые как снег. Его рука дрожит и тяжело опускается... Пальцы его левой руки проводят по лбу, как будто они должны прогнать что-то, видение, которое он только что увидел. Это же не может быть правдой! Его сын не может выглядеть так!

Между тем сестра уже вышла, мать подбегает к нам. Они поддерживают меня.

- Поезд стоит здесь недолго, а багаж еще в вагоне, – говорит мать по-деловому. Затем, однако, она прижимает меня к себе, и я чувствую ее слезы на моей щеке. – Как же мы ждали тебя, Тед! Все снова будет хорошо, только нужно в это верить!

- Федя! Мой дорогой мальчик! Отец хочет обнять меня со всей силой, но его руки неуверенно шарят по моему телу, в страхе случайно причинить мне боль. Шляпа выпала у него из руки. – Самое главное... ты здесь!

Он не может говорить, губы дрожат, и я пытаюсь немного поддерживать его моей левой рукой. – Я чувствую все твои боли, мой мальчик!

Сестра поднимает его шляпу. Он благодарит и дает ей руку. – Пойдем, мой мальчик, ты можешь опираться на меня. Дай мне свой... костыль. Нам идти недалеко. Наш домовладелец приехал на повозке, чтобы отвезти тебя. Ты можешь так идти? Не больно?

- Нет, отец, ничего! – отвечаю я, шагая дальше, и стискиваю зубы.

Мы останавливаемся на мгновение, так как мне приходится преодолеть довольно высокий каменный бордюр платформы, и я больше не могу опираться при этом на плечо отца. Все же, один опытный шаг, и я преодолел эту маленькую преграду.

- Ты с этим хорошо справился, Федя! С этими словами отец неуверенно улыбается. – Я уже думал, мальчик, что мне придется заново учить тебя ходить.

Любопытные жители городка непрерывно смотрят на нас. Отец вежливо избегает каждой беседы, каждого ответа. Тут коренастый мужчина уже подходит к нам.

- Это господин Бентин, – представляет его отец.

- Да, это я. Добрый день! Он смеется всем своим широким, открытым лицом. – Мы уж точно вылечим вас в обетованной земле Мекленбург со шпиком, яйцами и сырокопченой колбаской, или нет? – добавляет он протяжно.

Мать идет с сестрой. Молодой Бентин, который несет мою сумочку, с удовольствием рассматривает девушку. Отец Бентин гладит лошадь, размещает багаж. – Ну, теперь вперед, мой хороший!

Он вспрыгивает на козлы. Лошадь спокойно идет вперед. – Мой Йохен тоже тот еще бродяга по миру, как и вы, – он указывает кнутом на своего сына. – Уже пару лет плавал за океан на пароходе вторым коком. Теперь у него снова есть лучшие предложения, даже из Швейцарии, но нет, несмотря на большую безработицу, он снова хочет только на море, все другое отвергает. Он качает головой.

Низкие, чистые дома из красных кирпичей с белыми оконными рамами, маленькие палисадники, грядки которых уже прикрыты пихтовыми ветвями, спокойно проходящие люди, на фронте старое, пустое гнездо аиста. Светлые облака, розовые от затухающей вечерней зари, двигаются по небу.

- Я еезжу медленно, – говорит господин Бентин. – Но не только из-за старых камней на мостовой, но и из-за этих господ за занавесками, чтобы у них из-за этого вытянулись шеи, как у жирафов. Только гляньте, там, здесь, тут они сидят и глазуют на нас, а потом начинается: «Да, а вы видели это?» Он беспечно указывает кнутом на окна.

Через несколько минут он останавливается перед своим домом. – А это моя великолепная вилла! Далековато от города, зато очень спокойно. За ней у меня

есть плодовый сад и огород, и чулан для гусей, уток и кур, почти сразу на озере.

Мужчины помогают мне выйти из повозки.

- Приятного вам аппетита! – говорит Бентин и берет лошадь за недоуздок. – И пока на сегодня, – любезно кричит он нам вслед.

Маленькая, узкая дверь с низким порогом еще открыта. В мерцании красного кафельного пола и покрашенной в белый цвет передней, на заднем плане которой еще не закрыты широкие ворота, открывающие вид на два больших дерева, я остаюсь с отцом. Пахнет свежеспеченным пирогом.

- Он очень гладкий, пол. Будь осторожен, – замечает он и проводит несколько раз левой рукой по моей руке, которая снова твердо лежит на его плече.

- Да, отец, я буду осторожен.

Довольно низкая дверь с вручную выкованной ручкой открывается передо мной. Горящие свечи стоят между цветами на тщательно накрытом столе в низкой, оклеенной светлыми обоями комнате с сельскими занавесками, прекрасной мебелью в стиле бидермайер и несколькими чужими семейными фотографиями в старых овальных рамках.

Мать все еще стоит рядом с нами. В тишине скрывается что-то грустно-задумчивое; что-то, что напоминает нам обо всем потерянном вдали, всем, что теперь утрачено безвозвратно, что принадлежало когда-то нам, что мы любили и чего нам теперь всегда будет не хватать, так как это связывало нас с теми днями, которые мы считали самыми счастливыми днями нашей жизни.

- Добро пожаловать, Федя. Занимай место, – говорит, наконец, отец, как будто бы мы вместе молились. Он пододвигает кресло. – Там тебе будет удобнее всего, и ты сможешь также удобно подпирать твою руку. Сестра ест с нашими хозяевами. В первый вечер мы хотим быть только одни.

Мать кладет мне салфетку на колени, разливает суп и подает нам хлеб.

Мы сидим за столом молча. Каждому из нас эта трапеза желанна, потому что мы можем заставить успокоиться множество наших мыслей в эти немногие мгновения. Каждый ждет взгляд другого, ждет неизбежный вопрос о нашем общем будущем. Бремя такого ответа мне трудно нести, и пока я точно обдумываю его, я начинаю говорить о том, насколько я счастлив обнять моих родителей, и о тай-

ном советнике Пайре и его советах. Но мой голос лишь плохо выражает радость и беззаботность. Потому я умолкаю.

– Тебя, похоже, очень сильно избили? Это поэтому ты и не хотел видеть никого из нас, пока находился в клинике?

- Я не писал вам перед операцией потому, что всегда лучше улаживать что-то в этом роде наедине с самим собой. Ты увидишь, что я уже через несколько дней буду ходить без костыля.

- Ты это всерьез? – Он кладет свою руку на мою. – Что оперировал Пайр?

- Резаная рана на правой ноге зашита, и... плечевой сустав на правой руке заменен искусственным.

Его правая рука, которая все еще лежит на моей, твердо сжимает ее. Мать опускает голову.

- И ты думаешь, что когда-то позже...

- Да, отец, в любом случае!

Молчание.

Суповые тарелки перед нами съедены дочиستا.

Дверь открывается. Юная, упругая девочка с белокурыми косами стоит на пороге. Она смущенно разглаживает свой белый фартук. Несколько медлительно она подходит ко мне, и со словами «Добрый день, господин!» неловко протягивает мне руку. Любопытный взгляд скользит по мне.

- Это наша Лони, – говорит мать, – ... дочка нашего соседа. Пожалуйста, ты можешь убрать суп.

Мать подает ей наши тарелки, и девушка вместе с супницей уносит их.

Мы ломаем наш хлеб на маленькие кусочки и задумчиво едим.

- Да, Федя... Мы пока мало что можем рассказать о себе. Сначала мы приехали в Берлин. Нас встретили сердечно, но все говорили мне, что мне не стоит торопиться распаковывать мои вещи в отеле, так сильно они были убеждены в том, что большевиков скоро прогонят. Я, мол, смог бы тогда подписывать договора за договорами. Так некоторые из моих клиентов благовоспитанно улыбались

моему пессимизму. Потом мы поселились здесь, но не только потому, что наши отцы были родом из этого городка. Мы думали, что вернемся в страну, с которой нас связывает один и тот же язык и одна и та же кровь. Мы думали, что эта земля наших отцов как-нибудь будет рада принять нас, ведь мы же тоже были немцами, даже мекленбуржцами. Мы надеялись, что нас тут хоть чуть-чуть поняли бы.

Он пожал плечами. – Но случилось не так, – добавила мать задумчиво. – Мы все еще чувствуем себя здесь как будто мы тут проездом, как когда-то на каникулах, чужими среди родственников. Где теперь, собственно, наша родина? Недавно отец запретил дяде Вильгельму входить к нам в дом, так как он сказал нам: – Устраивайся здесь в стране и добросовестно зарабатывай себе на пропитание!

Лони приносит блюда на огромном подносе, неловко ставит миски на стол; наше молчание вызывает у нее неуверенность. Отец, как это всегда было принято в Петербурге, начинает нарезать мясо, при этом он в первый раз с моего детства разбирает его для меня на маленькие куски и аккуратно накладывает рядом гарнир. Затем он обслуживает мать.

- Ну, когда война заканчивается, снова наступает мир, – замечаю я при взгляде на такое разнообразие. – Насколько все вкусно! Чего то столь хорошего я не ел уже давно!

- Немецкая промышленность, Федя, все еще предается оптимизму, что сможет делать миллионные сделки с большевиками, и заваливает меня подарками, предполагая, что я стал бы участвовать в таких сделках. Деньги только так прилетают сюда. Это понятно. Германии обязательно нужен рынок сбыта, иначе она больше не сможет существовать. К тому же огромное бремя миллиардных репараций.

Я прошу немного добавки.

- А наша мать немного болтает с родственниками. Дела у нас идут неплохо, как ты видишь. Мы много гуляем, незаслуженно играем роль рантье. Да, ожидание..., – говорит затем он тихо. – Как раз больше уже и не нужно ждать, мой дорогой мальчик.

- Но, все же, каждый человек цепляется даже за маленькую надежду, – произносит мать. – Правду в ее окончательной последовательности нелегко вынести!

- А у тебе еще есть надежда, – спрашивает отец, – что мы вернемся в Петербург? Немного подняв голову, чтобы услышать даже самый незначительный призыв моего голоса, он напряженно ждет. Он даже положил столовые приборы на край тарелки.

- Да, отец! В любом случае! – отвечаю я громко и без промедления.

- А ты был дома, на заводе? Там у нас хоть что-то еще осталось?

- Местами, как это там и происходит всюду, бессмысленно разрушено, но, собственно, больше заброшено.

Отец смотрит на меня и даже немного улыбается. Потом он кладет свою руку на мою и гладит ее.

- Спасибо тебе за твою невинную ложь... дитя мое, – говорит он сердечно и добродушно.

- Но, папа! – отвечаю я с легким упреком. – В нашем доме живут матросы с их бабами, а в подвале наш Ахмед, парень редкой преданности!

Он не отвечает сразу. Он все еще держит мою руку и только смотрит на огонь свечи.

- Развалины не пугают меня, мой мальчик, даже если это мои собственные развалины. Сразу же в первую ночь я буду спать там с самым большим душевным спокойствием и готов вставать с первыми петухами. Только это так страшно, что я больше не могу работать. Я пробовал все, собирался с силами, заставлял себя – и все напрасно. Ты можешь мне поверить. Что-то во мне парализует все мои мысли и действия. Мысли становятся какими-то разорванными. Где-то с полгода я уже почти не могу прочитать хоть какую-то книгу, даже газету. Бывают часы, которые полностью исчезли из моей памяти. Если бы я только снова был там, то я знал бы...

Лони приносит десерт: соблазнительный мекленбургский ореховый торт «Карл Борьен» с маленькой горкой сбитых сливок. Кофе подается на стол. Мы курим.

- Недавно, Тед, генеральный директор Янсен из Гамбурга был у нас со своей семьей. – Мать пытается переменить тему беседы. – Он и все остальные так ободряли нас своей откровенной сердечностью и пытались развеять пессимизм отца!

- Янсен, – добавляет отец, – ... льет теперь новый легкий металл. Я видел несколько его образцов. Это отлично. У меня есть неограниченный кредит.

- Но это же великолепно!

- Конечно, но все же, мы должны быть снова в Петербурге, но, в первую очередь, иметь другое правительство. Тогда больше мне не о чем было бы беспокоиться! ... Теперь ты, мой дорогой мальчик, должен рассказать нам о себе, не о других и не о том, что мы никогда больше не увидим и не сможем владеть.

- Я не могу! – это звучит для меня самого грубо и недружелюбно, но мне в этот момент даже безразлично, что думают мои родители. – Вероятно... в другой раз. Может быть, – добавляю я с трудом и примирительно.

- Эти слова говорят нам все, Феденька! У отца отказывает голос.

Огни горят, не мерцают.

Вокруг нас становится тихо.

Когда я видел, как отец так долго и молчаливо сидит рядом со мной, я обнаружил в его взгляде, направленном на свет догорающих свечей, ту очевидную пелену, которая появляется у людей, когда они, глубоко погружившись в мысли, поспешно уходят в далекую мечтательную даль. Время от времени, пусть даже почти незаметно, там еще вспыхивала маленькая искорка, как будто он видел картины, людей или события, которые волновали его теперь, чтобы так же быстро снова погаснуть. Он сидел неподвижно, немного опустив совершенно седую голову, сложив на коленях мускулистые мужские руки. И при этом он, как показалось мне, был счастлив. Жесткие черты вокруг уголков рта разгладились! На его лице лежало что-то роковое, от чего отскакивали наши общие понятия о «жизни» и о «стечении обстоятельств», так как он отверг их. При этом я вспоминал о многочисленных моих товарищах, которые от отчаяния лишали себя жизни в сибирском плену. На их успокоившихся лицах лежало глубокое презрение ко всему тому, во что они когда-то поверили.

Свеча перед глазами моего отца вспыхнула несколько раз и погасла. Однако он все еще неподвижно смотрел на нее. При этом зловещим образом всякий блеск гаснул также в его голубых глазах.

- Вот так отец часто часами сидел у окна, в этом кресле, и ждал тебя, – сказала очень тихо мать. – Что же наш мальчик все еще не приезжает, так он шептал и качал головой. Он же обещал мне вернуться. Вероятно, он больше не может

приехать? Это так заманчиво потеряться в бесконечности этой страны... На моем сердце было так тяжело, что я больше не чувствовала боли.

Тут пальцы отца медленно скользили друг по другу, как у человека, у которого что-то ускользает из пальцев, и он еще ниже опустил голову. Потом он несколько раз провел ладонью по лбу, как будто бы он хотел удержать мысль, медленно поднялся и ушел в примыкающую спальню, дверь которой он нерешительно открыл, не бросив взгляд на нас. Там он лег на диван.

Мать последовала за ним. Я тоже хотел пойти к нему, но не мог дотянуться до моего костыля, и потому я тревожно остался сидеть на месте. Но взгляд уже измерял удаление от стола, последней возможной опоры, до двери. Ярость из-за собственного бессилия стала сильнее. Затем я проковылял до конца стола два вызывающих боль шага и теперь стоял у отца.

Он спал. Дыхание его было спокойным. Мы накрыли его и еще довольно долго оставались с ним. Потом мы тихо вышли. Свечи частично погасли, и так как они чуть-чуть обожгли свои веночки из еловых веток, то запах воска и запах сожженных иголок напоминали о Сочельнике.

Стул моего отца стоял пустым.

Кое-что, кажется, развеивалось в сумрачной тишине комнаты.

Позже мать присела на край моей кровати и сложила маленькие руки. Так она сидела у меня только тогда, когда я болел.

- Если ты еще не можешь спать, то почитай молитвенник. Там всегда можно найти слово утешения в это тяжелое время. Но мне кажется, Тед, ты вернулся домой ожесточенным и полным презрения к жизни. Ты забываешь, что сотни тысяч людей умерли в России и Сибири и считаются пропавшими без вести. Разве не следовало бы тебе поблагодарить всемогущего Бога за свое спасение? Мы ведь никогда не сможем определить его мудрость!

Я не ответил ей. Она также не настаивала на этом.

Наступил день отъезда.

Поезд двинулся, и вскоре после этого монотонный грохот его колес становился все быстрее и быстрее.

Господин Нойманн и Наташа ожидали меня на вокзале. Он взял мою сумочку и помог мне выйти. Наташа нерешительно подала мне руку, не отводя от меня своего взгляда.

- Дядя Федя, почему ты так часто писал, что хочешь взять меня с собой в Швейцарию? Даже если мамочка согласится с этим, я не могу оставить ее одну. Я беспокоюсь о ней и должна оставаться с нею.

- Тогда и цепляйся к своей матери!

Я испытывал от поездки сильные боли и был нетерпимым. – Я ведь желаю тебе только добра. Разве ты этого не замечаешь? – добавил я более примирительно, так как ее неожиданная бледность бросилась мне в глаза.

- Но, – сказала она робко, борясь со слезами. – Потому что я...

- Ну, пошли быстрее, маленький упрямый ослик, – сразу ответил я, чтобы не будить в ней подозрение о ее состоянии. – Я всегда думал, что ты хотела заботиться обо мне? Ты обещала мне это уже в клинике, и писала в почти каждом письме. Тогда я возьму с собой как раз эту медсестру, которая даже будет очень рада этому.

Нойманн вел машину через плотный поток городского транспорта. Мы беседовали о погоде и о других пустяках. Наташа сидела молчаливо и растерянно на заднем сидении. Внезапный страх охватил меня: не было ли уже слишком поздно? Не зашла ли коварная болезнь уже слишком далеко?

Перед домом мы прощались с Нойманном. Я был ему благодарен за то, что он теперь не навязывался. Наташа и я оставались одни под темными, тяжелыми воротами. Я хотел идти дальше с нею. Внезапно она запрыгнула на защитную тумбу, которая прислонилась к старой стене, и вцепилась в меня.

- Ну, пожалуйста, поговори еще со мной! Сегодня я чувствую себя такой слабой. Я даже не могу играть с детьми. Мне грустно из-за этого, ты знаешь.

- Деточка! – Мы посмотрели друг на друга. – Я много и долго писал тебе и твоей матери, почему я хочу взять тебя с собой в Швейцарию. Теперь дай мне объяснить это тебе еще раз! Также старый тайный советник очень советовал это, так как ты там могла бы заботиться обо мне. Ты видишь, какой я сейчас неловкий, особенно когда я испытываю сильные боли, так, как теперь в эту туманную погоду.

Она была сбита с толку.

- Но если я оставлю ее, то я ужасно боюсь! – прошептала она мне в ухо.

- Меня?

- Тоже..., но только чуть-чуть! Одиночества! Оно такое большое и такое ужасное, как злой зверь. Я всегда особенно чувствую это, когда мамочка уходит, чтобы искать работу. Скоро у нас больше не будет денег. Недавно она сказала мне, она больше не вынесет всего этого и скоро утопится с горя. Подумай только! Что тогда будет со мной? Тогда у меня есть только ты, больше никого. Но ведь я вовсе не знаю тебя, дядя Федя. Я не пойду ни к кому, ни к кому. И я также ни от кого ничего не возьму, точно, как наш пес Шарик. Мой папа сразу воспитал его так.

- Наташенька! – я подыскивал слова.

- Ты – милый и добрый, – она сразу прервала меня. – Ты хочешь взять меня с собой... Ах, да я же знаю... это из-за того, что я больна.

- Кто это тебе что-то такое сказал? Нет, это неправда! Ты не больна!

Я, будто защищая, обнял девочку одной рукой. – Кто вообще хорошо себя чувствует в такую погоду с жутким туманом? Никто! Я хочу поговорить с господином Нойманном и все устроить. Он действительно любит вас и никогда не причинит зла твоей матери. Я это точно знаю, Наташа! Если ты любишь человека, то не сможешь его обидеть.

- Да...

- Ну, вот видишь! И ты должна только поверить, что тебе будет очень хорошо у меня. Мы будем вместе учиться, будем играть, гулять, столько, сколько захотим. Я буду читать тебе истории, и рассказывать наши прекрасные русские сказки. В горах обычно светит солнце. Там теперь лежит настоящий русский снег. На всех полях, лесах и на высоких, высоких горах он блестит в огромных массах, и над ним безоблачное небо, такое красивое и голубое, как на открытках. И дети, как ты думаешь, из-за озорства даже не знают, что им делать: играть, кататься на лыжах, на санках, лепить снеговиков. К тому же у них каникулы целое лето, даже все шесть месяцев! Что ты на это скажешь? Там мы оба снова станем радостными и счастливыми, какими мы когда-то были. Там ты никогда больше не будешь испытывать боли в груди, никогда больше, а я – в моей руке! Поверь же мне, наконец! Поэтому старый тайный советник тоже посылает нас туда!

- Ты действительно думаешь, что я снова стану веселой в этой горной стране, так же, как другие дети, с которыми я играю здесь? Ты думаешь, что они будут играть там со мной, даже если они меня не знают?

- Ну, конечно же, душенька, да еще и как! Все дети играют друг с другом, знакомы они или нет.

- Но откуда ты все это знаешь, дядя Федя? Ты там уже был? Ты их видел сам?

- Когда я еще был маленьким мальчиком, я в этой маленькой горной стране ходил в школу, и там они резвились со мной. С ними было так здорово!

- Те же самые дети? Ты их всех еще знаешь? Ты тогда приведешь меня к ним? Скоро? Они там не такие нахальные, что будут дергать меня за косы, как это делают здесь некоторые мальчишки?

- Я прослежу за этим и буду грозить им моим костылем.

Она снова прижала свой рот к моему уху.

- Дядя Федя, дорогой, только ничего не рассказывай моей мамочке, что я больна. Пожалуйста, пожалуйста!

- А ты знаешь, почему я еще беру тебя с собой?

Малышка покачала головой и взглянула на меня. – Я боюсь одиночества, так же, как и ты, – прошептал я ей тоже прямо в ухо. – Наверное, даже еще сильнее! Только и ты никому об этом не говори! Тут она немного откинулась назад и засмеялась тихо и настолько сердечно, что на сердце у меня стало тепло.

- Это же все неправда! Ты просто маленький мошенник, – сказала она и добавила вдруг на берлинском диалекте: – Ты просто хочешь одурачить меня! Но скажи, будешь ли ты молиться со мной по вечерам? Ты умеешь?

- Я забыл почти все молитвы.

- Это не беда, дядя Федя, я научу тебя им, – ответила она весело и провела ладошкой по моей щеке. – Ведь без молитвы каждый человек потерян, так говорил наш священник.

- Я обещаю тебе все, только езжай со мной!

- Хорошо, а я обещаю тебе, что буду заботиться о тебе и слушаться тебя, как моего папу! Когда каникулы в горной стране? Скоро?

- Сразу после Пасхи, значит, уже через три месяца. Теперь спускайся с камня, и давай пройдем пару шагов, чтобы ты успокоилась! Ты очень взволнована.

Стена набережной также этим вечером казалась мне мрачной, и когда мы смотрели вниз с моста, едва ли видимая в тумане, лениво текущая мимо вода Шпрее показалась мне жутко глубокой и зловещей. Свет фонарей образовывал на ее поверхности много светлых бликов, которые снова таяли и текли дальше. Пахло водорослями. Но из близкой дали мерцал свет знакомой мне с моего детства улицы Унтер-ден-Линден. Оттуда доносились гудки автомобилей и непрерывное биение пульса миллионного города.

Сегодня я стоял в тени. Однако я так хотел, чтобы в моей жизни снова стало светло. В любом случае и любой ценой!

- Вчера вечером моя мамочка сказала: «Жизнь распинает человека больше, чем она его одаривает». Правда ли это, дядя Федя?

Вдруг во мне появилась потребность прижать к себе этого ребенка и подарить ему, по крайней мере, несколько жалких нежностей, на которые я еще был способен.

Тут маленькая ручка нащупала мой карман пальто и скромно легла в мою руку. Я гладил ее, держал ее, но потом сказал сдержанно: – Ну, пойдём, душенька, теперь нам пора идти!

Девочка прижалась ко мне, и я был ей очень благодарен за такое доверие к незнакомцу.

Госпожа Андреева приняла меня со стыдливой радостью. В ее коротких письмах она несколько раз просила меня прийти к ней и обсудить с нею все вопросы, которые ее тревожили. Она с Наташей жила в большой комнате на первом этаже, по которой еще было видно, что в ней недавно сделали основательный ремонт. Также мебель была новой и ухоженной. На столе я обнаружил современный сервис, различные лакомства и маленький торт со сбитыми сливками.

- Дядя Федя, – приветствовала она меня и протянула мне руку, которую я поднес к губам. – Я же могу тоже называть вас так, как и Наташенька? Вы ведь понимаете, как это быть вдали от родины, даже если мы ни в чем не испытываем нужды, даже если все так невероятно добры к нам. При этом она указала на

накрытый стол и комнату. – Я все еще думаю, как и раньше, что я здесь только проездом.

Мы уселись, и пока пили чай, я, наконец, объяснил ей, кто я такой и откуда я приехал. Наташа посвятила себя ореховому тарту и сбитым сливкам, но время от времени задумчиво поглядывала на меня.

Тогда госпожа Андреева начала рассказывать о своей жизни со знаменитым артистом балета Петербургской «придворной оперы» – Мариинского театра, о его взлете и их счастье. Такие личности как прима-балерины Павлова, Карсавина, Кшесинская, танцор Нижинский и пожилой Петипа, их искусство, атмосфера представлений, чары русской музыки, все это было нам обоим хорошо знакомо с детства. Затем случилась бесславная революция Керенского. За нею последовал захват власти большевиками со всеми бесчеловечными последствиями. Госпожа Андреева говорила шепотом, чтобы не вызвать ужасные воспоминания в памяти Наташи. Ребенок уже лег на диван. Теперь девочка попросила меня, чтобы я накрыл ее. При этом наши взгляды встретились, она многозначительно приставила свой палец к губам, напоминая мне о моем обещании. Я погладил ее по темным волосам. Затем я вернулся к госпоже Андреевой.

- Это было ночью. Мы лежали, прижавшись друг к другу, в нетопленной, ледяной комнате, мой муж, малышка и я. К дому подъехал грузовик... и остановился. Суровый голос, плач, мольба, ругань. Шаги кованых ботинок, стук винтовочных прикладов в нашу дверь, так, что она треснула. Темные фигуры ввалились внутрь. Они зажгли свет.

Маленькая женщина умолкла, и начала тихо плакать... Также я чувствовал, как бьется мое сердце, ведь мне хорошо было знакомо это напряженное прислушивание, ночи, которые я бодрствовал с татаринцом Ахмедом, моим прежним слугой, когда грузовик останавливался перед домом моих родителей. Тогда Ахмед со злобной ухмылкой надевал свою кожаную куртку, форму нового режима, широко раскрывал дверь, богохульно ругался и голосом пьяного кричал, что дом населен только матросами и их шлюхами.

- Нас нашли сразу, – рассказывала дальше госпожа Андреева, – и сорвали с нас одеяло. – Андреев? – громко спросил мужчина в кожаной куртке с советской звездой на фуражке. – Да, – ответил мой муж.

– Эй, ты прекрасный танцор, ты павлин, подхалим и царский прислужник! Ну, спляши-ка для нас маленький танец, давай!

Мой муж не двигался.

- Танцуй! Танцуй, я тебе сказал! А то я тебя штыком заставлю! – солдат снял винтовку с плеча и попытался уколоть штыком ногу моего мужа. Но он отскочил. Солдат снова колот, и снова мой муж отступил в сторону. Комнату заполнили вопли и крики.

– Давай, давай! Танцуй трепака! Давай, а теперь камаринскую!

Вновь и вновь сверкали вокруг ног моего мужа штыки, от которых он пытался уклониться с отчаянной быстротой. Тогда я накинулась на одного из этих типов, схватив его за глотку. Я почувствовала сильный удар и на несколько секунд потеряла сознание. Потом я снова была рядом с моим мужем, хваталась за штык, и я помню только то, что укусила одного из солдат за руку. Наташа тоже хотела ударить. Пощечина бросила ее на землю. Кто-то орал изо всех сил:

- А ну-ка, давай под «Наган»!

Прозвучало несколько выстрелов, мой муж закричал, схватился за ногу и упал на пол. Новый удар, и моя последняя мысль была: «Он никогда больше не сможет танцевать!» Когда я пришла в себя, Наташа клала мне холодную тряпку на лоб. У нее шла кровь изо рта и носа, но она не плакала. Мой муж... исчез.

Наташа, бледная и с закрытыми глазами, лежала на диване. Она, кажется, спала. В руке она держала свою единственную куклу, Акулину.

Затем госпожа Андреева рассказала о том, как увозили ее мужа, и как она отчаянно цеплялась обеими руками за двери вагона для скота, в котором было еще много других людей. Большая, тяжелая плоскость из дерева и железа катилась с треском. Безумная боль в руках лишила ее сознания. Кто-то из случайных прохожих взял из кучи оставленных арестантами вещей какой-то лоскуток и перевязал ей изувеченные пальцы.

Позже последовало бегство в Финляндию к знакомым и дальше в Берлин.

- Наконец, только с маленьким узелком мы стояли на Фридрихштрассе, которую я знала с прежних времен, и искали комнату. Цена испугала нас, и потому мы пошли в противоположном направлении. В одном доме мы увидели вывеску. Так как, однако, вход был закрыт, мы поинтересовались в соседней мясной лавке. Продавщица указала на хозяина, который как раз распределял порции. – Вы хотите комнату, мадам? В моем доме?... Минуточку! Он сразу отложил в сторону нож, развязал окровавленный фартук и привел нас в комнату. С широко расставленными ногами он сидел перед нами, неподвижно, и внимательно слушал, что я ему рассказывала. – Вы можете жить здесь, – ответил он затем коротко. –

Просто положите ваш узелок на кровать и сразу идите со мной на кухню и поешьте чего-нибудь!

Мы пошли за ним. Это был господин Нойманн...

Затем он провел меня в спальню, вытащил из шкафа два постельных гарнитура, засунул их мне в руку и исчез. Я слышала, как закрылась дверь. Потом все умолкло. Мы огляделись и начали плакать, настолько невероятным все это показалось нам, так как мы могли здесь, наконец, нормально поесть и почувствовали себя в безопасности.

Госпожа Андреева отпила из чашки и медленно снова поставила ее.

- До сегодняшнего дня, дядя Федя, мой господин Нойманн не потребовал ни пфеннига с нас, ни за комнату, ни за еду. Прямо с первого дня он окружил меня и моего ребенка маленьким, заботливым вниманием простого человека. Он совсем ничего от меня не требовал, ни о чем не просил, он даже не хотел слышать от нас благодарностей, хотя я несколько раз говорила ему, что у меня осталось несколько украшений. Теперь... я должна выйти за него замуж. Он начинает настаивать и готов дать мне все. Но он не видит, что мы вовсе не подходим друг к другу. Он не понимает этого! Это стало безвыходным, Боже мой! Я вам уже говорила об этом в клинике. Мы спасли свою жизнь. Но тоску по родине никто не может отобрать у нас, русских. Поэтому мы также не счастливы на чужбине.

Тут тихо постучали. Господин Нойманн вошел с маленькой коробочкой в руке, шепотом поздоровался с нами и открыл ее. В ней были красивые часы с листом клевера на обратной стороне. Избегая всякого шума, он положил их на стул рядом с Наташей. Его взгляд остановился на лице спящего ребенка.

- Дайте и мне немного поговорить с вашим дядей Федей; мы сделаем это быстро. Он взял меня под руку и вышел вместе со мной.

Мы вошли в комнату с темной, тяжелой мебелью и занавесками, которая приятно поразила меня своим однородным стилем, и усадились в кожаных креслах.

- Пожалуйста, вы курите? Хотите выпить? Белое вино или красное?

- Белое, если позволите.

- Как раз то, что мне нравится. Я только что получил ящик из Вюрцбурга. Подходите и выберите себя что-то хорошее, что добрый бог подарил нам из Франкнии.

Когда мы потом снова сидели напротив друг друга, господин Нойманн начал рассказывать о себе.

- Вы уже по моему произношению слышите, что я самый настоящий берлинец. Я могу говорить и по-культурному тоже, но это не мой родной язык, – сказал он со смехом. – У моих родителей была ферма по разведению гусей и бойня в Шпреевальде и на Курфюрстендамм ничуть не менее прекрасный розничный магазин, полный клиентов. Все это я получил в наследство из их еще теплых рук, к тому же еще два дома. Так что со мной вряд ли произойдет что-то плохое. Во время мировой войны я побывал почти всюду, в последний раз пятнадцать месяцев в самой большой переделке на Западе. Но мне опять повезло. Мой девиз звучит так: держаться твердо, но при этом особо не высовываться! Я еще немножко мечтатель, если вы хотите это знать точно, но не здесь, – он указал на голову, – ... а только там, где, так сказать, трясется сердце. В Шпреевальде у моих родителей еще живет лошадь, которая вместе со мной привозила под ураганным огнем пушки на позиции, раненая, парализованная, даже немного слепая на один глаз, мой четвероногий друг. Вместе с ней живут несколько старых, бесхозных собак, которых я подобрал, умиравших с голоду. Вы понимаете?

- Да, конечно! – сразу ответил я.

- Ну, тогда вы подходящий для меня человек! Его улыбка говорила больше, чем все его слова. – Ну, тогда еще раз за ваше здоровье!

Мы чокнулись.

- Наташа рассказала мне о первой встрече с вами. Все. Это также причина того, почему я посетил вас в клинике и настаивал на том, чтобы увидеть вас еще раз.

Его тяжелые руки вращали тонкий бокал. Он опустошил его большими глотками и медленно поставил.

- Знаете, я принадлежу к тем, которые всегда узнают, где можно лучше всего справиться с трудностями. Но когда госпожа Андреева с своим ребенком стояла передо мной... Я ведь, в общем, не мягкий человек, наша профессия мясника уже сама по себе приводит к этому, но эта маленькая женщина благодаря ее тихой сущности заставила меня задуматься. Да вы пейте, пейте, господин сосед! – добавил он и долил бокалы доверху.

- Однажды я поймал себя перед витриной. Я снова подумал о моих родителях дома, и о том, что у них совсем ничего не было. Как из плоти и крови стояла

она передо мной, в шерстяном платке, второй обвитый вокруг старого овечьего тулупа, в юфтовых сапогах, только с одним маленьким узелком в руке, когда она сначала распаковывала оттуда икону Богоматери. В тот момент я уже знал, что я должен был делать. Обремененный поспешил я домой, взволнованный, нетерпеливый... одержимый радостью, – он подчеркивал каждое слово и снова переходил на привычный для него диалект: – Дружище, я вам вот что скажу... Я из-за этого подарил самому себе намного больше, сам стал гораздо богаче! Я даже не могу вам этого описать!

Я кивнул ему.

- Тогда я впервые увидел руки маленькой женщины. На ее пальцах не было двух первых фаланг. Внезапно я почувствовал, как мне сдавило горло, и ощутил боль в собственных пальцах. Я выбежал из комнаты...

Его голос перешел в шепот. – Ну, вот и скажите мне теперь сами, как эта бедная женщина должна зарабатывать деньги?

- А вот теперь послушайте внимательно! – добавил вдруг он с жесткостью. – Я ждал долгий, долгий год, в надежде, что она, по крайней мере, даст мне понять, что я ей не совсем безразличен. Напрасно! Я отчетливо вижу, как она становится все боязливее и избегает меня. Это безнадежно; да, это так и останется безнадежным. Должен ли я этим довольствоваться? И должен ли я отказаться от счастья, что она здесь? Должно ли все это снова стать таким, каким когда-то было, и теперь уже навсегда?

Он поднялся и несколько раз прошел через комнату. – Даже у самого простого человеческого сердца есть право на радость. Я часто просил ее о том, чтобы она поняла меня, но тогда она плачет и говорит, что она ведь замужем, и любит своего мужа до смерти. Мы достали новые сигареты и курили молча.

- Господин Нойманн...

- Нет, пожалуйста, дайте мне сначала высказаться. Я очень хорошо знаю, что вы ответите мне, ведь в этом не может быть сомнений. Для меня есть только один вывод: отказаться. Я еще не могу сделать это. Но я хочу попытаться, ради этой женщины. Вы можете сказать об этом госпоже Андреевой с такой же честностью, как вы слышали это от меня. Я сам этого не смогу.

Я кивнул.

- У меня есть только одна единственная просьба: она не хотела бы уходить из моего дома, по крайней мере, не... не так скоро! Нет! Вообще нет!

- Да.

- Тут приходите вы. Не обижайтесь, пожалуйста, – добавил он внезапно и положил свою тяжелую правую руку мне на плечо, – ... что я отпускаю вас так быстро и без церемоний. Я должен поехать забрать товар. Я сам делаю это, даже если у меня есть три подмастерья, парни – во! – он сжал кулак. – Вернулись с войны, умиравшими с голоду. Всегда жить и давать жить другим, а также иногда смотреть сквозь пальцы, не так ли, господин сосед? Здесь у вас есть нарезка на сегодняшний вечер. Хватит на всех. И без лишних слов, такая уж моя манера: я в любое время буду рад вас видеть. Пока!

Он любезно кивнул и быстрым шагом покинул комнату.

Я заметил, что у него в правом кармане брюк лежало что-то тяжелое, возможно, кастет.

Ужин проходил в настоящем молчании, так как мы не могли рассеять то напряжение, которое было в нас.

Когда тогда Наташа лежала в кровати и позвала меня прочитать с ней молитву «Отче наш» по-русски, я присел на край кровати. Она сложила свои тонкие пальцы над моими. Темные глаза были очень серьезны, детский голос немного дрожал, когда она осторожно подчеркивала слова благоговения, но когда в последующей молитве прозвучало имя ее исчезнувшего отца, она умолкла и отвернулась к стене. Я погладил ее по волосам и тщательно накрыл ее одеялом. Я еще довольно долго шепотом беседовал с госпожой Андреевой. Мы говорили о моем предложении, что я хотел бы взять Наташу с собой в Швейцарию.

- У вас будет очень, очень плохое мнение обо мне, что я доверяю вам своего ребенка; даже определено.

Ее взгляд опустился на изувеченные пальцы. Потом она подняла голову. – Я принадлежу к тем женщинам, которые любят только однажды в жизни, и мой пропавший муж был моей самой большой любовью. Я не хочу быть нечестна с самой собой: я, как бы страшно и мучительно это ни звучало, уже не верю в новую встречу с ним. Да и как такое стало бы возможно? Звучит патетически,

но в моем случае это правда: мое сердце разбито из-за этого! Вероятно, вы можете это понять, если вы тоже так любили?

- Да, госпожа Андреева.

- Боже упаси, я не хочу грешить, но я знаю, что Наташа никогда не сможет заменить мне моего мужа. Долг продолжать жить ради моего ребенка, бездейственно смотреть, как она, вероятно, зачахнет здесь со мной на чужбине... Я хочу попытаться собраться с силами, я вам это обещаю, это тоже мой долг перед малышкой, но я не знаю, дядя Федя...

Она посмотрела мимо меня.

Я не мог знать, о чем она думала.

Но я чувствовал это, и, тем не менее, у меня не было слов утешения для нее, даже если я искал и искал их.

II

Лезен-Феде.

Наташа и я вышли из вагона зубчатой железной дороги. Зимний ландшафт, захватывающе и вызывая облегчение, сиял на высоте тысячи четыреста метров, в наполненном солнечным светом воздухе было что-то, напоминающее о шампанском, и ослепленный взгляд не мог оторваться от отдельных групп гор, которые, сияя, простирались в самую даль. Только многочисленные санатории, на широких верандах и террасах которых стояли белоснежные кровати, настраивали на задумчивый лад. Больные из всех стран месяц за месяцем, из года в год отчаянно боролись здесь за свое выздоровление. Но скольким был закрыт доступ к этой последней надежде, из-за того, что они были бедны?

Тихое нажатие детской руки напомнило мне, что нам следует поторопиться. Наташа была смертельно бледна, и поэтому ее глаза казались особенно большими и темными. Денег на непременно необходимую промежуточную остановку, чтобы ребенок акклиматизировался, у меня не было, но все же я надеялся, что она сможет лучше перенести эту внезапную разницу высоты.

Между тем кучер с великолепными усами разместил наш небольшой багаж в санях, так же медленно стащил одеяло со спины лошади и тщательно сложил его. Я завернул Наташу в шерстяное одеяло. Она прислонилась ко мне, ее веки

закрылись. Я чувствовал, как она дрожала от холода. Кучер спокойно закрепил петли подбитого мехом покрывала, уселся на козлы, потянул, наконец, за поводья, и упитанная лошадь также осторожно пошла вперед. Колокольчики на хомуте звенели звонко и весело.

Мир без забот и спешки, окружавший нас с момента пересечения швейцарской границы, казался мне почти нереальным. Мужчина говорил о погоде, как начался сезон, и он в безучастном спокойствии заметил, что с начала войны все санатории постоянно переполнены, и пациенты преимущественно прибывали из затронутых войной стран.

- Оля-ля! Как мы все страдали из-за этой войны! Я был более двадцати шести месяцев в службе охраны границ и не мог заработать ни франка!

Я молчал. Его «горе» мало взволновало меня.

- Нам еще далеко? – тихо спросил ребенок.

- Я надеюсь, нет. Ты сразу пойдешь спать. Я дам тебе грелку.

- И что ты тогда будешь делать, дядя Федя? Ты останешься со мной?

- Ну, а куда же мне хромать? Если я упаду...

Мысль о моей беспомощности заставила меня замолчать. Затем мое внимание приковал к себе горный мир своими чарами, и мои воспоминания блуждали в оставшемся незабываемым Энгадине. Тогда моим самым большим переживанием был подъем в горы с несколькими школьными друзьями.

Смогу ли я когда-нибудь снова предпринять такую вылазку в горы?

- Приехали, – сказал кучер и указывал кнутом на дом, который стоял в стороне от санаториев. «Дюкоммен, пекарь», прочитал я на пестрой вывеске, украшенной изображениями разных видов хлеба и пирогов. Маленький, хитро выглядящий мужчина в белом фартуке и со следами муки на лице уже выходил из магазина.

– Я очень рад приветствовать вас как моих гостей, сударь, мадемуазель! Квартира обогрета и приведена в порядок. Могу ли я взять ваш багаж...

- Нет! Это моя профессия и заработок, – ответил грубовато кучер и начал подниматься с нашими чемоданами по лестнице. – Все же, пожалуй, не на четвертом?

- Если вы, мой друг, пристроите мне еще два, охотно.

Когда оба мужчины ушли, я осмотрелся в моем новом жилище, невзыскательной кухне со старыми кастрюлями и фаянсовой посудой, двумя маленькими комнатами с очень простой мебелью и выступающей верандой, вид с которой должен был вознаградить нас за все.

Силы Наташи были на исходе. Только с трудом она смогла раздеться. На кухне я нашел две большие грелки. Я наполнил их, положил их к дрожащему, хилому телу ребенка и накрыл обеими перинами.

Чтобы сделать эти несколько движений моей одной руке понадобилось много времени и терпения.

- Мои дела, пожалуй, очень плохи, дядя Федя? – спросила она, и ее зубы громко стучали.

- Нет, нет, душенька. Это просто от долгой поездки. Ты слишком устала.

- Пожалуйста, пожалуйста, останься со мной! Ее веки закрылись.

Направив взгляд на сияющий горный мир, я еще долго стоял на веранде. Вершины пылали в красном свете заходящего солнца, тогда как в долине, на тысячу метров ниже, уже зажигались первые огоньки.

Озабоченный я вернулся к Наташе. Она спала, ее щеки были очень красными. У нее был жар.

Я зашел в мою примыкающую комнату, сел на жесткий стул и закурил, не зная, как мне теперь поместить наш небольшой багаж в шкафах. Но потом, ведомый внезапным беспокойством, я схватил свой костыль и такой же, какой был, без шляпы и пальто, поковылял на улицу, мимо куч снега, на которых я мог упасть с каждым шагом, все дальше и выше вверх, пока я уже совсем не запыхался.

Я уселся на каком-то пне.

Горный покой встретил меня как когда-то в молодости на покоренной вершине. Сумерки осторожно поднимались из долины. Оторванные от любой тяжести тени скользили прочь над разломами льда и трещинами. Легко как свет шли они своим путем и забирали с собой меня и мою собственную, крохотную тень в путешествие в империю снов. Свет дня слабел, приобретая какой-то матовый оттенок. Постепенно на бирюзовом небе выступали созвездия, и мне показалось, как будто бы я мог сбросить с себя все мое увечье и двигать моими конечностями

ми как здоровый человек, и в этой вечерней тишине где-нибудь на высоте прийти к уже давно утраченному осознанию счастья. Я нерешительно пошел назад. Я вдруг испугался упасть.

Света лампы в моей комнате не хватало, чтобы хорошо разглядеть лицо Наташи в примыкающем помещении. Я приложил свою щеку к ее виску и понял, что у нее все еще была высокая температура. «Мамочка», шептала она во сне, и немало шевелилась. Мне завтра утром сразу придется вызвать к ней врача, подумал я озабоченно. А если он скажет, что ее нужно отправить в клинику, что тогда?

Как долго она там останется? Сколько это будет стоить? Должен ли буду я заботиться о ней? Ведь я же и сам при этом зависел от помощи ребенка!

Выздоровеет ли малышка?... Когда?

Мне придется говорить всем, что у меня нет достаточно денег, что весь мой бюджет полностью истрачен, что я безответственно поступил с этой чужой девочкой и с самим собой, и все это только потому, что я боялся одиночества.

Нерешительно я стоял перед спящей. Тут я вспомнил, что я даже не могу самостоятельно снять с себя куртку, не говоря уже о том, чтобы сменить перевязку. Быстрый взгляд на Наташу, и я уже начал снимать свои ботинки, а зацепив за ручку двери карман куртки, снял ее с себя таким способом.

Когда я потом лежал, наконец, в кровати, и усталость и голод – я ничего не ел после шести часов утра в Базеле – начали отключать мои мысли, все же, я чувствовал маленькую радость от того, что смог помочь себе самому. Я хотел впредь всегда поступать так.

Первые солнечные лучи разбудили меня. На безоблачном небе поднимался над вершинами горы раскаленный шар, который я мог увидеть через широко открытую дверь моей комнаты.

Сильный жизненный импульс промчался по всему моему телу, воля начать новый день с большой энергией и желанием действовать, и больше не позволять себе тратить ни мгновения без пользы. Я вышел на веранду и глубоко вдохнул холодный утренний воздух. Маленькая ванная была теплой, и пока я брлся и умывался, я продумал весь распорядок дня. Даже трудное одевание одной рукой, особенно, однако, укрощение моих брюк на поясе, не могло прогнать мое хорошее настроение.

Наташа спала сном праведника, и потому я взял авоську, чтобы сделать первые покупки. Осторожно я поковылял по лестнице вниз и как раз столкнулся с домовладельцем, который, как нечто само собой разумеющееся, открыл дверь общей комнаты и сказал, что я «sans discussion» должен получить первый завтрак у него. Долг строжайшей экономии заставил меня принять его приглашение. И это было правильной мыслью, так как булочная могла предложить достаточно еды. Не совсем незаметно бутылка вишневки тоже стояла там.

- Не желаете? – хитро спросил пекарь.

- Я непьющий, – заметил я несколько неопределенно.

- О, месье, один добрый глоток еще никому не навредил. Мы, швейцарцы, охотно выпиваем по одному стаканчику.

При этом он пододвинул мне наполненный стакан. Мы выпили за здоровье друг друга.

- Оля-ля! У вас хороший глоток, мои комплименты! – сказал он, улыбаясь, и снова наполнил наши стаканы до краев. Жадность появилась во мне, знакомое горение в горле, от которого я успешно защищался уже долгие месяцы. Я сразу опустошил также второй стакан до последней капли и сказал несколько невежливо: – Уберите бутылку!

Он сделал это, медленно отодвинув ее, и при этом задумчиво рассматривал меня.

- Я знаю, когда у человека печаль. И у меня тоже была печаль, долгие годы.

Он показал на свою грудь и легкие. – Ну, теперь приступайте! Сегодня эмментальский сыр особенно хорош!

Я начал говорить непринужденно как отчаянный человек. Так мы стали рассказывать друг другу обо всем, и в конце каждый знал, кто сидел перед ним.

- Роллье. Гм... Не будь у него нашего солнца, он тоже не стал бы знаменитым. Он выпишет вам хорошенький счет. Послушайте, что я вам посоветую: Загорайте, наслаждайтесь солнцем, пока не станете черным как негр. Больше вам не сможет помочь даже сам Роллье. Ну, и в безнадежных случаях, если мудрость врачей не помогает, как вы думаете, что тогда происходит с пациентами даже здесь? Что?

Он прищурил глаза, поспешно махнул рукой и прошептал: – По ночам бедняг отправляют домой, чтобы никто их не видел, чтобы все думали, что, мол, этот человек уехал, естественно, потому что вылечился. Как же иначе? Никто не хочет, чтобы здесь кто-то умер, месье, если хотят зарабатывать. Клиентура – это клиентура, как у меня мои булки, так у врачей больные, что бы мне тут ни говорили.

Вошедший ученик, у него был дерзкий курносый нос и веснушки, нахально спросил хозяина, неужели тот хочет сжечь так много хлеба в печи? – *Sacré matin!*

Дюкоммен выбежал наружу и грозил пощечинами ученику, если пекущийся в печи хлеб окажется непригодным. Но все оставалось тихо. Значит, ничего не сгорело.

Боязливо я переставлял ноги. Улица местами еще не была посыпана, и теперь при мысли, что теперь, когда надо было идти вниз, я могу упасть и сломать мои искусственные кости плечевого сустава, я начал потеть, несмотря на холод. Все же, любезность всех коммерсантов курорта, к счастью, повсюду помогала мне. Так я целым попал домой, в сопровождении тщедушного зеленщика, который нес мою полностью загруженную авоську и в веселой и беспечной манере рассказывал мне все последние новости. Только на кухне он снял свою фуражку, плоскую как блин, и попросил разрешения закурить. Пока мы курили, он добросовестно распределял продукты в кладовой.

Внезапно он неуверенно вытащил маленькую, плоскую бутылку шнапса, потер ее между руками, и, спросив разрешения выпить, сделал большой глоток, крякнул с чувством хорошего настроения, позволил себе еще один и сразу после этого засунул в рот мятную таблетку.

- Эта штука, к сожалению, всегда портит мне великолепный вкус, но из-за клиентов и моей жены...

- Если вы однажды захотите немного выпить, сударь, тогда спокойно приходите ко мне! Как трезвенник я не буду вам завидовать.

- Месье! С вашего позволения! Я приду с большим удовольствием, и мы тогда выпьем вместе. Я-то уж помогу вам найти в этом вкус, можете мне поверить. Великолепно! Тысячу раз спасибо!

С несколько комическим поклоном, с похожей на блин фуражкой снова на редких волосах, он после некоторого промедления ушел. По-видимому, ему не хватило мужества опустошить бутылочку у меня.

Я прошел к ребенку; она уже проснулась.

- Наташенька, как ты себя чувствуешь?

- Ах, дядя Федя, знаешь... не очень хорошо... Я думаю, я сегодня вовсе не смогу встать. У меня тупая боль в груди.

Ее взгляд боязливо рассматривал мое лицо. – А ты уже проснулся? Ты встал без моей помощи? Прости меня за это, мой дорогой!

Она протянула мне обе руки; они были горячие. – Никто не зашнуровал тебе ботинки. От тебя исходит такой холод. Ты был на улице один?

- А что же еще мне оставалось?

- Я такая слабая, боль подавляет меня. Она сидит здесь, и она никак не проходит.

Тонкие руки ребенка сжимали грудь. – И, все же, я счастлива, что я могу сказать это тебе, все, что только есть у меня на сердце!

- Душенька!

Я опустил взгляд, чтобы скрыть мою печаль.

В дверь постучали. Господин Дюкоммен вошел с кувшином горячего молока и пакетиком с булочками.

- Малышка больна? Что с ней?

- Она немного сдала. Поездка была слишком длинной.

Он смотрел на нее довольно долго и стал при этом серьезным. – Я в этом немного разбираюсь, я подумал об этом уже вчера вечером! Не каждый больной выносит горный воздух. Врач должен был бы сказать вам об этом. Бедная малышка. Ее глаза такие большие и блестят. Может, я позвоню и вызову врача?

- Спасибо, хозяин! Я как раз сам хочу пойти к нему.

- Обратитесь лучше всего к доктору Гюи! Хотя он только младший ординатор Роллье, но он и меня вылечил, так, что я снова могу работать в этой вечной мучной пыли. Он, впрочем, должен был бы уже быть здесь, так как в это время он всегда посещает пациентов. Я подкараулю его и сразу пришлю его к вам наверх.

Вдруг он поспешно дал мне знак, чтобы я отошел в сторону. – Ваш сосед в доме рядом повесился. Полиция как раз в его квартире. Он был русским, братом одного прежнего члена большевистской партии. Предполагают, что за этим кроется что-то серьезное, что касается политики. Все же, это очень интересно. Я попробую кое-что разузнать, – прошептал он и потом поспешно удалился.

- О чем говорил этот человек? – спросила Наташа боязливо.

- Ах, ничего особенного! Теперь тебе надо хорошо позавтракать и лечь под чудесным солнцем на веранде. Оно быстро сделает нас обоих здоровыми.

- А ты? Ты опять уйдешь от меня?

- Сначала тебе нужно заняться своим туалетом. Я не люблю немых людей! А что подумает доктор, который может прийти в любую минуту?

Не слушая ее причитаний и стонаний, я отправил ее в ванную и приказал ей, чтобы она аккуратно растиралась махровым полотенцем. Я разгладил ее простыню, насколько у меня это получилось, потом положил поверх нее кошачью шубку, подарок господина Нойманна перед нашим отъездом, принес ее в кровать и поставил перед ней завтрак. Господин Дюкоммен пожертвовал ей сыр и бутерброд с ветчиной.

- Не корчи кислую мину! Теперь ешь и радуйся тому, что ты можешь быть в Швейцарии, а не в сером море домов без солнца.

- А ты не хочешь булочку? Я с удовольствием дала бы ее тебе.

- Спасибо, фрейлейн, я уже выпил кофе у нашего домовладельца.

Она начала есть, а я лег на веранду, направив взгляд вдаль. Мне следовало бы позвонить Роллье, думал я при этом, но кто будет готовить еду и заниматься хозяйством? Ведь я же сам не смогу со всем этим справиться с только одной рукой.

- Мы оба не можем позволить себе уйти, Наташа. Мы здесь не для развлечений, – начал я изливать свое отвращение. – Каждый день, каждый час нужно ис-

пользовать, иначе мы никогда не станем здоровыми. Или ты думаешь, что я мог бы навсегда прилипнуть к тебе?

Кашель прервал мои слова, и когда я повернулся, я увидел малышку с битком набитым ртом, неспособную что-то мне ответить. Из шести булочек, между тем, осталась только одна.

- Ты такой милый человек, дядя Федя, но сегодня ты исключительно вредный по отношению ко мне, – ответила она, жуя.

- С полным ртом нельзя говорить! Но я рад твоему аппетиту. Он меня успокаивает.

- Он у меня из-за того, что мы вчера почти целый день ничего не ели!

Все же, ты – ужасный человек, порицал я себя самого, особенно если у тебя боли. Я намеревался без слов извиниться перед девочкой, и начал открывать чемоданы. Я сразу спрятал рентгенограммы Наташи под моим одеялом.

Ребенок выпил кувшин молока до последней капли, вытер рот тыльной стороной ладони и взглядом, сознающим свою вину, покосился на меня. Но еще перед тем, как я смог снова увещевать ее, девочка заметила:

- Мы должны очень, очень любить друг друга. И ты знаешь почему? Совсем просто, потому что мы совсем одни в этой чужой горной стране. Тебе легче, так как ты говоришь на французском языке. Но я всегда должна молчать, и когда ты уходишь от меня, то мне всегда страшно.

В дверь постучали.

Маленький Дюкоммен снова стоял в комнате, а за ним большой, полный господин с серьезным лицом. – Прошу, это доктор Гюи, а это пациентка, маленькая русская, – поторопился он представить нас.

Пока я описывал врачу все детали, он из-под лохматых бровей осматривал еще не застеленные постели, все еще не распакованный багаж и нас обоих таким взглядом, в котором медленно проявлялась доброжелательность, которая потом не покидала нас до последнего часа нашего пребывания в Лезене. Наконец, он посмотрел рентгеновские снимки Наташи и вошел к ней.

- Вот что я еще хотел бы вам быстро сказать, – вдруг начал шептать Дюкоммен. – Собственно, я не люблю вмешиваться в личные дела чужих людей. Короче: вы действительно не сможете справиться с ребенком в одиночку, я имею в виду, что из-за тяжелого ранения вы несколько беспомощны. Вам обязательно нужен какой-то помощник.

- Да, но это стоит денег...

- Вам не придется платить ни су! Я прямо сейчас позвоню евангелическому и католическому священникам. Пусть они пошлют вам набожную сестру. Sans discussion! Для чего же нам нужны наши церкви, ведь не только для того, чтобы платить налоги доброму Господу Богу. За бедной малышкой тоже нужно ухаживать, месье. И если когда-то позже ваши дела пойдут в гору, то вы просто делаете церкви подарок.

Хоть бедным быть и неприятно, но только вследствие этого можно лучше всего и быстрее всего узнать людей. С нетерпением я ждал диагноз врача.

От него зависело всё – пан или пропал!

Врач Гюи вернулся. Я собрал все свое мужество.

- Я только бегло смог осмотреть ребенка, но вы можете быть спокойны! Самое позднее, через три недели она снова будет в порядке. Отправлять ее в клинику необязательно. Я жду вас с ребенком на прием сегодня в час дня. Но возьмите, пожалуйста, сани. Малышка не может идти.

- Я прямо сейчас закажу сани у соседа, – сразу ответил Дюкоммен.

Я поблагодарил и пообещал, что приду.

- А не скажете ли вы, дорогой доктор, почему все же повесился ваш пациент? – спросил Дюкоммен крайне заинтересовано.

- Я не знаю, дорогой хозяин. Я как раз проходил мимо и чисто случайно увидел, что он повесился на веранде. Я с домовладельцем смог войти в квартиру и только лишь мог констатировать смерть. Обо всем остальном позаботится полиция.

- Это был ваш сосед, – повернулся он ко мне. – Он был молодым русским композитором и сильно страдал от болезни легких.

Мы попрощались. – Дядя Федя, ну подойди же ко мне! – закричала Наташа нетерпеливо. Я подошел к краю кровати. Девочка сразу схватила меня за руку. – Что сказал доктор?

- Только хорошее! Я очень рад этому, душенька! Сегодня я на санях привезу тебя в клинику для серьезного обследования.

- Почему?

Она очень плотно приблизилась ко мне и вдруг охватила меня руками. – Дядя Федя, скажи мне честно! Ты должен перед Богом поклясться сказать мне чистую правду, как обстоят дела со мной!

- Я клянусь тебе, Наташа, что ты будешь здорова через две или три недели. На самом деле ты в порядке, моя маленькая! Твоя болезнь появилась только от разницы высоты. Доктор Гюи тоже говорил это. Однако нужно сделать подробное обследование, чтобы быть полностью уверенным.

- А не говорит ли он, – спросила она боязливо, – ... что я скоро смогу играть с детьми...?

- А как же! Он уверен в этом!

Она отпустила меня, откинулась назад на подушки, и ее глаза закрылись. Она, кажется, сама устала от волнения и настойчивости ее собственных слов.

Я пошел на кухню, чтобы приготовить нашу простую трапезу: большую кастрюлю гороха и один фунт копченого мяса. Этого должно было хватить нам на несколько дней. Это было трудным и долгим занятием, пока я не приготовил еду. Но, наконец, я справился!

Наша первая трапеза проходила без разговоров. Я видел, что Наташа хотела еще спросить кое-что, но она не осмеливалась. С точностью до минуты приехал кучер с санями, и мы поехали в клинику «Ле Шамуа». Только когда медсестра приняла Наташу и увела ее, меня встретил ее отчаянный взгляд, полный слез. Я ничего больше не мог ей сказать; дверь за нею уже закрылась.

Меня снова охватило беспокойство за ребенка, так как слова врача вдруг перестали казаться мне вызывающими доверие. Я ждал в приемной, и в это время в моей голове возникали тысячи мыслей. Наконец, дверь открылась, и Наташа на несколько секунд остановилась на пороге. Возглас счастливого ликования вырвался у нее из груди, она подбежала ко мне и держала меня так крепко, что мне пришлось тихо застонать от боли в руке. Я погладил ее по темной головке.

- Малышка прелестна, – заметил доктор Гюи, – все же, такая робкая, совсем не такая, как наши швейцарские дети. Она пыталась рассказать мне несколько слов о ее матери и отце... Его лохматые брови сдвинулись.

- Впрочем, я могу только подтвердить мой диагноз: никакого повода для беспокойства нет. Реакция была вызвана лишь резким перепадом высоты.

Если ребенок через несколько дней будет хорошо себя чувствовать, то может сразу вставать. Но ей ни в коем случае нельзя перенапрягаться!

- Расскажи мне, что говорит доктор, – зашептала Наташа взволнованно и спрятала свою головку у моего плеча. Сани ждали нас. Я охватил Наташу рукой и прижал ее к себе. Мое сердце было полно благодарности.

- Послушай, дядя Федя, как хрустит и поет снег под полозьями! Такая поездка на санях, наверное, очень дорого стоит?

Я приказал кучеру, чтобы он проехал еще немного, и когда наш дом промелькнул мимо, меня встретил благодарный взгляд девочки, которая пыталась еще сильнее прижаться ко мне.

- Я люблю тебя, дядя Федя, так же нежно, как моего папу, ты знаешь...

Внезапно ее губы коснулись моей руки. – Душенька, – ответил я взволнованно. – Это делает меня очень, очень счастливым!

Во второй половине дня я должен был идти к профессору Роллье. Наташа легла на веранде. Она пообещала мне, что будет спать, а позже напишет письмо своей матери. Я принес ей старую куклу Акулину, тщательно закрыл обеих и ушел. Ее снова ставший беспокойным взгляд, как мне показалось, сопровождал меня до самой клиники.

Манера профессора Роллье выдавала в нем то, что он хорошо осознавал свою славу. Он сразу принял меня, и я передал ему два письма, одно от профессора Фредена, другое от тайного советника Пайра. Первое письмо было помятым, конверт уже не чистым, и при взгляде на него у меня в памяти возникли последние часы в голодающем, умирающем Санкт-Петербурге, неуверенные руки хирурга, накладывавшего гипсовую повязку, и мой отъезд.

- Извините, господин профессор, что это письмо несет отпечатки моей поездки из России.

- Это не имеет значения. Более детальные обстоятельства я могу хорошо представить себе по сообщениям в наших газетах.

Он немного откинулся назад и внимательно прочитал письмо. – Коллега Фреден остался в красном Ленинграде? Я знаю его и ценю его оценку хирурга. Во всем остальном, у него там, в общем, все в порядке? – спросил он осторожно и посмотрел поверх очков.

- Интеллигенция в России теперь больше не спрашивает ни о морали, ни о разуме Запада. У русского ко всему этому осталось лишь самое глубокое презрение.

Роллье молчал, как обычно молчат именно нейтралы, все же, он с почтением отложил в сторону письмо Фредена. Он не мог себе позволить высказать вслух какую-то свою оценку новой России.

- Тайный медицинский советник профессор доктор Пайр... Для меня лестно получить пациента из его рук, – он слегка поклонился и начал читать письмо. – Гм, гм..., – произнес он, едва дочитав письмо до конца: – Не будет ли нескромно с моей стороны, если я любезно попрошу вас показать ваше плечо и моим коллегам? Господа были бы рады этому и очень благодарны. Мы сделали бы несколько рентгеновских снимков и тогда обсудили бы это.

- Простите, но я не смогу заплатить за это. Копии, которые дал мне тайный советник доктор Пайр, были сделаны до и после операции.

- Это само собой разумеется, что все снимки, обследования и все лечение в моей клинике бесплатные, так как мы должны быть благодарны вам за ваши посещения уже только с точки зрения хирургии и терапии.

После почти двухчасового и действительно болезненного обследования я подал Роллье на прощание мою левую руку. Но я уже больше не медлил с тем вопросом, который так сильно занимал меня уже долгое время:

- Господин профессор, когда я смогу снять мою подпорку для руки? Она мне очень мешает.

Роллье был в высшей степени осторожен в выборе своих слов: – Если вы будете очень усердно загорать и поносите подпорку для руки еще примерно от пяти до шести месяцев, то с некоторой вероятностью можно предположить, что вследствие этого подвижность искусственного плечевого сустава в будущем будет существенно лучше. Этого хочет добиться также тайный советник Пайр. В про-

тивном же случае длительная неподвижность в висящем положении, увы, практически неизбежна.

- Но, все же, процесс выздоровления в обоих положениях руки одинаков, я имею в виду его интенсивность и продолжительность?

- Естественно, но я ни в коем случае не советовал бы вам снимать подпорку для руки до указанного времени. Большая в данный момент подвижность руки не может склонить к тому, чтобы подвергнуть себя опасности более поздней неподвижности!

- Но я не могу думать только о самом себе, господин профессор...

В его молчании лежало понимание.

Мое решение было твердым. Время заставляло меня сделать это; оно не оставляло мне никакого другого выбора.

Я шел очень медленно, так как я непрерывно думал о словах Роллье. Из-за этого я не успел к отправлению поезда зубчатой железной дороги из Лезен-Виллаж в Лезен-Феде. Я также чувствовал себя слишком медлительным, неповоротливым, вдруг слишком уставшим, чтобы преодолеть пешком сто пятьдесят метров разницы высоты.

Пальцы с сигаретой немного дрожали. Я сел под теплым солнцем, прислонив голову к стенке маленькой станции фуникулера, и долго смотрел в темно-синее небо.

И Пайр, и Роллье – один и тот же прогноз!

С помутненным сознанием, как в самом глубоком сне, я встал и бесцельно спускался по едва ли очищенной дороге. В горле я снова чувствовал знакомое мне горение, сильное желание алкоголя.

С крыши санатория ветер сдул вниз горсть снега, который колот мое лицо как будто тысячей иголок. От этого я как бы проснулся, но страсть к алкоголю превратилась в жадность; вишневка сегодня утром снова разожгла ее в отвыкшем от алкоголя рту. Мой разум убедительно предостерегал меня: Не слишком давно, до того, как я убежал из Сибири, я неделями вел существование пьяницы, не теряя при этом способности мыслить даже на один момент. Голоса, которые пять лет окружали меня в Сибири, и к которым относилась моя непреходящая любовь, должны ли они были, все же, снова заговорить? Только в опьянении я слышал их, не разумом, но тоской сердца.

Поспешно я хромал дальше. Наконец, я увидел какой-то кабачок и при этом в подсознании посмотрел на часы: Наташа была уже три часа одна!

- У вас есть водка? – спросил я, едва переступив порог.

- Да, господин, настоящая русская, – неотчетливо ответил испуганный официант. Он за стойкой как раз засовывал себе в рот кусок чего-то.

- Принесите мне бутылку и стакан к ней.

Официант нерешительно стоял передо мной, проглотил то, что было у него во рту, произнося привычное здесь «Excusez!», и повторил: «Бутылку и...» Тут он начал кашлять, его ставшее темно-красным лицо стояло передо мной, он спешно пытался прикрыться салфеткой.

Наташа! Если у нее после волнений сегодня утром тоже начнется такой приступ кашля или даже кровоизлияние, а она только одна в квартире, с температурой, слабая, неспособная себе помочь!? Эти мысли и представления пронеслись у меня в голове с самой большой быстротой и ясностью, и я уже поковылял прочь, так быстро, как я только мог и только с помощью громких криков и маханий руками в последний момент успел сесть на поезд зубчатой железной дороги в Феде.

Поспешно и с шумом поднялся я к нам наверх по старой лестнице. – Наташа? Наташа? – кричал я боязливо, как только вошел в квартиру.

- Уууу! – ответила она мне весело с веранды. – Я играю с моей Акулиной!

- Милая!... Поспешное, необдуманное слово... Кровь прилила к моему лицу. – Как ты себя чувствуешь, дитя мое? Лучше, хорошо?

- Что с тобой... дядя Федя?

Я воспринял ее слова как порицание, хотя ее темный взгляд встретил меня с привычной сердечностью. При этом я подумал, что она была однозначно права. Я сел на край ее кровати и погладил ее тонкое плечо. «Наташа!» Я искал слова, но не находил их, чтобы умело и достоверно описать то, что так сильно мучило меня, и поэтому я заикался, пытался сказать что-то несвязное, ведь мне нужно было хоть что-то сказать, чтобы не выглядеть совсем глупым: – Я очень торопился; совсем запыхался. Теперь я хочу приготовить нам ужин. Ты же захочешь есть. Прямо сейчас будет прекрасное, большое яйцо. Согласна?

Вечером она лежала в кровати, в руке старая, уже давно изношенная Акулина, которая пережила даже большевистскую революцию. Эта кукла была странным творением из ткани, с круглой головой, вышитыми, когда-то голубыми глазами и двумя крысиными хвостиками как остатком когда-то белокурых волос. Две болтающиеся ноги висели под местами разорванной, темной юбкой.

- Расскажи мне сказку, – попросила меня Наташа.

- Про конька-горбунка?

- О! Я ее очень люблю!

Я быстро и без остановок рассказал ей всю сказку до конца. – Девять часов; теперь ты должна спать.

- А ты? – спросила она очень осторожно, и когда я не дал ей никакого ответа, она добавила: – Ты останешься со мной, дядя Федя? Да?

Ее левая рука нащупала мою руку и осталась в ней лежать. Только время от времени она слегка нажимала на нее, с просьбой об ответе. – Я боюсь оставаться одна; потому что ты не хочешь прилипнуть ко мне, как ты сказал сегодня утром, а также от страха за тебя.

- Почему?

- Ты мог бы не вернуться. Моя мамочка заметила, когда ты посетил нас в первый раз: «У твоего дяди Феди во взгляде есть что-то такое, как будто он однажды мог бы не вернуться». Поэтому я также тогда не решалась ехать с тобой. Но я, все же, не могла тогда сказать тебе об этом просто так.

Мое молчание, кажется, беспокоило ее.

- Погладь мне волосы. Я хочу очень осторожно положить мою голову на твою бедную, больную руку.

Я повиновался ей вопреки своей воле. Она закрыла глаза, и я начал говорить совсем тихо, о высоких горах, блестящем снеге, темно-синем небе, вечной карусели звезд, о нас обоих и о бескрайней ширине нашей родины. Она счастливо улыбалась.

- Ты даже не знаешь, какой ты волшебник, но добрый, милый. Когда ты гладишь меня, как сейчас, то у меня закрываются глаза, но не так, как обычно.

Мне тогда становится так легко ... даже боль в груди проходит. Ты забираешь ее у меня ...

Ее голос замолкал со все большими перерывами. – Мы должны завтра сделать кормушку для синиц. Они прилетали ко мне и хотели что-то поклевать, долго сидели на подоконнике и ждали, ждали ...

Ее последние слова я мог только угадать.

За окном бушевал фён. Разъяренно рвал он наши старые жалюзи.

Крик среди ночи!

Я привстал и прислушался.

«Они идут! Они идут!» Наташа выпрыгивает из кровати, плача и рыдая, и я уже вижу ее в тусклом свете комнаты, босиком, ощупывая выставив руки перед собой. Любой контакт с каким-то объектом испугает ее до смерти. Я стараюсь встать как можно быстрее, но большая подпорка для руки мешает мне сбросить одеяло с плеча. Несколько раз наступив на одеяло ногой, мне удастся избавиться от него.

«Папочка!» – отчаянно кричит ребенок. «Не бейте! Не бейте!» Крики переходят в стон. Наконец, я возле нее, крепко держу ее. Она дрожит всем телом. Но уже в то же самое мгновение она кусает меня за плечо. – Но, Наташа, – пытаюсь я успокоить ее. – Душенька! Это же я, дядя Федя. Мы в Швейцарии, ты спишь. Ложись назад в свою кроватку.

Мне удастся зажечь свет. Безжалостно ярко свет заливает испуганного, дрожащего ребенка с блуждающими руками и раскрытыми глазами. Я быстро стараюсь прикрыть ее своей тенью.

Малышка вся в холодном поту. Обессилено она прислоняется ко мне и шепчет едва понятно, недоверчиво: – Дядя Федя...? Да... Я узнаю тебя... Ее веки закрываются.

В этот момент что-то очень сильное, какая-то воля, которой моя воля повинуетя беспрекословно, заставляет меня трижды перекрестить лицо этой девочки, которое поднято ко мне, как этому учила меня в детстве моя русская кормилица. Как светлое сияние это крестное знамение скользит над лицом Наташи и открывает ей темные глаза. В их глубине снова лежит привычный покой.

Я веду ее в кровать, отбрасываю далеко одеяло, снимаю с нее мокрую от пота пижаму, и пока она пугливо пытается сопротивляться и с испугом спрашивает: «Что ты делаешь? Что ты делаешь со мной?», спешу в ванную, чтобы помыть ее холодной водой и хорошенько вытереть полотенцем. Одетая в чистое, она потом снова лежит в кровати. Ее зубы стучат. Ее колотит от озноба, и она сильно мерзнет.

- Ложись со мной, – умоляет она плаксиво. – Это делал и мой папа, когда я болела.

Ей трудно говорить.

Я делаю это ради нее.

Как молодой зверек она уютно устраивается возле меня и держится за мою руку. Ее тело холодное как лед.

Наконец, она заснула. При этом я смотрю на нее, внимательно слушаю ее дыхание, которое становится все равномернее.

Если бы только у меня снова был ребенок, думаю я вдруг. Когда в комнате моей жены никого не было, тогда я пробирался внутрь и в сотый, в тысячный раз смотрел на деревянную резную колыбель и рядом с ней детскую коляску, которые подарили мне мои тирольские товарищи, чулочки, маленькие курточки и маленькие детские ботинки. Потом я трогал все это, внимательно прислушивался к любому шуму, чтобы меня не застали за этим, и я чувствовал, как мое сердце бьется от сильного беспокойства и радости. Потом, наконец, ребенок появился. Это был мальчик, он был большим и здоровым. У него были белокурые волосы, и черные как смоль глаза его матери. Из сверкающего холода, который снаружи посылал солнечные лучи в маленькую комнату через замерзшие окна, они все приходили к Фаиме и ко мне, друзья и товарищи, состоятельные и бедняки, пленные и свободные, каждый с подарком, каждый с тихим словом, чтобы увидеть ребенка. Тирольская деревянная колыбель качала засыпающего ребенка. Рука Фаиме лежала на краю и скользила по мягкому одеяльцу. Ее черные глаза отражали счастье ее души, и монотонная татарская колыбельная песня тихо звучала в низкой комнате. Если бы Наташа называла меня отцом... любила меня! Я долго прислушивался к самому себе.

Этой ночью я снова боялся моих собственных кошмарных снов, видений и голосов, которые приходили ко мне вместе с воспоминаниями, теперь больше, чем когда-либо раньше, и которые я изо всех сил пытался отогнать от себя. Среди этих видений был человек, который ненавидел меня с первого момента и в сво-

ей глубокой подлости причинил мне горе, от которого я все еще страдал. Он зверски убил мою жену и моего ребенка и вместе с тем навсегда уничтожил все светлое во мне, которое растаяло как тень в меланхолии Сибири. Всегда, когда я приходил в конюшню, где я связал его, он пронзительно кричал, хотя он уже больше не мог узнать меня. Его крики были моим освобождением, так как я, я ведь больше не мог кричать. Из-за него я стал тогда пьяным скотом, который, наконец, прогнал свою жертву и смотрел, как волки приближались к нему, кружились вокруг него, как он с последним отчаянием еще защищался от них. Но бестии уже чуюли кровь, скоро осознали его беспомощность, прыгнули на него, вцепились в него зубами и растерзали его еще живое тело. Тогда я действовал согласно неписаному закону мести сибирской тайги, гласящему: жизнь за жизнь, смерть за смерть.

Изо дня в день я боялся вечера, ночи. Едва наступали сумерки, я с большим беспокойством думал о темноте, о тенях, которые тогда окружали девочку и меня, они приходили к нам, говорили с нами, хватали нас, тени, которые были когда-то людьми из плоти и крови, которых мы знали, любили, но теперь мы их боялись и от них, казалось, не было никакого спасения.

Они приходили все, как они когда-то жили вокруг меня, до их ужасного конца, унесенные бурями и снежными бурями Сибири, в которые они выходили с непокрытой головой и полные презрения к жизни, умирали в своих снежных норах, умирали с голоду, в отчаянии, с угасшим взглядом, который когда-то охватывал прекрасный мир мирной жизни, полный смелых надежд, или как они брали армейскую винтовку, чтобы освободиться от длительной болезни с помощью последней пули, и никто их от этого не удерживал, несколько позже унесенные другими товарищами в вечную ночь многомесячной зимы, сложенные где-нибудь, в то время как другие вешались, и мы неожиданно в сумерках какой-то избы или конюшни видели их растрепанные волосы, выпавший длинный язык, распухшее, почерневшее лицо и остекленевшие глаза. Только немногие из них ползли через широко открытые, заметенные снегом ворота церквей, чтобы лечь там к тем, которые уже давно прошли этим последним путем. Умирающий свет свечи парил над ними как последний вдох в оторванной от всего мира тишине. Но когда раскаленное солнце едва появлялось в пасмурном, ледяном холоде над горизонтом, то мы видели полностью засыпанные светом хижины и дома и из сверкающего снежного покрова то там, то тут высывались рука, нога, голова, застывшие, ухмыляющиеся черты которой были нам так хорошо знакомы еще несколько дней или недель назад... Их угасший взгляд пристально смотрел туда, куда мы, другие, все еще хотели идти...

Я также видел моего хозяина, которого в городке называли «душителем», когда я вошел в свою квартиру в Сибири, меблированную только лишь ящиками, в

свете первой быстро зажженной спички, почти белые глаза мужчины на бледном лице с редкой козлиной бородкой и лежащими прядями волос. Он стоял в темноте в своем длинном черном пиджаке, и его тело едва ли можно было узнать. В руке, однако, он держал нож. Вскоре после этого мерцание маленького, живого света моей спички упало на нож. «Я принес вам нож, сударь...», шептал он из мрака в заклинающем тоне и медленно, неслышно в своих валенках, подходил ко мне. «С ним вы уже не будете больше таким беззащитным... по ночам». И когда он, помедлив, дал мне этот нож и, уходя, обернулся еще раз и хрипло добавил: «Я восхищаюсь вашей смелостью, сударь...!» «Это мужество отчаяния!» – отвечаю я громко, чтобы уничтожить все таинственное вокруг меня. Душитель, который продал бы за рубль сатане свою душу, знал, что я был отпущен из тюрьмы и, кроме того, благодаря моей еще превосходящей, молодой силе решительно победил бы его.

Потом забрезжило новое утро.

Где-то рядом с нами спали люди, которые еще никогда не знали страха, а всегда только спокойные ночи. В полном безразличии, как всегда, дни проходили один за другим.

Сестра Тереза, от которой Наташа и я ожидали так многого, с первого взгляда разочаровала нас, и не только удивительно большим размером ее капота. Длинное, черное платье с тяжелым распятием, бледный, кажущийся болезненным цвет лица, полностью окруженного капотом, унылые глаза, взгляд которых она, по-видимому, могла направлять только на свои крепкие ботинки, ее первые приветственные слова: «Я обещаю вам во имя милости нашего Спасителя, что в любое время буду надежно выполнять свой долг». Все это не вызывало сомнений в том, что эта благочестивая женщина нашла в церкви желанное убежище до самой смерти. Она молчаливо приступила к своей работе, не говоря нам больше никаких слов. Еда, которую она готовила нам, была жидкой и без приправ, как и ее жизнь. С приветствием: «Пусть доброта нашего Спасителя господствует над вами», она потом уходила сразу после полудня, не подавая нам руку.

- Эта набожная сестра, пожалуй, не совсем от мира сего? – спросил наш домовладелец и сделал огорченное лицо.

- Это не имеет значения. Она очень помогает нам, и что-то в таком роде нужно всегда воспринимать с благодарностью.

- Мы не подпустим ее к нам, правда, дядя Федя?

- Похоже, так не выйдет, она должна перевязывать меня.

- Я сама сделаю это! – объявила Наташа громко. – Я не хочу, чтобы она перевязывала тебя! По ее черным глазам было видно, что она не уступит.

- Нет, дитя мое. Я не хотел бы, чтобы ты видела мое разбитое плечо и рану.

- Дорогой..., – прошептала она, погладила неподвижные пальцы моей правой руки и вытерла свой маленький детский носик. – Я хочу делать это в любом случае. Только мне при этом будет очень, очень больно.

Сразу же на следующее утро, доктор Гюи едва переступил порог, она преодолела всю робость, поспешно помахала при этом ему и решительно заявила, что она сама и только одна хотела бы перевязывать меня. Врач понял ее, все же, он, немного помедлив, ответил, что этому нужно сначала научиться.

- Sans discussion, Monsieur, sans discussion! – выкрикнула она с комическим гневом. При этом ее взгляд попал на безучастно стоящую рядом с нами набожную сестру.

- Боже, прости этому ребенку такое упрямство! – сказала сестра, перекрестилась и вышла из комнаты. Наташа села в кровати и указала мне на место рядом с собой; детское лицо было еще красным от возбуждения. Тогда доктор Гюи тоже смирился. Он снял старую повязку, почистил рану от операции смоченным в спирте ватным тампоном и особенно медленно начал делать новую повязку. Направив на меня неподвижный взгляд, девочка перекрестилась неуверенной рукой и сменила доктора за этим занятием. Повязка несколько раз выскользнула у нее из пальцев на колени, и мне было очень больно, но я, тем не менее, дал ей возможность проявить себя. Время от времени доктор помогал ей.

Она делала это дважды в день; после этого она дарила мне влажный поцелуй в щеку.

Не прошло и восьми дней, как Наташа выразила желание встать, но она также на этот раз отказывалась от любой помощи сестры. Обе избегали друг друга с первого дня; их характеры были настолько разными, что никакой точки соприкосновения между ними просто не могло быть. Сестре было чуть больше пятидесяти лет. В своей простоте и ограниченности она избегала будней со всеми их заботами и радостями, и уже только поэтому она не могла иметь контакт с ребенком, жизнь которого уже была сильно омрачена теми ужасами, которые ему пришлось пережить. И если одна с равнодушием, бесстрастно, медленно выполняла свой долг по отношению к ближнему, то ребенок тосковал только по доб-

рой руке, по нежному слову, которое могло бы утешить его, по похвале или порицанию, и так как Наташе этого не хватало, она со всеми ее мыслями и вопросами еще больше убегала ко мне, к одному, кто понимал ее даже без слов, с которым ей уже даже не требовалось говорить об этом.

- Дядя Федя, приди быстро ко мне, пожалуйста, пожалуйста!

Она уже вцепилась в меня, как будто бы она могла соприкосновением со мной отвести от себя все то, что вызывало у нее озноб в близости сестры, невыразительные и все же грубые руки женщины с часто грязными ногтями, пустое, вялое лицо и монотонный голос. У ребенка был только я.

Но присутствие сестры приносило также некоторую пользу: она поставила Наташу на ноги быстрее, чем доктор Гюи мог это представить себе. – Но теперь мы ускользнем от нее! – замечала она лукаво, – потому что теперь мы можем ходить гулять все дальше и дальше!

И мы делали это также с озорной радостью.

Первые шаги Наташи в ее новом окружении были робкими, частично из-за чужого для нее языка. Она вела и поддерживала меня с самой большой осторожностью и обращала внимание на все, хотя она сама еще очень неуверенно стояла на ногах. Мы медленно шли вдоль улицы, останавливались перед витриной каждой лавки и обменивались нашими впечатлениями об увиденном, то озабоченные слишком высокими ценами, то радуясь из-за какой-нибудь мелочи. Так, например, в витрине нашего мясника сидели два влюбленных голубых волнистых попугая, воркуя и целуясь на большой тазобедренной части телячьей туши, которую мы так охотно увидели бы на нашей сковородке, чтобы когда-нибудь наесться вдоволь. У молочника в лавке иногда порхала или пела свою веселую песню канарейка. У сапожника одноглазая, парализованная собака постоянно наслаждалась солнцем возле двери; мы иногда радовали ее вываженными и полностью обгрызенными костями. Теперь она узнавала нас, даже вставала, когда мы приходили, и лизала нам руки. Еще через несколько домов мы играли с удивительно чистым псом-боксером, или разговаривали с детьми, которые шли в школу, шутили с ними и сопровождали их часть дороги. Снова и снова я пытался свести их с Наташей.

В магазинах наших поставщиков Наташа была несколько доверчивее, так как я побуждал ее лепетать отдельные слова на французском языке, чтобы способствовать ее уверенности. Когда ее понимали, ее взгляд сиял от радости, говоря мне, что она, наверное, вовсе не настолько неспособна, как я думал. Моя похвала делала ее счастливой. Наши дороги по хрустящему сверкающему на

солнце снегу становилось все длиннее и длиннее, и потому мы скоро знали уже все лавки с их витринами, все улицы и санатории. Но когда мы смотрели вверх, на огромные террасы с кушетками и веранды, на которых были выстроены в ряд белые кровати больных, тогда тонкая, кажущаяся хрупкой рука ребенка украдкой ложилась в мою руку. Тогда я всегда пытался шутить, показывая ей на что-то, что должно было казаться забавным в этот момент, чтобы отвлечь от приближающихся мрачных мыслей. Это мне всегда удавалось, и уже пальцы, которые нагрелись в моей руке, проскальзывали снова наружу, как маленькая птица в далекий, прекрасный мир, с новой уверенностью и радостью.

Больше всего Наташа любила играть у ручья. Мы собирали по дороге маленькие и большие деревянные палочки, которые мы бросали в воду и потом смотрели на них, как они в отдельности или в группах все быстрее плыли по водной поверхности, исчезали под снежными виадуками и специально построенными преградами, где-то застревали, снова появлялись и потом проворно продолжали свой путь вдаль.

Но даже когда был сильный ветер и снег, и даже если девочка очень сильно противилась этому, мы все равно упорно гуляли, пока наши губы часто не становились опасно твердыми от мороза, а щеки и уши начинали болеть. Тогда мы спешили домой, радовались нашему скромному жилищу и душистому, горячему кофе с хрустящей булочкой, которой нас всегда баловал наш домовладелец. Кроме того, сестра к тому времени уже возвращалась в свой уют; весь остаток дня мы оставались только одни.

Но потом наступил горький конец: нужно было работать. Оценки Наташи всегда были ниже среднего, у нее не было честолюбия и, к сожалению, не было и таланта учиться легко. Кроме того, она была действительно очень ленивой. Я жертвовал ей много своего времени и еще больше терпения, но все было напрасно. Только с принуждением и со слезами она что-то доводила до конца, но это всегда было сделано тьяп-ляп. Я добился лишь одного: наконец-то, она стала тщательно умываться.

Но в ее характере, все же, было что особенное. Все были в восторге от нее, больше того, все ее любили, и когда она возвращалась домой из похода по магазинам, чтобы точно, до последнего франка, подсчитать со мной все потраченные на покупки деньги, то даже самый смелый подсчет терпел неудачу: три килограмма картошки не были включены в счет, самая большая цветная капуста стоило столько же, что и самая маленькая, а полфунта масла часто превращалось в целый фунт. При этом она сама удивлялась, что ей это все подарили.

Но мне также бросалось в глаза, что она едва ли чувствовала радость от этого, никогда не вступала с людьми в более близкие отношения, и даже редко говорила о них. Все это разительно отличалось от ее неизменного отношения ко мне. Она никогда не ела лакомства, не предложив их сначала мне. Возвращаясь домой, она всегда целовала меня в щеку или обнимала. Мои попытки найти для нее подруг, чтобы приучить ее к таким же девочкам, как она, и таким способом немного «отвязать» ее от себя, в большинстве случаев вскоре оканчивались неудачей, зато с мальчиками она гармонировала прекрасно. Они спорили за ее благосклонность, чтобы говорить с нею, осторожно играть с нею, доставлять ей какую-нибудь радость, которую она принимала почти небрежно, тогда как другие девочки нередко уходили с пустыми руками. Но это очевидное предпочтение не будило в ней какую-либо самонадеянность по отношению к товарищам по играм. Наташа в большинстве случаев дарила то, что ей подарили, другим, и вследствие этого зависть ее подруг испарялась быстрее, чем появлялась.

Однако, вероятно, вовсе не ее меланхолия, которая снова и снова легко появлялась в ней, или вынужденные ограничения в играх были причиной того, что она не устанавливала более тесный контакт с другими детьми. Малыши ничего не знали о трагичности ее прошлого, но, все же, они чувствовали, вероятно, что эта девочка, которую занесло к ним из далекой страны, никогда не направляла жадный взгляд на лакомства, игрушки, одежду, никогда ничего не просила, была в плену судьбы, которую их семьи и их родина чудом избежали, за что они должны были быть очень благодарны. И они также доказывали это, каждый по-своему. Но пропасть между ними оставалась, и ее не могли преодолеть ни Наташа, ни другие.

Прошло несколько недель. Наташа и я привыкли друг к другу.

Каждое утро и «sans discussion» наш всегда веселый домовладелец приносил нам завтрак, ни разу не забыв очень щедро намазать кусочки хлеба для Наташи и немного поболтать с нею. За неимением знаний общего языка их пальцы, жесты и выражения лица играли в первые дни самую важную роль, но теперь, когда девочка в большинстве случаев уже у входной двери приветствовала своего покровителя словами «Bonjour, pere Dukommun!», радость добродушного мужчины уже почти не знала границ. Его широкое лицо прояснялось, и пока он произносил слова медленно и отчетливо, он удобно подсаживался со своим старым, исцарапанным подносом и неумоимо позволял ребенку повторять каждое отдельное слово. – Папаша Дюкоммен никогда не забудет твой завтрак, моя малышка, sans discussion! Потому что такой оборот речи для кого-то также останется надолго, как липкий мед! Кстати, о меде! Ты хочешь поесть меду, Наташа?

Ребенок вопросительно посмотрел на меня.

Дюкоммен быстро вернулся. – Как же это я не подумал о меде, ведь это что-то, что очень важно, даже необходимо для детей!

Он внимательно смотрел, как она намазывала медом бутерброд с маслом.

- Нет, нет, ты должна брать сразу несколько ложек. Он еликолепен! – добавил он по-немецки и ждал эффект от своего знания языка.

- Нужно говорить «великолепен», папаша Дюкоммен, – поправила она его, отчетливо подчеркивая «в».

- О, это мы никогда не сможем; это слишком тяжело для нас.

(В оригинале «папаша Дюкоммен» произносит немецкое слово «herrlich» как «errlich». Французы (как и франкоязычные швейцарцы, конечно) не знают немецкого звука h, и поэтому персонаж книги не может произнести его. – прим. перев.)

Госпожа Дюкоммен ни разу не появлялась у нас. На мой вопрос ее муж отвечал привычным жестом, которым отмахиваются от всего: – Добрая женщина вновь ревнует, на этот раз к малышке, к вам и, как обычно, к Богу и всему мир. Ну, да и ладно: я – хозяин в доме.

За пекарем несколько позже следовал молчаливый молочник, худой мужчина, который ради самого точного распределения слоя сливок долго перемешивал молоко в кувшине, пока запрошенное количество не было отмерено с абсолютной точностью. С первого дня мы обменивались только обычными словами приветствия и прощания.

Время от времени прибывал наш зеленщик с неизменной шапкой в форме блина, которую он двигал туда-сюда, все же, никогда не снимал, вероятно, даже в кровати, как думала Наташа. «С вашего позволения» он у нас в шкафу уже давно поставил бутылку шнапса. Его соответствующим приглашениям выпить вместе с ним за здоровье стаканчик постоянно варьирующейся «огненной воды» я, однако, стойко не поддавался. Но с некоторого времени мы стали причинять ему, как он говорил, покачивая головой, большие хлопоты, потому что мы стали сами носить домой овощи, и поэтому у него больше не было убедительной причины, чтобы прийти к нам и воспользоваться своей бутылочкой. Со скептическим выражением лица и размахивая руками, он добавил: – Сдержанность – это добродетель не всякого человека, месье! Печально, но правда!

- Тогда приносите нам сами товар, как раньше, – весело заметила Наташа.

- Ребенок с такими грешными мыслями, как сатана искушения!

Впервые набожная сестра подняла свой взгляд, по крайней мере, к небесам.

- В вине лежит истина, как говорят умные люди, – ответил саркастично наш зеленщик. – К познанию этого вы тоже обязательно когда-то придете, сестра!

- Да сохранит меня Господь Бог от этого!

- За этот страх! – мужчина сделал еще один большой глоток и сразу засунул себе в рот большую мятную таблетку.

Но также и наш курносый ученик пекаря Жак, по прозвищу Коко, выбирал любой предлог и самое благоприятное мгновение, чтобы порадовать Наташу свежесдобитыми продуктами своего шефа или сладостями, добросовестно завернутыми в пеструю шелковую бумагу. Тогда он стоял, как будто принесенный неожиданным вихрем, перед нею, склонив голову набок, и любовался ею с явным воодушевлением. Если он, однако, осторожно говорил ей несколько слов, и она его сразу понимала, то он сиял со всеми его большими и маленькими веснушками. – Она очень, очень красива, бедная малышка! – говорил он с очень серьезным лицом, – ... как принцесса. Может быть, она действительно принцесса, месье?

- Вероятно, Коко. Я подробно расспрошу ее мать.

- Через несколько недель в Лезене будет детский праздник. Не прочтает ли она на нем какое-нибудь красивое стихотворение? И как это было бы, месье, если бы она танцевала со мной? Все же, там мы оба могли бы встретиться, она переодетая принцессой, и я, как ученик пекаря, как я стою перед вами.

- А ты умеешь танцевать?

Меня засыпал поток радостных слов, за которым Наташа вовсе не могла уследить, и мальчик уже сделал несколько па, которые привели меня в изумление; при этом он напевал себе под нос невзыскательную мелодию.

- Ах, месье, если бы я только мог научиться танцевать! Но я сирота, и моя тетя Анжель не разрешит мне этого. Эти несколько движений и мелодию к ним я придумал сам. Через один год я закончу мое обучение. Я экономлю каждый франк для последующей учебы.

- Жак, озорник! – прогремел к нам снизу голос хозяина, и Коко сразу же снова исчез.

Наташа продолжила поток слов. Она была в очень большом восторге, и впервые с нашей встречи я удивился ее танцевальным идеям. При этом я невольно должен был подумать о ее отце.

Когда Коко снова прокрался к нам, я согласился от имени Наташи.

- Я сразу напишу мамочке, чтобы она послала мне пару балетных тапочек. Я уже очень хорошо танцевала в Петербурге, но это слишком сильно утомляло меня, у меня начинала кружиться голова, однажды я даже упала в обморок.

Коко понял только одно слово «балет». Он робко посмотрел на девочку, не в состоянии что-то сказать. Его взгляд лежал на ее маленьких ногах, которые высунулись из-под перины, болтаясь перед мальчиком. – Я могу танцевать на носочках, Коко! – сказала она не без гордости. – А ты знаешь, что такое балет?

Мальчик осторожно прикоснулся к ее ногам. Все же, когда он рассматривал девочку, он был совсем смущен. – Маленькая принцесса..., – произнес он изменившимся голосом и убежал. На следующий день он не пришел. Но мы обнаружили свежую булочку на пороге двери нашей маленькой квартиры, а папаша Дюкоммен рассказал нам, покачивая головой, что обычно всегда веселого и готового к любому озорству Коко как подменили, и что он исполняет любую работу только молча. Вскоре после этого он пришел снова, но пробурчал только привет и безмолвно положил теплые булочки на стол, причем его смущенный взгляд скользнул по Наташе.

- Что с Коко? – спросила она меня. – Не мог ли бы ты выступить со мной? – продолжила она без всякого перехода. – Тогда я была бы так же уверена, как здесь у нас. Ведь ты же знаешь так много русских и немецких стихотворений, и какой-то французский стишок ты быстро выучишь. Ты держал бы меня за руку и подсказывал бы мне, когда я декламирую.

- Я думаю, ты хотела танцевать?

- Ты действительно думаешь... что я смогу? И что я скоро буду такой же здоровой, как другие дети? Ведь мне так хочется играть с ними по-настоящему. Точно как все другие, дядя Федя, дорогой мой!

- Доктор Гюи полностью уверен в этом!

- Я не понимаю все, что вы об этом говорите.

Ее взгляд был пристально направлен на меня. – Ты можешь поклясться на святом кресте, – строго спросила она, – что я стану здоровой, как другие дети?

Она расстегнула платье и подала мне маленький серебряный крест, который она постоянно носила на груди, положила на крест мою левую руку и добавила с благоговением:

- Теперь говори!

- Я клянусь тем, что все еще свято для меня!

- А не Богом, всемогущим?

Я уклонился от нее. – Клянусь памятью моей жены и нашего малыша.

Она держала мою левую руку обеими руками и задумчиво молчала, взгляд ее больших глаз был вопросительно направлен на меня.

Это поэтому ты так часто бываешь тихим и погруженным в себя? И нетерпеливым по отношению ко всем другим, также ко мне?

- Да, к сожалению.

- Ты, наверное, не любишь говорить об этом?

- Нет.

- Прости мне, что я говорю много.

Она особенно медленно застегивала платье, потому что она о чем-то думала. – Может, я налью тебе еще кофе или отрежу тебе кусочек нашего мяса? – быстро спросила она. – Ты ведь это так любишь.

- Спасибо тебе. Мы должны сохранить это до воскресенья.

- Я теперь сразу дам тебе все, что причитается мне.

- Я сыт и мне больше ничего не хочется.

- Но ты уже не можешь даже слышать ласковое слово, дядя Федя!

- Да, таким я стал. Ужасный человек.

- Бедняжка! Но не печалься об этом. Это снова будет. Но ты же любишь меня, все же, хотя бы чуть-чуть?

- Немножко уже люблю.

- Ну, да, так ведь я же и сама большего не заслуживаю. Я ленивая, небрежная и всегда такая неловкая с моими глупыми руками. Ты говорил это недавно. Глупые руки...

Она посмотрела на них с оттенком печали. – Я, наверное, всегда делаю тебе очень больно, когда перевязываю тебя?

- Нет, Наташенька. Это случается только из-за того, что я действительно слишком нетерпим, надоел самому себе, только бездельничаю, совсем не могу работать, и при этом еще должен выполнять обязанности.

- Обязанности перед кем, если твоя жена и ваш ребенок умерли?

- Перед моими родителями и все еще перед тобой, до тех пор, пока ты не будешь играть так же беззаботно, как другие дети, и я больше не буду тебе нужен. Это будет скоро.

Она побледнела. Внезапно она прыгнула мне на колени и обняла меня.

- Ты дурачок! Ты будешь нужен мне всегда и вечно, дядя Федя! Снова и снова. И я также хочу быть твоим ребенком, говорить тебе «папа». Должна ли я? Я боялась бы остаться без тебя. Это было бы страшно! Кто тогда должен будет когда-то позже говорить мне, как я должна все делать?

- Пойдем, теперь нам пора гулять. Посмотри, как солнце светит! И нам надо было бы посмотреть, где там наш Коко.

- Нет, нет, подожди! Позволь мне, все же, однажды подумать, как это, как это будет, если тебя больше не будет со мной.

- Но ведь у тебя есть твоя дорогая и добрая мамочка, которая ждет тебя!

Она покачала головой так, что ее косы разлетелись, схватила мои пальцы и сжала их. Ее взгляд, полный беспокойства, искал что-то на моем лице.

- Подожди-ка, дядя Федя, я не могу так быстро думать и отвечать, как ты, потому что... Мне будет очень не хватать тебя! И ведь ты же не можешь просто при-

вести меня к мамочке и сказать: «Ну, вот, душенька, теперь прощай. Я когда-то разок напишу тебе».

- Я еще поцелую тебя на прощанье и перекрещу тебя. Но я же не смогу навсегда остаться с тобой.

- Но... я не хочу, чтобы это было так! – запротестовала она. – Ведь мне будет больно, если ты уйдешь от меня!

Она крутила мои пальцы туда-сюда, в то время как ее взгляд, кажется, искал что-то в дали горного мира, что-то, что она хотела облечь в слова и, все же, не могла. – Если бы ты только подождал меня, пока я вырасту, тогда я в любом случае могла бы оставаться с тобой, а также навсегда, дядя Федя, тогда...

Она не отпускала меня, опустив темную головку, детский лобик впервые был в морщинках.

- Но, душенька! За эти несколько лет...

- Нет! Нет! Я не забуду тебя! Но ты хочешь уйти от меня. Я для тебя обуза.

- Чего только нет в твоей головке! Что ты вообще хочешь делать со мной? Ведь ты же сама говорила, я недоступен для любого доброго слова.

- Ах, да что я там еще наговорю! Ведь я это сказала без злого умысла! Ты не должен думать о каждом слове. И если бы я просто жила у тебя, чтобы исполнять любую работу, ждала тебя, пока ты не вернешься домой, заботилась о тебе...? Как раз для всего. Или я слишком неловка также для этого? Ты не думаешь, что это однажды станет лучше? Нет! Подожди, подожди! Я сказала тебе еще далеко не все, – добавила она плаксиво. – Все же, я хочу совершенно определенно...

- Пойдем, пойдем, мы поговорим об этом в другой раз, в хмурый день. Или ты не видишь, как сегодня хорошо на улице?

Она неохотно повиновалась и молчала. Целый день она оставалась серьезной и робко наблюдала за мной.

Был вечер.

Еще никогда она не лежала в кровати так хорошо вымытой и причесанной. Над светлым, расписанным цветами стеклянным абажуром она повесила старое платье. Она знала, что мне мешал яркий свет. Я сидел на краю ее кровати. Она как

обычно с легким нажимом сложила мои пальцы к молитве и положила свои ладони на них. Вместе мы на церковнославянском языке читали «Отче наш». При этом мы смотрели на маленький, темный образ богородицы с младенцем Христом, который висел над ее кроватью. Все же, когда я подарил ей обязательный поцелуй в щеку, она удержала меня.

- Скажи, все же, мне одно-единственное, очень доброе слово.

Я упрямо молчал.

- Ты не хочешь? Даже вопреки твоей воле?

Я покачал головой и хотел подняться, но она держала меня еще тверже.

- Как тогда, – просила она плаксиво и убедительно. – Пожалуйста!

- Когда и какое все же это было слово? – нагло лгал я.

- Ты уже сам знаешь, – добавила она немного громче, и я почувствовал, что она раскусила мою ложь.

- Нет, – ответил я недружелюбно.

- Когда ты тогда пришел от врача... и испугался своему собственному слову. Ведь у меня нет никого, кто еще мог бы мне сказать что-то ласковое, доброе, ты уже никогда и ничего такого не говоришь, а мамочка сейчас так далеко от меня. Знаешь... мне этого не хватает, чтобы я смогла быть по-настоящему милой, по крайней мере, к тебе. Разве это не устраивает тебя?

- Спи уже теперь. Ты настолько устала, что твои глаза закрываются.

- Скажи хотя бы разок «глазки» о моих глазах!

- Твои глазки закрываются.

Она приложила мою ладонь к своей щеке и прижалась к ней. – А теперь скажи мне, все же, это милое слово, но не так же, как тогда, когда ты боялся за меня, а тихо, совсем тихо. Ты можешь прошептать его мне в ухо, если ты стыдишься. Я отвернусь. Тогда я больше не увижу тебя, когда ты скажешь его.

Она наклонила свою голову в сторону, коснулась губами моей ладони и ждала.

- Ну, скажи же... Милая...

- Милая...

- Ты скажешь это еще раз, когда я при этом буду смотреть на тебя?

- Нет, Наташенька. После молитвы перед сном нельзя больше говорить. Теперь ты должна спать.

- Ах, дядя Федя! – вздохнула она и повернулась ко мне. – Может, нам поговорить немного о родине, о жарком лете в деревне? Или ты хочешь снова рассказать мне о белых ночах, вероятно, также о Сибири, что-то красивое? Я еще не засыпаю. Море, знаешь ли ты еще, как оно всегда шумело?

Я вытащил мою правую руку из-под ее головы, еще раз накрыл девочку и открыл дверь на веранду. Холодный, пряный вечерний воздух устремился в комнату. Тогда я выключил свет и ушел. Но когда я закрывал дверь за собой, я услышал, как девочка тихо плачет.

Я сел под холодным светом тысячей лампы и подпер голову рукой.

Я колебался.

В любом случае я должен был со всей решительностью притушить, обуздать привязанность девочки, чтобы, вероятно, уже скоро, смочь вернуть ее в жизнь, чтобы она не слишком сильно привязалась ко мне и, возможно, не осталась вследствие этого птицей с подбитым крылом. Я часто беспокоился об этом и спрашивал себя, правильно ли это, что я взял с собой ребенка. Но судьба привела ее ко мне, к тому же еще больную...

Об этом я однажды написал матери Наташи. Она была, однако, другого мнения, да, она даже приветствовала такое расположение ребенка ко мне, охотно предоставляя при этом мне право отца, и всегда давала Наташе указания повиноваться мне, быть со мной доброй, милой и откровенной.

Медленно и тщательно я набил свою трубку и закурил.

Я снова подумал о госпоже Андреевой, о том, что между строками ее писем всегда отчетливо обнаруживались такая сильная меланхолия и тоска по родине и не необоснованная безнадежность. И не была ли та же самая меланхолия свойственна также ее ребенку? Наконец, госпожа Андреева нашла должность у одной землячки, и так как клиентура этого салона мод умела ценить вкус и сноровку маленькой женщины, ее будущее, кажется, было гарантировано. Она хотела со своей начальницей через несколько недель поехать в Париж и посетить

нас, чтобы снова взять Наташу с собой. О господине Нойманне она знала лишь мало. Дороги обоих этих людей разошлись.

Я курил трубку и снова позволил воспоминаниям овладеть мною...

Блестящий топор лежит в моих руках и сильными ударами рубит дрова для ночного привала. Сталь громко гремит по вечернему, внимательно слушающему лесу и вспугивает нескольких птиц. Беззвучно, как тени, они летят дальше в лес. Бродяга, мой волкодав, повсюду следует за мной, также он тут и там хватает ветку и, весело виляя хвостом, тянет ее к куче. Несколько в стороне пасется Колька, моя косматая лошадка в белых и коричневых пятнах, внимательно вслушиваясь в ночь, при этом что-то представляет себе и философски шевелит лохматыми ушами.

Внезапно мой костер разгорелся, и вот уже огонь охватывает все больше веток. Теперь он шелестит, шипит, свистит и плюет, и как адский огонь разливается с угрожающе красным цветом над изувеченным лесом, светлые березовые стволы просвечивают сквозь него, и в разросшейся кроне, в высокой траве, на папоротниках и кустах как огромные алмазы или сверкающие рубины блестит роса. Также из воздуха, со всех сторон, прилетает множество сверкающих, удивительных драгоценных камней. Они падают в огонь, летят мимо, медленно, с жужжанием, бесчисленные моли, жуки, комары и мотыльки. Шелестение, жужжание, тихое стенание, короткий, сухой щелчок, шуршание и крики, шумы ночи.

Ворчание, громкое и зловеще, это лесной дух Сибири – древний шайтан, который сейчас шагает по своему царству и нагоняет страх на одинокого путника. «Уууу...», кричит издали белый филин, и вскоре призрачная тень пронесется над магическим жаром моего костра.

Рядом со мной сидит татарка Фаиме, маленькая, задумчивая, дорогая. Время от времени собака спешит к ней, виляет, смотрит на нас, тихо ворчит, лает звонким голосом. Она хочет сказать нам, что у нас, все же, есть бдительный друг, насколько он необходим, если ночью нам грозят опасности. Тогда мы гладим его, говорим с ним, радуемся, что с нами есть такой большой, сильный зверь, клыки которого уже порвали нескольких волков. На расстоянии вытянутой руки лежат обе мои винтовки и «Наган».

Каким сильным, непреодолимо сильным чувствовал я себя тогда! Тогда!

Вечер за вечером я сидел один, пытался решать шахматные задания ежедневной газеты или раскладывал пасьянс, что никогда не получалось, так как беспокойство всегда снова охватывало меня.

В комнате рядом было тихо. Наташа спала, и, тем не менее, я ждал, как так часто, ее первый крик, боязливый стон и рыдание, потребность в моей беспомощной близости.

Я вышел на веранду и поймал себя на том, что я снова ждал, ждал и думал о том, как в тишине, которая, прислушиваясь, окружала меня, все вокруг меня беззвучно и беспрерывно шло навстречу упадку, навстречу смерти.

Я боялся.

Тогда я иногда шел к Наташе, довольно долго рассматривал ее лицо, садился на старый стул и вел с ней немой, сдержанный диалог. Было так много того, что волновало меня. Однако я не мог это сказать, так как она спала и так как она, все же, была только ребенком, которого нельзя было нагружать своими заботами.

Иногда я даже держал ее руку в моей.

Я искал близости человека. Мне было необходимо это соприкосновение, чтобы не быть в эти ночные часы совсем одним, чтобы не потеряться окончательно в этой холодной пустоте, которая была больше и тяжелее, чем эти постоянные, вечные физические боли.

В одно солнечное воскресенье Наташа на детском соревновании достигла финиша первой! Вне себя от радости, с разлетевшимися волосами, покрасневшими щеками, вся в снегу, она вбежала в квартиру и осыпала мое лицо бурными поцелуями.

- Я впервые была первой!

- Я все видел!

- Ты счастлив этим?

- Очень счастлив и очень горд... моя милая!

- Ах!... Мне нужно снова бежать к детям!

Я остался и твердо опирался на мой костыль. Наташа, черноглазая русская девочка, была абсолютно здорова, и она была самой проворной, самой быстрой среди своих товарищей по играм. Она весело сообщала мне о своих детских успехах и достижениях.

Но нельзя было заниматься только играми. Наташе, прежде всего, следовало, наконец, снова продолжить учебу. Так как поступили первые ответы на нашу просьбу прислать школьные задания, нам нужно было очень много работать. Наташа совсем не была согласна с этим, и мне всегда приходилось подгонять ее, чтобы она хотя бы не отставала от программы.

Все достижения, которых она добивалась на открытом воздухе, были полной противоположностью к ее скорости улитки, когда она начинала доставать книги и тетради. Долгая заточка карандашей, чистка уже давно более чем чистого пера, раскладывание тетрадок для работы, как можно более удобное откидывание назад на стуле или даже расплетание и новое заплетание кос, все это становилось требующей много времени процедурой, которую я должен был оканчивать все более громкими и более отчетливыми словами, чтобы каждый день констатировать, что почти все задания были сделаны ею неправильно.

Мои призывы потом переходили в угрозы спрятать ее Акулину, порвать ее, сжечь, подарить кому-то, запретить Наташе все игры на улице, даже послать ее домой и побить ее. На некоторое время это срабатывало. Хотя она тогда засовывала свой нос в книгу, но уже скоро косилась на будильник, не пришло ли уже время готовить ужин.

- А вот теперь мне действительно пора идти на кухню, дядя Федя, потому что ты не терпишь непунктуальность и тогда ругаешься со мной.

Она украдкой пробиралась из комнаты, чтобы приготовить немного еды.

Тогда становилось поздно, ей нужно было рано ложиться спать, и так проходил еще один день со многими бессмысленно потраченными часами. Хорошее намерение отрабатывать завтра двойную нагрузку, оставалось в большинстве случаев невыполненным, так как доктор Гюи убедительно призывал меня, чтобы я оставлял Наташу на улице как можно дольше, это, мол, было для нее очень важно. Рассержено я бросал бедную Акулину с ее оборванными руками и ногами в детскую кроватку. Потом я выходил из комнаты, не прочитав молитву вместе с Наташей, за мной следовал ее робкий взгляд. – Дядя Федя...? – доносился через некоторое время тихий голос из примыкающей комнаты. Я не отвечал, потому что в большинстве случаев был углублен в письмо, которое мне приходилось медленно и неразборчиво писать левой рукой. Она молчала, слушала,

откашливалась время от времени. – Я все еще не сплю... знаешь, – говорила она позже.

- Оставь меня в покое, наконец! Я не приду!

Я уже давно забыл о ней, когда она добавляла: – Я раскаиваюсь в моей лени. Но приди же, дядя Федя, я хочу попросить у тебя прощения, что я...

Я не отвечал. Мне все это уже было знакомо.

- Ну, давай, мы, все же, хотя бы помолимся вместе. Мне так грустно. Пожалуйста, поверь мне, – она пыталась дуться. – И еще мне пришло в голову кое-что важное, из-за одной школьной работы.

Когда я позже, как обычно, оторвал свой взгляд от книги или игры и внимательно прислушался, я услышал только лишь ее ровное дыхание; она заснула. Несколько слез еще висели на ресницах. Она отложила свою Акулину, чтобы этим наказать саму себя. Однако в своих руках она держала мой пиджак, чтобы смягчить это наказание. Я даже не услышал, как она взяла его из шкафа. Осторожно я забрал его обратно.

Внезапно Наташа проснулась, и я уже подумал, что ей приснилось что-то плохое, так как она спросила меня приглушенным голосом и так неожиданно:

- Ты видишь мое лицо? Ты его точно видишь?

- Нет. А зачем? – ответил я.

- Дядя Федя, дорогой... Я должна сказать тебе кое-что печальное.

- Но не сейчас же, среди ночи!

- О, да, как раз в темноте, – настаивала она.

- Ну, тогда говори уже, но быстро.

- Сегодня я слишком быстро добежала до финиша... и чувствую себя снова больной, почти как раньше, ты знаешь.

Я неуклюже сел на край ее кровати. – Но ведь доктор Гюи был так абсолютно уверен, когда он исследовал тебя после этого. Он вряд ли может ошибаться.

Она пожала тонкими плечами и придвинулась ближе ко мне. – Теперь я должна оставаться в Лезене так же долго, как ты, до осени, говорил тебе тогда доктор Гюи. Если мамочка скоро приедет, чтобы забрать меня, то я никак не смогу поехать с ней. Я должна оставаться у тебя... Дядя Федя.

Также настойчивое подчеркивание моего имени говорило мне все.

- Как некрасиво с твоей стороны так мошенничать с собственным здоровьем! И ты еще всего несколько дней назад хотела называть меня «папой»!

Я вышел, сел за стол и убрал все карты для пасьянса. Это не было хорошо для Наташи, что я взял ее с собой. Но тогда она была больна, и я испытывал к ней некоторое сострадание, да, немного. Разве не говорил русский народ: Совсем без сочувствия жить нельзя?

Вдруг она стояла передо мной, протянув руки ко мне, немного склонив головку набок, и бросилась мне на шею.

Мы не обменялись ни словом. Ни один взгляд не искал взгляд другого. Ее руки положили черные косы вокруг моей шеи, стянули их немного, и заплаканный рот нерешительно покоился у моей щеки.

Я прижал ее к себе.

Но многочасовое загорание, вид санаториев с больными, слабыми людьми, или ежедневное, бесцельное шатание по уже давно знакомому курорту и его окрестностям я переносил с очень большим трудом. Сколько размышлений, однако, прогоняли беспечные вопросы и слова этой девочки! Вследствие этого мои будни стали хаотичными, надоедливymi, как у всех истеричных людей, которые никогда не делают выводов из своих действий, никогда не подводят итог, не включают его в определенный порядок, чтобы смочь тогда разделаться с ним.

Поэтому также случалось, что я все чаще сожалел о своем решении взять с собой Наташу, и у меня было только лишь одно безотлагательное желание как можно скорее отвезти ее назад к ее матери.

В конце концов, я хотел остаться наедине с теми воспоминаниями, которые я любил, которые для меня так много значили, связанным с которыми я непрерывно чувствовал себя, как будто с помощью знакомой тихой дороги на уютной, приветливой родине, которая должна была принять и окружить меня.

Быть совсем одним! На долгое время!

В эти дни споров и раздора, в которые я страдал от меланхолии, когда фён проносился над горами, когда мои боли усиливались в два или в три раза, и я проклинал мое ковыляние, медленное движение, мой костыль и всюду и постоянно мешающую мне треугольную подпорку для руки, я нередко выплескивал свой бессильный гнев на Наташу, на ее неловкость во всех домашних работах, когда она проливала что-то через край чашки, когда она разбивала посуду, или когда из-за нее подгорали готовые блюда.

Ее лень тогда все еще полностью выводила меня из себя.

Как маятник старых, кряхтящих часов я раскачивался туда-сюда по маленькой, безобразной комнате. Также в ней нельзя было хорошо себя чувствовать! В ней не было ни одного кресла, ни лампы, свет которой мог бы распространять некоторый уют. Я был загнан в загон вместе с другими загнанными, но с тем различием, что другие никогда не чувствовали этой тесноты, так как их жизнь началась и кончалась здесь, тогда как я с самой ранней моей молодости знал ту бескрайнюю ширину, вынести которую дано не каждому. Сколько людей уже потерялись там безвыходно?

В такие мгновения я воспринимал Наташу только лишь как существо, которое долго и во всех делах мешало мне, штурмовало меня с наивными вопросами и было именно надоедливим, существо, которое я, однако, не мог отодвинуть в сторону как какой-то предмет, из долга перед самим собой, из последовательного решения исполнить то, что я когда-то обещал. Почти ежедневно я сталкивался с этой стеной. На нее я бросал всю мою ярость и презрение.

- Черт побери, да брось уже свой гребень в угол и не оставляй его снова на столе вместе с твоими волосами! И если ты еще хочешь есть, то, будь добра, ешь свою нарезку на кухне, а не во время работы! Разве ты не видишь, что на обложках твоих школьных тетрадей и книг снова появились жирные пятна, неряха! И продолжай уже, наконец, заниматься своей чепухой сама, и когда ты закончишь с этим, то покажи мне твою отвратительную пачкотню. Ты уже, как я вижу, больше не думаешь о своей матери, иначе ты бы давно ответила на ее письмо, написала бы ей, по крайней мере, что ты первой добежала до финиша. Ты что, вообще ее не любишь? Не хочешь ее ничем порадовать? Из-за твоей лени я могу только лишь презирать тебя!

Я угрожал, что снова спрячу ее Акулину, сожгу, подарю или порву на куски.

Ничего не помогало. Девочка не хотела, да и не могла учиться одна. Я угрожал, если Наташа не хотела вставать утром, отправить ее домой, заставить ее голо-

дать. И прежде чем я один садился за стол для завтрака, я иногда тащил ее за длинные косы из кровати в ванную.

На все мои злые, иногда несправедливые слова Наташа мне никогда не отвечала. Она никогда не жаловалась и на еду, даже если нам нередко целыми днями приходилось есть только густой гороховой суп или суп из перловки с хлебом. Сложив на коленях кажущиеся прозрачными руки, опустив над ними голову, она сидела неподвижно в кровати, или убегала как боязливый зверек в свой угол и садилась там, никогда не поднимая взгляд.

- Другой ребенок в твоём возрасте пытается, по крайней мере, ответить чем-то разумным, исправиться, старается улучшить самого себя! А ты еще и такая упрямая!

- Ты слишком тяжело переносишь свое горе, дядя Федя, – отвечала она пугливо, борясь со слезами. – Я перевязываю тебя каждый день, и ты видишь, как при этом мои руки дрожат от боли за тебя, когда я вижу твою разбитую руку.

- Тогда просто брось это, если ты не умеешь пользоваться своими глупыми руками даже для этого!

Я сам чувствовал себя неизмеримо плохим, говоря такие слова. Вновь был вечер, и фён, самый злой враг всех больных, тряс наши гнилые ставни. Уже более двух часов я бесцельно слонялся по улице. Напрасно Наташа пыталась также на этот раз отговорить меня от этого. Плача, она осталась дома.

Вокруг меня была жестокая тишина курорта, традиция скучных обывателей идти спать одновременно с курами. Всюду гас свет. Снег и дождь шумно падали на землю. Подобно кулисам большие санатории поднимались в туманной дымке. Хмурый, бледный свет отдельных фонарей лишь слабо освещал окрестности. Там я видел несколько темных фигур, в их середине больного на носилках, истощенные черты лица которого были похожи на посмертную маску. Вероятно, он уже умер? Потом они подняли носилки, и новая волна тумана совсем стерла их контуры. Также их голоса замерли где-то вдалеке. Они напоминали заговорщиков или переносчиков трупов, которые должны были где-то избавиться от своего груза.

Я хромал от одной витрины к другой. Пойти домой? Нет. Мысль о моей маленькой комнате, тишине и темноте, где в любой момент меня мог внезапно напугать страшный испуганный крик ребенка, мои собственные сны с открытыми глазами и всегда возвращающееся чувство покинутости в бесконечной пустоте гнали меня дальше, все дальше через сырой весенний вечер, в то время как хорошие

граждане уже спали сном праведников. Между тяжелыми, запыленными занавесками какого-то трактира я увидел несколько бутылок шнапса. Но желание однажды бессмысленно напиться или, тем более, беседовать с чужими людьми, шутить с ними, заставлять самого себя смеяться, пронеслось во мне лишь как мимолетная мысль.

Новая волна сильных болей заставляла меня идти дальше. Меня окружила темнота, из которой снежинки падали мне в лицо. Я поднял левую руку, и желание поднять и правую руку тоже как можно выше последовало так спонтанно, что я подумал, что подниму ее вверх, чтобы расширить грудь после долгих месяцев и по-настоящему глубоко дышать, свободно от надоедливой перевязки, ее широких ремней и неуклюжего проволочного каркаса. Тем не менее, проклятое железо и ремни по-прежнему твердо обтягивали верхнюю часть моего туловища.

И я больше не хотел этого! Я хотел снова дышать свободно и беспрепятственно, работать, писать, хватать, все держать, обеими руками!

Я заберу у Наташи всю работу, буду ее баловать и буду гладить ее обеими руками, когда она прижимается ко мне, я заставлю себя делать все правой рукой, чтобы она как можно больше двигалась. Тогда я снова стану тем, каким я был раньше, без перепадов настроений, придинок и всего того, что я теперь ненавижу в себе.

Мой пульс бился все сильнее. Мне становилось жарко, и я вдруг почувствовал себя очень неуверенно на ногах, как будто я был пьян. Но потом я поспешно пошел дальше и в моем возбуждении даже прошел мимо нашей улицы и мимо нашего дома.

Наконец, я стоял перед спящей девочкой.

Нет! Я не могу сказать ей об этом. На этот раз она не послушается меня, также не захочет помочь мне в этом! Голова, которой уже много месяцев не приходилось заниматься хоть какими-то значимыми и важными мыслями, искала и не находила никакого выхода, никакой лжи, на которую мог бы клюнуть этот ребенок, ничего не заподозрив. Я просто должен был захватить ее врасплох. Она не должна была полностью проснуться до этих нескольких быстрых движений руки. – Наташа, – позвал я ее. – Ну, вставай же! – добавил я нетерпеливо несколько раз. Она тихо застонала. Заспанная и недовольная, она немного приоткрыла глаза.

- Теперь вставай и помоги мне. А потом ты можешь продолжать спать, так долго, как хочешь.

- А что же мне делать? – едва понятно спросила она.

- Заменить мне повязку.

- Но я же делала это, как раз сегодня вечером, и очень тщательно.

- Как раз нет! Вот в чем дело. Мне... Что-то трет рану. Ну, давай уже, вставай!

Теперь она безмолвно повиновалась. Только улыбка, которая всегда должна была ободрять меня при смене перевязки, отсутствовала. Она положила в сторону мой накиннутый пиджак, и так как я уже расстегнул рубашку, я снял ее. Она еще долго не могла по-настоящему проснуться, и поэтому прошло довольно много времени, пока она не нашла конец бинта и причинила мне из-за этого сильную боль.

- Теперь немного поторопись!

Развернутая повязка также на этот раз выпадала у нее из пальцев, но теперь я не проронил ни слова об этом. Случайно моя левая рука задела ее щеку. Она была влажной.

- Но ты же не плачешь?

- Н-нет! – Она всхлипнула.

- Почему же ты плакала?

- Потому что ты оставляешь меня в одиночестве каждый вечер, и тогда я всегда боюсь.

Она откинулась немного назад на подушки.

В то же самое мгновение я почти одновременно сорвал оба широких ремня на груди, проволочный треугольник опустился, и я вынул мою слабую руку.

Внезапная боль была так сильна, что я потерял сознание. Только лишь отдаленно полный ужаса крик девочки проник в мое ухо...

Когда я позже пришел в себя, я увидел, что лежу на полу, накрытый пиджаком, опора для руки рядом со мной. Кровать Наташи была пуста. В примыкающей комнате еще горел свет. Мой крик затих. Собрав всю силу воли, я поднялся и сел.

Только несколько позже послышались поспешные шаги, поднимавшиеся по лестнице. Дверь распахнулась: доктор Гюи и Наташа стояли передо мной. У нее поверх ее пижамы была ее кошачья шубка, и она была вся в снегу. Врач набросил на плечи пальто. В его взгляде лежал несомненный упрек. Наташа сидела на полу и шептала: «Что ты сделал! Зачем?»

Я находил слова извинения и попросил у врача болеутоляющую инъекцию. На его вопрос, не хочу ли я снова положить правую руку в проволочный каркас, я ответил решительным отказом. Доктор Гюи отнесся к этому с пониманием. Он помог мне встать, привел меня в кровать, погладил, утешая, Наташу по волосам, и ушел.

Я протянул руку к ней.

Внезапно она стала на колени рядом со мной, положив голову мне на грудь. В ее глазах я увидел свое отражение. – Прости мне всякое злое слово... Душенька...!

- Что ты говоришь... ради Бога!

Сильный наркотик уже парализовал мое мышление.

Я чувствовал только лишь детские губы на моих губах, ощущал, как девочка схватила руками мою голову, прижала ее к себе и плакала.

Я чувствовал себя освобожденным от любой тяжести и был счастлив.

III

События последующих дней следовали друг за другом с удивительной быстротой. Однажды утром с оглушительным шумом моя дверь на веранду захлопнулась, так что из-за сильного сквозняка занавес развевался как знамя. Самый яркий солнечный свет упал мне на лицо с темно-синего неба. Но едва я ощутил все это, как услышал грохот бьющейся посуды на кухне. Судя по звуку, посуды там разбилось огромное количество. Я ждал.

Наташа пришла с пунцовой головой и опущенным взглядом. Она боролась со слезами и пыхла в поистине редких вариациях.

- Осталась у нас, по крайней мере, хотя бы одна чашка?

- Ни одной больше нет, дядя Федя, – отвечала она протяжным плаксивым голосом. – Прости мне мою неуклюжесть! Но я вовсе не знаю, как это происходит, что все падает из моих глупых рук.

При этом она немного склонилась вперед, как делают люди, которые хотят подчеркнуть важность своих слов.

- Что же нам теперь делать? У нас еще есть стакан для воды в ванной. Ты получишь его, а я буду черпать кофе ложкой из суповой тарелки.

- Ах, деточка! О чем снова были твои мысли? Точно не о работе!

- Я думала о тебе. Вечером, я почти заснула, тут ты пришел ко мне, я это знаю точно, и говорил совсем тихо, что ты скоро снимешь твой треугольник для руки, чтобы смочь передвигаться лучше, так как ты должен работать и зарабатывать деньги. Потом я задремала, хотя я очень сильно старалась не заснуть. Я не должна была бы повиноваться тебе в любом случае, но я еще была такой заspanной.

Она огорченно покачала головой и села на край кровати. – При этом у нас так мало денег!

- Мало, ты говоришь? У нас их совсем нет.

- Я тоже подумала об этом, но посуда была уже испорчена.

- Но виновны в твоей вине я сам, моя рука и наша бедность»

- Я не понимаю. Объясни мне, дядя Федя.

Позвонили в дверь. Пришел доктор Гюи, которому Наташа сразу сообщила все.

- Как вы думаете, что нам теперь делать, месье?

- Оля-ля! Твои слова бурлят как сельтерская вода! Вероятно, я как врач смогу справиться также с этим злом. Ну, теперь пойдём со мной.

Пока я занимался туалетом, я беспрерывно двигал моей правой рукой.

Вскоре после этого входная дверь с треском закрылась. Наташа вернулась домой, и в кухне уже снова звенел ее по-детски веселый голос. Она благодарила кого-то за доставку и давала кому-то чаевые. При этом она совершенно фальшиво пела какой-то шлягер. Когда я позже пришел к столу для завтрака, он

был заставлен новой посудой из фаянса. В середине даже красовался маленький букетик цветов.

- Вот видишь, битая посуда приносит счастье!

При этом она вперемешку произносила русские, немецкие и французские слова.

- Папаша Дюкоммен! Проворно как эльф и ничем больше не обремененная, она поспешила навстречу ему и рассказала о посуде и о докторе Гюи.

- О, моя малышка, только принимайте все, sans discussion!

Пока она несла поднос с завтраком, меня попеременно бросало то в жар, то в холод, пока, наконец, все не стояло на столе. Я пошел в кухню, чтобы взять себе еще одну тарелку. Она, естественно, не смела осколки, и я со своей тарелкой споткнулся о них, так что и она тоже разбилась на кусочки. Наташа уже стояла рядом со мной, сначала испуганная, потом выжидающая. Наконец, она засмеялась.

- Ах, оставь это все, дядя Федя! Это же не имеет значения! Я скоро куплю тебе новую и красивую посуду. Только что Коко рассказал мне через окно, что «Молитва» Лермонтова понравилась организатору, и я могла бы декламировать это стихотворение на детском празднике. Я ведь получу за это деньги. Я подарю их тебе. Разве ты забыл, что я обещала тебе? Я подарю тебе все, все, что я зарабатую, и я очень кратко напишу мамочке, чтобы она послала мне мои валенки и овечью шубку; в них я буду читать стихотворение.

В ответ я только молчал. Утреннее солнце сияло над нашим столом. У малышки был невероятный голод. Счастливая и беззаботная, маленькая болтушка шла рядом со мной, когда в дверь позвонили.

- Что, месье, вы принесли нам деньги? Тогда мы вам очень рады! – закричала Наташа и впустила почтальона. У него было два перевода для меня, пятьсот франков, которые послали мне друзья.

У пожилого почтальона определенно сложилось впечатление, что он имеет дело не с нормальным человеком или, по меньшей мере, с неграмотным, так как сначала он попросил мой паспорт. Вероятно, по той же самой причине он даже не обратил внимания на пододвинутые ему чаевые на столе, и пока я собирался с мыслями, он уже снова исчез.

Наташа заваливала меня теми детскими нежностями, которыми может одарить девочка. Только потом мы рассматривали, близко сидя вместе, большие синие швейцарские купюры и складывали их не без уважения.

- Только никому не рассказывай об этом, дядя Федя! Как глупо и опасно, что мы не попросили почтальона, чтобы он молчал об этом. Мы сразу же спрячем все деньги, там, где их никто не подумает искать.

Девочка была очень взволнована.

- Ты даже не предполагаешь, насколько плохи бывают люди, если они чуют деньги. Мы уже видели это в Петербурге после революции.

- Это правильно, но мы на Западе, к тому же еще в Швейцарии. Лучше скажи мне, что я могу тебе купить, чтобы доставить тебе радость?»

- Ничего, – сразу ответила она. – Самое большее – домик для птиц. И, только если можно... большой кусок мяса, чтобы так хорошо наесться! Пожалуйста, дядя Федя! А в остальном, у меня есть все, только разве что не такое красивое и новое, как у других. Поэтому..., – она приблизила свой рот к моему уху и смущенно зашептала: – здесь... я ничего не краду. Но в Петербурге я часто делала это. Мы голодали. Я попрошайничала очень настойчиво и всегда пыталась плакать, когда мне ничего не давали. Нас было много детей в очень старой одежде, и один учился от другого. Но большие мальчишки объединялись в банду, нападали даже на взрослых людей. Их называли беспризорниками. И знаешь, дядя Федя, я гораздо лучше справлялась с нищенством и притворством, чем со школой.

- Но, все же, душенька, ты же теперь больше не делаешь ничего в таком роде!

Она покачала головой.

- И у тебя уже больше нет такого желания, не так ли?

- Желание есть! Притворяться, играть как актеры, это мне так сильно нравилось, но... ты знаешь, для меня не очень важно, есть ли у меня то или другое. Я не такая, как другие дети, которые хотят иметь все. Должна ли я теперь убрать со стола? Только седи и береги свою руку. Я постараюсь, чтобы у меня ничего не упало, и когда я с сестрой все помою, можно мне пойти к детям на каток?

Ее рассказ не выходил у меня из головы, и я внимательно следил за ее грациозными движениями, которые я заметил еще тогда в снимаемой почасово ком-

нате. Я снова подумал о ее пропавшем отце, который, вероятно, передал по наследству ей свое искусство.

Это был вечер, и так как мы купили прекрасный птичий домик и дважды беспрепятственно отдали должное мясу, мы были в наилучшем настроении. Я решил обсудить с Наташей кое-что важное.

- Как ты думаешь, мы теперь смогли бы обходиться без сестры?

- Да, дядя Федя, да! Ты это серьезно? Я буду делать для тебя и хозяйства все; даже мыть пол, ежедневно, как набожная сестра!

- И дальше разбивать посуду. С таким множеством обломков мы должны были бы быть прямо-таки невероятно счастливыми!

- Я обещаю тебе...

Наташа звонким, веселым голосом перечисляла все, что она делала бы; я должен был бы только лишь готовить.

Сестра Тереза приняла также прощание с нами бесстрастно, не поднимая взгляд. Она исполняла свою работу вплоть до привычного часа. С прекрасным благословением она ушла от нас. От предназначенного для нее подарка она отказалась.

- Дядя Федя, дорогой! Теперь мы, наконец, совсем одни!

Наташа была так счастлива, что сразу спросила меня о работе, которую она тут же хотела бы выполнять.

Необходимость исполнять маленькие работы по дому блестяще помогало мне. При каждом случае я пытался пользоваться моей правой рукой, и я замечал, что она могла хватать и держать все увереннее. Уже первые написанные правой рукой письма полетели домой. Мой отец отвечал немедленно, и так как профессор Роллье и доктор Гюи тоже сообщали ему о моих быстрых успехах, я замечал между строк, что он оценивал наше общее будущее со скромной уверенностью.

Наташа, казалось, полностью изменилась: она очень старалась в учебе. Даже ее стихотворения, которые она хотела прочесть на детском вечере, она знала наизусть, и, наверное, могла прочесть их даже во сне. Но этот неожиданный поворот не казался мне таким уж подлинным. Я связывал его теперь с новым отказом госпожи Андреевой и с выводом профессора Роллье, который считал

мое более длительное пребывание в Лезене целесообразным. Когда Наташа услышала об этом, она очень «огорченно» покачала головой.

Под воздействием неясных, мрачных предчувствий, я написал письмо господину Нойманну. Только несколько позже от него пришел ответ, который обеспокоил меня еще больше: все, что маленькая женщина до сих пор писала нам, было ложью. У нее не было работы, она выглядела угрюмой и, кажется, была в полном отчаянии.

Я собрался с силами и написал ей длинное, доброе письмо, сделав ей конкретные, но ложные предложения об очень интересной работе в дружественной фирме, просил ее еще немного подождать, набраться терпения, сохранить уверенность, и, особенно, доверие по отношению к самой себе.

Внезапно раскрывается дверь.

Наташа в длинной ночной сорочке стоит на пороге. Ее волосы растрепаны. Взгляд сверкает. Она дрожит.

- Мамочка умерла...!

Она подбегает ко мне и держится за меня.

- Она очень громко позвала меня...!

Стенание с силой вырывается из ее груди. Она плачет, всхлипывает. – Я боюсь... Я так сильно боюсь... ночи, темноты, солдат, которые придут, чтобы забрать меня! Ведь я же не сделала ничего плохого! И мой папа тоже ничего плохого не сделал! Мама, моя бедная мама! Я должна идти к ней!... Но как, как?

- Успокойся, моя малышка, только успокойся. Это был просто сон. Никто не заберет тебя. Ты в Швейцарии. Не плачь, деточка. Я с тобой.

- Останься со мной, дядя Федя, дорогой! Не уходи! Я так боюсь... даже когда я сплю!

- Я останусь с тобой. Я останусь, – шепчу я взволнованно, и воспоминания о пережитом мной самим, мои собственные кошмары, снова тревожно возникают в моей голове.

Я накрываю Наташу. Она обеими руками держит мои пальцы, и я замечаю, как она дрожит от холода, как будто у нее снова жар, взгляд ее черных, кажущихся зловещими глаз вопросительно смотрит на меня.

Так я сидел, склонившись, довольно долго на краю ее кровати. Веки ребенка постепенно закрывались от усталости, но, все же, я видел ее дрожание, беспокойство преисполненного страха человека, которому никто не мог помочь в беде, так как все слова утешения безжалостно развеивались, никогда не достигали цели.

На следующий день еще до обеда пришли две телеграммы и одно более длинное письмо-телеграмма. Сразу в общей комнате нашего домовладельца я открыл их и застыл от страха. Их отправил господин Нойманн:

«Жду вашего немедленного отъезда. Госпожа Андреева сегодня в полночь тяжело пострадала в результате несчастного случая». Другая телеграмма звучала так: «Госпожа Андреева сегодня умерла. Я в полном отчаянии».

Письмо-телеграмма описывало довольно бессвязно, так как свидетельские показания были противоречивы, ее несчастный случай и смерть. Она пришла в метро, хотела вскочить, по-видимому, в уже отъезжающий поезд, и так как она не могла достаточно уверенно держаться своими изувеченными руками, она упала под вагон и была задавлена. Только дежурный по станции верил в преднамеренное самоубийство.

Он только лишь просил меня, чтобы я передал Наташе, бедной сироте, это известие как можно более осторожно, и обещал, что всегда будет заботиться о ней, как о собственном ребенке.

Значит, это был, все же, последний призыв матери, который сегодня ночью достиг ее ребенка.

- Задумался, дядя Федя? – детский голос зазвучал очень близко сбоку от меня. Я испугался, неспособный что-то сказать, что-то подумать, быстро спрятать телеграммы в карман.

– Что там у тебя, дорогой?

Она нежно погладила мои волосы. Я еще знаю, как я содрогнулся при этом соприкосновении, от боли за этого ребенка.

- Я жду и жду тебя, а ты не приходишь. Ну, пошли уже! Возьми с собой также эту дурацкую почту. Школьные задания, наверное, прислали? У нас наверху так уютно тепло.

- Милая, моя милая...

Я утратил контроль над самим собой, прижал к себе хилого ребенка и заплакал. Все горе и все беды мира были в моем плаче. Я плакал из-за горя, которое я должен был причинить ей, и из-за того, что я снова был слишком слаб, как когда-то в Сибири, чтобы моими слабыми силами изменить так называемую мудрость провидения.

- Плохо? – осторожно спросила она. Я кивнул.

- Очень плохо?

Я снова кивнул. Я не мог говорить.

- Кто-то умер?

- Да! – ответил я неожиданно громко, но также и только одно это слово, так как я знал, что мне нужно было выкрикнуть и второе слово.

Она все еще гладила меня по волосам. Внезапно я почувствовал, как трясутся ее руки, как замедлялись их движения, как они остановились, потом высоко подняли мою голову. В ее взгляде стоял боязливый вопрос:

- Мамочка? – спросила она едва слышно.

Как молния прилетела мысль: – Нет... Душенька... Нет! – громко ответил я. Я защищался от себя самого. – Только... один мой боевой товарищ, друг.

Дюкоммен как раз открыл дверь, шелестел тонкой упаковочной бумагой и любезно улыбался нам. Но его взгляд сразу заметил открытые телеграммы, нас обоих, меня.

- Простите, пожалуйста, – пробормотал он и сразу вышел. – Нет, папаша Дюкоммен, пожалуйста, останьтесь, – крикнула ему девочка. – Мы поднимаемся вверх. Мы получили очень, очень печальное сообщение. Боевой товарищ дяди Феди умер. Ну, пойдём, – повернулась она ко мне. – Я буду вести тебя, бедняжка. У тебя тоже нет ничего, кроме печали, и снова и снова одной лишь печали, мой дорогой.

Она поддерживала меня так же, как тогда, когда мы познакомились. Дюкоммен понял меня без слов. Спешно он пошел впереди нас, коснулся моей согнутой спины, открыл входную дверь в нашу квартиру, и закрыл ее за нами. Я симулировал неожиданную, свинцовую усталость, сел за стол, подпер голову левой рукой и закрыл глаза.

Наташа заваривала чай, и когда пришел Коко с обязательными булочками, они только шепотом обменялись несколькими словами друг с другом. – Теперь ты должен уйти, Коко. Дядя Федя получил извещение о смерти. Я тоже должна сидеть тихо и молчать, так как он очень, очень печален, бедняжка.

Потом она принесла мне стакан чая и пододвинула мне весь свой сахар и все булочки.

- Чем же я могу доставить тебе радость?

Я ел и пил, и я ел много и очень медленно, чтобы не говорить с нею.

Мы включили в «Отче наш», как обычно, только ее пропавшего отца.

Еще тем же вечером я написал письмо Нойманну. Я сообщил ему, что я утаил от Наташи смерть госпожи Андреевой. Однако я очень просил его, чтобы он в своем личном рукописном письме сообщил ребенку, что она уехала, чтобы найти своего мужа и вернуться с ним в Германию. В настоящий момент я не знал другого выхода. Я прочитал письмо пару раз, но я все равно едва понимал его смысл. При этом оно было таким однозначным, таким жестоким, какой может быть только голая правда.

Я пришел к Наташе и прислушался. Она спала очень крепко, у щеки ее любимая Акулина. Потом я прокрался наружу. Деревянная лестница закричала.

У входной двери стоял господин Дюкоммен. В маленьком свете его спички, по тому, как он зажег свою черную, тонкую сигару «Brisago» от соломинки, я заметил, насколько он был потрясен моим рассказом.

- Боже мой! Боже мой! Бедный, бедный ребенок. Но это правильно, что вы утаили это от Наташи. Ведь правда была бы...

Я отнес письма на почту.

Но у меня больше не было мужества пойти домой.

Далекий кружной путь, без смысла и цели, привел меня к нашему ручью. Было холодно, и над водой лежала плотная фосфоресцирующая в полнолунии пелена тумана. Из далекой дали еще светились покрытые ледяным панцирем горы в кажущейся невероятной высоте. Медленно я разорвал три телеграммы, бросил обрывки в едва заметные, крохотные волны, видел, как они, весело пританцовывая, уплывали прочь, и потом были накрыты бережной пеленой тумана.

Я стоял совершенно потерянным.

И я чувствовал постоянную иронию судьбы над всей нашей жизнью и чувствами.

Только смерть – это наша свобода!

Как вор я прокрался назад в дом, в страхе, что у Наташи снова мог быть кошмарный сон, из долга не оставляя ее при этом одну.

Но она спала так же крепко, как тогда, когда я покинул ее.

Я присел к ней, как во время ее болезни, и долго рассматривал ее лицо, отдавшееся во власть беспечного сна.

Что теперь?

Но что бы я ни думал, я всегда возвращался к самому себе, снова и снова, последовательно, с трезвым размышлением мужчины.

Но что же мне делать с ребенком? Я ведь не мог, все же, навсегда оставить ее со мной, заботиться о ней, жить с ней, потому что со мной самим еще все было совершенно неясно.

Я вспомнил слова девочки, которые она сказала мне несколько дней назад с полной серьезностью, что я всегда буду ей нужен.

Наконец, я принял решение. Я хотел сначала привезти Наташу к моим родителям, так как у моей матери были очень хорошие педагогические задатки, так что ребенок воспитывался бы там лучше всего. К этому добавилась бы и сердечность моего отца. А потом... потом Наташа тоже нашла бы свою дорогу в жизни, как мы все кое-как ее находим.

Но с этого вечера у меня были совсем другие чувства по отношению к Наташе. Я видел в ней сироту, у которого был один только я, и я испытывал к ней сострадание маленького человека к себе подобному, как бы к крохотной искре, которая без другого могла бы так легко и быстро погаснуть. Я стоял на коленях перед ее старой, жесткой кроватью и касался губами ее руки. Я прятал свое лицо в ее одеяле, от себя самого, ради всех нас, которые в холодном, безжалостном безразличии бесконечности казались такими же мучительно и безвыходно потерянными...

Вскоре после этого почта принесла для Наташи две большие посылки с одеждой, ботинками и лакомствами от швейцарских клиентов моего отца. К посылкам были приложены письма. Они особенно радовали меня, в то время как Наташа почти безразлично осматривала содержимое посылок и размещала его в шкафах.

- Неужели ты не рада таким прекрасным вещам? Или они тебе не нравятся? – спросил я, немного разочарованно.

- Ты сердишься на меня, если я не радуюсь этому? Ты же знаешь, для меня это не очень важно.

- Ты неблагодарна! Добрые люди, которые вовсе не знают тебя, хотят доставить тебе радость, и ты так просто все это принимаешь.

- Пожалуйста, прошу тебя, не ругайся!

- Ты должна сердечно поблагодарить за это!

- Ах, писать, и снова и снова писать.

Она засопела и подошла ко мне.

- Да, а к чему у тебя вообще есть желание? Ты сама знаешь?

- Еще как знаю, дядя Федя, – воскликнула она громко и искренне. – Быть с тобой, говорить с тобой, мне всегда хочется этого!

- Чтобы что-то делать со мной?

- Просто так, быть с тобой, держать тебя за руку, смотреть на тебя. И почему бы мне, как ты пару раз говорил, не прилипнуть к тебе?

– Потому что у каждого из нас, будь то большой или маленький, есть долг работать, заниматься чем-то полезным и не красть день у Господа Бога.

- Но это же не заповедь? Или?

- Нет, нет, не заповедь, но этот долг чувствует даже самый маленький ребенок, когда он, по крайней мере, играет и потом самостоятельно ходит в школу, затем учится, работает, зарабатывает деньги.

Она вновь поворачивала мой большой палец туда-сюда и, кажется, размышляла.

- Но я счастлива только с тобой. Или я не должна быть счастливой? Или мне это не разрешено?

Она победила, и все же я не капитулировал. – Ты окажешь мне одну услугу, Наташа?

- Ты еще спрашиваешь? Конечно!

- Тогда напиши, как минимум, одно единственное письмо. Послесловие допишу я сам, иначе мне будет стыдно, что нас так богато одарили!

- Хорошо, но у тебя, пожалуйста! Ведь я могу написать только очень кратко: Самые лучшие пожелания и очень большое спасибо за многие прекрасные вещи, которые мне действительно очень, очень понравились. Это очень любезно с вашей стороны. И это пишут с восклицательным знаком. Я уже наизусть знаю это.

- А если ты заработаешь деньги за твои танцы и чтение стихов на детском вечере, ты будешь тогда рада купить себе что-то за это, что-то, что обрадовало бы тебя? Ты ведь работала для этого, училась.

- Я не знаю. Ты тогда уже сам скажешь мне, что я должна купить.

- Ну, тогда пиши! Только не делай опять кляксы!

Когда мы однажды вернулись домой с нашей прогулки, ожидаемое мною письмо уже пришло. Наташа не разгадала подлог и сразу раскрыла конверт. Я чувствовал, что мое сердце бьется быстрее, что уже давно не случалось.

Взгляд ребенка потемнел. Она прочитала письмо еще раз и очень медленно и дала его мне.

- На! Тем не менее, мамочка не пишет, когда она вернется домой с нашим папой. Эта поездка... она очень небезопасна. Поэтому она также не указывает адрес. Поезда там обычно опаздывают сразу на несколько дней. Она часто говорила мне: «Деточка, если папа не приедет скоро, я утоплюсь от скорби и тоски по нему». Они оба очень любили друг друга, знаешь, дядя Федя.

- Да, дитя мое, твоя мамочка и мне говорила об этом.

- Но как только они вернуться, тогда ты будешь жить у нас, и мы будем очень добры к тебе. Ведь ты бедняжка! Как ты сможешь работать только одной рукой, как зарабатывать деньги? При этом ты так часто и так серьезно говоришь об этом.

- Тогда я – твой второй папа!

Она покачала головой и слегка улыбнулась.

- Почему нет?

- Я люблю тебя немного иначе, чем моего папу, как... ну, как родной дом. Поэтому я также так люблю быть с тобой, ты знаешь.

- Ах, это тебе только так кажется!

- Нет, я точно знаю!

Я больше ничего не отвечал ей, я читал письмо слово в слово, и при этом мне сжимало горло. Ведь когда-то мне все равно придется сказать Наташе правду, думал я. Это будет неизбежно, я должен буду это сделать.

Нет! Маленькая госпожа Андреева останется пропавшей, как много моих товарищей, чтобы они продолжали жить в нашем сердце такими, какими они были, какими они ушли от нас, незабываемые и неуязвимые для смерти.

- Но что будет, если они оба... вернуться не так скоро?

Наташа все еще стояла передо мной и робко спрашивала.

Этот ребенок ставил меня в тупик.

- Тогда я точно до тех пор останусь с тобой, дядя Федя, совсем просто. Да и что мне делать где-нибудь без тебя?

Она сама дала мне ответ.

И каким естественным этот ответ был!

- Да... если только наши дела как-нибудь пойдут.

- А ты думаешь, что наши дела как-нибудь пойдут?

- Я тебе обещаю!

Только с запинкой мне удалась эта милосердная ложь.

- Я благодарю тебя, мой дорогой! Она наклонила мою голову к себе и поцеловала меня.

- Я охотно останусь у тебя, даже если у тебя так мало денег.

Детский праздник в Лезене был уже совсем близок, но у Наташи было что-то большее, чем затишье перед бурей. У нее просто не было желания идти туда, и она больше не доверяла себе, хотя ее имя уже стояло в программе. Я уже думал, что моя изнурительная работа заставить ее заучить наизусть три стихотворения на разных языках и выучить два танца, быстро пошла насмарку, и я был на себя очень сердит из-за этого, тем более, что я рассчитывал на ее большой успех.

Но за два дня до представления она с раскаянием объявила мне, что она все-таки хотела бы танцевать и прочитать свои стихотворения.

Мы снова начали с «репетиций», и я, поистине, не экономил на «угрозах и комплиментах», чтобы укрепить ее решение. Мне было ясно, что я не мог терять терпения также в этом случае, ибо как раз после смерти госпожи Андреевой я был обязан выманить Наташу из ее летаргии, чтобы узнать, был ли у нее какой-нибудь талант, который, вероятно, мог бы послужить ей в дальнейшей жизни.

Старый учитель игры на фортепьяно, у которого было сомнительное удовольствие аккомпанировать Наташе на репетициях, теперь окончательно смирился и только лишь автоматически всегда играл те же два танца.

Наш дорогой Коко, уже сейчас охваченный волнением перед выступлением из-за своего дебюта, задавал мне не допускающие однозначного ответа вопросы: – Да, и тогда самое главное, месье, я должен выбрать себе красивый, звучный псевдоним на будущее!

- Boulanger! – заметил я. – Легко запоминается.

(«Буланже» – по-французски «пекарь». – прим. перев.)

- Нет, больше никаких пекарей! А разве не красиво: «Belle Etoile», «прекрасная звезда»?

- Но, Коко, ты же не можешь так говорить о самом себе! – горячилась Наташа.

- Теперь, естественно, уже нет. Имя «Буланже» уже напечатано в программке, но позже.

Он втайне попросил постирать и тщательно выгладить свой новый профессиональный костюм, который мы вместе с его белыми бальными туфлями хранили в нашем шкафу. Наконец, мы со всеми необходимыми для искусства реквизитами отправились на большой праздник. Дети не отступали от меня, как будто я был старым опытным специалистом, которого уже не могли бы потрясти даже самые затруднительные ситуации на сцене. Наш парикмахер, хилый, хитрый человек, известный под прозвищем «Ежедневная газета», немного загримировал обоих. Обычная нервозность за сценой охватила также нас, и мы тогда, полные надежды, смотрели сквозь отверстие в занавесе.

Зал был ярко освещен, кровати больных детей и взрослых плотно стояли рядом друг с другом. Сестры шли от одного ряда к другому и тут и там приводили в порядок пеструю ленточку для волос, пробор у мальчика, поправляли подушку и оставались дольше у тех, кто, направив взгляд на занавес, лежали неподвижные и бледные. Впереди и по бокам были установлены только несколько рядов стульев. Там сидели пациенты, которые могли ходить.

Потом занавес поднялся.

Зрительный зал лежал в полумраке. Выступала девочка на костылях. На ней было дорогое платье, украшение и лакированные туфли. Упрямо она отбрасывала назад темную голову и начала уверенным, холодным голосом читать знаменитое стихотворение Альфреда де Мюссе «Осень», не запнувшись ни разу. Она получила аплодисменты, естественно. Больше всего ей хлопали родные девочки.

Теперь выкатили кровать на колесиках. На ней лежал белокурый, нежный мальчик, который с помощью его матери поднялся на локоть. Она села на край, поддерживала его и улыбалась ободряющее.

Сначала малыш засунул указательный палец глубоко в рот и сделал при этом странное лицо, вынул его, поднял его, как будто хотел с его помощью определить направление ветра. Уже дети и он сам смеялись вместе с другими. То же самое и еще щедрее сделал он также с другим указательным пальцем, качался с обоими как туда-сюда пританцовывающий китаец, снова засунул их в рот и зашвистел, звонко, глухо, громко и совсем тихо. Уже формировалась мелодия со-

временного шлягера, с которой он справлялся с удивительной уверенностью. Несколько звонких свистков окончили ее.

Одобрение было большим, и осчастливленного мальчика не нужно было долго просить весело продолжать концерт. Но при новых аплодисментах он вдруг упал назад в подушки, направив наполненный болью взгляд на свою мать. Она вместе с сестрой тут же были рядом с ним. Несчастливого ребенка укатали со сцены.

Стихотворения и проза, маленькие песенные номера и детские танцы сменяли друг друга, исполненные иногда с юмором и уверенностью, иногда с большим смущением.

Теперь наступил черед нашего Коко. – Я так волнуюсь, месье. Что будет? Лучше бы я пошел домой.

- Ты ни в коем случае не можешь так поступить, Коко! Соберись с силами! – ответила Наташа сердито. – Ты всегда должен представлять себе, что ты совсем один в своей комнате, а не на сцене. Я знаю это от моего папы.

Тут занавес поднялся, но наш Коко снова смотрел на нас. Я жестами и гримасами, которые должны были выглядеть комичными, пробовал приободрить его и тихо насвистывал его мелодию, пока Наташа шептала ему: – Давай уже! Люди ждут!

Внезапно Коко приложил ложку для теста ко рту как флейту, и тихо начал насвистывать свою маленькую, задорную мелодию. Он сделал несколько па, отбил чечетку очень короткое время, подскакивал по сцене и осуществлял поистине смелые прыжки, которые сразу вызывали аплодисменты. Теперь мальчик был в своей стихии. Он громко свистел и отбивал чечетку в увлекательном темпе, прыгал как мяч в разные стороны, делал кувырки и сделал целый ряд безупречных колес, пока он с резким свистом не окончил танец настоящим шпагатом.

Осчастливленный громкими аплодисментами, он хотел только лишь близости человека, которого он должен был обнять. В этом случае я оказался таким человеком, который, к тому же, еще мог понять его. Он обнял меня, и я заметил, каким взволнованным он был, как сильно билось его сердце.

- Коко! Мой дорогой Коко, ты, все же, храбрый парень!

Я провел рукой по его растрепанным волосам, по вспотевшему лбу, по когда-то белоснежному, теперь грязному костюму пекаря.

- Месье! Это правда? Это правда?

Он сиял.

- Послушай же, мой мальчик, все зовут тебя: «Буланже!»

- Да! Действительно!

Он медленно прошел до рампы и смущенно поклонился. Потом он станцевал еще раз, не испытывая затруднений, но на этот раз, как мне показалось, уже за пределами своих сил, так как теперь он, шатаясь, подошел ко мне и тяжело прислонился ко мне.

Наконец, концертный рояль немного выдвинули на передний план. Явно взволнованный пианист в отглаженном фраке сел на вращающийся стул и попытался улыбнуться Наташе горько-сладкой улыбкой.

- Я не могу! Я не могу, дядя Федя! Давай пойдем домой, иначе произойдет беда. Я это точно чувствую...

Тут раздвинулся занавес. Я подарил Наташе быстрый поцелуй, слегка хлопнул ее, и вот она уже легко и окрылено добежала до середины сцены, встала на цыпочки, немного склонила голову в сторону, и ждала начала музыки.

Нежная девичья фигурка танцевала грациозно и привлекательно. Счастливая и сконфуженная аплодисментами, она сразу оглядывалась на меня. Я сиял.

Наташа танцевала еще раз, и на этот раз не обращая внимания на множество взглядов, которые были направлены на нее. Но потом она полетела навстречу мне и очень крепко прижалась ко мне. Рот ее был открыт. Ее сердце неистовство билось на моей груди. – Пойдем, пойдем быстрее!

Я вывел ее на сцену, и она кланялась, снова и снова благодарила; абсолютно изменившийся ребенок. Потом она побежала к учителю игры на фортепьяно, который как раз вытирал себе со лба пот, и потащила его до рампы. Но старик производил такое впечатление, как будто бы он предпочел бы провалиться под доски, чем принять участие в успехе.

За сценой я пытался быстро накинуть ей на обнаженные плечи русскую меховую шубку, но она упрямо защищалась от нее.

- Ты же очень горячая! Тебе нужно залезть в шубку! Здесь ведь дует из всех углов и щелей!

- Нет, я не хочу. Пожалуйста, оставь меня!

- Ты можешь простудиться, еще раз заболеть!

- Ах, чепуха, чепуха.

- Если ты теперь не слушаешься, ты сможешь рассказывать твои стихотворения только в одиночку.

Однако она не повиновалась, и тут мое терпение лопнуло.

- Надень шубку, иначе... мне все равно, что подумают обо мне люди!

Предостерегающий тон в моем голосе нельзя было не услышать. Она повиновалась, но начала плакать, прислонив голову к моей груди.

- Но я горжусь тобой, моя чернушка, непослушный ребенок! Наши усилия были не зря!

- Правда, дядя Федя? Ах, если бы, все же, моя мамочка могла увидеть это! Она была бы так же счастлива и взволнована, как я. Но сначала мой папа! Это он научил меня этому танцу. При этом он однажды даже ударил меня. Я хотела и не хотела слушаться. Как и с тобой!

Я обнял ее.

- Теперь пообещай мне, что ты будешь сразу тепло одеваться после каждого выступления, но особенно тогда, когда меня нет рядом? Ты слышишь? – убедительно добавил я и встряхнул ее, чтобы подчеркнуть значение моих слов.

- Да, я обещаю это тебе. Но почему ты так упорно и зло настаиваешь на этом?

- Потому что так должно быть! Потому что ты не...

Я сразу остановился. Но она уже поняла меня, потому что она поцеловала меня.

– Прости меня! Я и не подумала об этом. Только ты!

Спустя короткое время Наташа должна была выступать в последнем номере, но ее уверенность вдруг как корова языком слизала. Как упрямый осёл, она отказывалась выходить на сцену.

- Мы пойдем, держась за руки, как ты хотела.

Я привел ее к занавесу, который внезапно раскрылся, и теперь мы стояли в фокусе полных надежды взглядов. Прошло несколько неловких секунд. Но потом я прошептал Наташе первые слова стихотворения. Над нами смеялись. Неожиданно прозвучали аплодисменты. Я быстро отошел назад. Валенки позволяли Наташе сделать только неловкий книксен. Она еще сильнее закуталась в овечий тулупчик, чем если бы она замерзла, и произнесла громким, уверенным голосом: – Стихотворение Лермонтова «Молитва».

Она перенесла это благополучно. Но аплодисменты сразу приободрили ее. – Что мне теперь читать? – прошептала она и оглянулась на меня.

- Читай «Молитву» на русском языке, – сразу ответил я.

- Но не всю же!

- Конечно!

- Тогда подойди, пожалуйста, поближе... Еще чуть-чуть.

- «Молитва», – произнесла она на своем благозвучном родном языке и добавила по-французски: – На русском языке, моем родном языке!

- Bravo, bravo! – раздался голос из первых рядов.

– Но я сначала должна прочесть стихотворение, а уже только потом вы можете кричать «браво, bravo!», – сразу ответила Наташа. Весь зал засмеялся.

Господин, который прокричал эти слова с русским акцентом, привлек мое внимание своей узкой головой, белоснежными волосами и аскетическими чертами лица. Он сидел, опираясь на трость, и теперь улыбался ребенку.

- Позже я с удовольствием закричу «браво» еще раз». Он сказал это на русском языке и помахал рукой.

- Положи мне обе руки на плечи. Тогда я буду абсолютно уверена!

Я повиновался. Бормотанье и волна симпатии пронесли по зрительному залу.

Ясным, сильным голосом, о котором я до сих пор не догадывался у Наташи, и с тем настоящим благоговением, с которым она всегда читала «Отче наш», она прочла стихотворение, и когда снова последовали аплодисменты, я легко сжал ее плечи. Я был взволнован.

Старый господин дошел до рампы и протянул ей руку: – Я благодарю тебя, дочка! Это было великолепно!

После взгляда украдкой ко мне она начала декламировать свое второе, а потом также и третье стихотворение. Тут уже аплодисменты не хотели заканчиваться, она подошла вплотную к рампе и просто сказала, немного наклонив голову в сторону: – Я больше не могу, но я хочу еще выучить!

В этот момент появился Коко с букетом роз. Он опустился перед Наташей на колени, передал ей цветы, и когда она протянула ему руку, он поцеловал ее неуклюже и с первым усердием влюбленного мальчика, который, пожалуй, с презрением к смерти преодолел свою нерешительность.

- Что ты делаешь, Коко? Этого нельзя делать! Вставай! – произнесла Наташа на открытой сцене в строгом, воспитательном тоне и в то же время смущенно.

Зрители снова смеялись и с удовольствием хлопали.

Занавес закрылся. Внезапно она зашептала мне: – Я так печальна и, все же, счастлива... Почему только? Скажи мне быстро!

- Ведь это же твой первый, большой успех, моя малышка!

Я повел ее в комнату для переодевания. На тисненой визитной карточке, которая была приложена к розам, было написано: «Пожалуйста, посети поскорее старого, одинокого и уже с давних пор больного земляка Морозова» и под ним название известного санатория в Лезене.

- Ах, месье, сегодня я невероятно счастлив! – говорил Коко со сверкающим взглядом. – Я снова и снова мог бы обнять вас как отца!

- Нет, Коко, теперь больше не надо! – сразу ответила Наташа. – Мой дядя Федя такое совсем не любит. Только я могу иногда делать это, потому что я девочка. Но ты ведь мальчик.

Она мягко отодвинула его. – И когда я теперь получу мои деньги за выступление?

Пораженно я поднял глаза вверх. Было ли это реакцией на неожиданный успех?

- Но нам же нужны деньги, дядя Федя! Нам их пообещали. Что с этим, Коко? Мальчик объяснил, что это, пожалуй, действительно было оговорено, но он тоже еще ничего не получил. – А если у организатора нет денег? Папочка достаточно часто рассказывал, как ему приходилось бегать за своим жалованьем. О, дома у нас это были всегда самые волнующие дни.

- Тогда сама походи к организатору и поговори с ним!

- Одна я не осмеливаюсь. Ты пойдешь со мной?

Настойчивость Наташи мне понравилась, и потому мы втроем с ультимативными требованиями и в соответствующем настроении пошли к организатору этого вечера, постучали в его дверь и вошли, пожалуй, тоже с соответствующими выражениями лица. Все же, мы тотчас же были обезоружены. Пожилой мужчина поклонился нам как актер на сцене. – Ах... артисты приходят забрать свое жалованье. Вы мадемуазель Андреева?

Я слегка ударил ее в бок, что она должна говорить.

- Да! – сказала Наташа как в школе.

- Пожалуйста, вот ваши деньги, а вот еще один конверт, для вас. Я поздравляю с успехом! Можем ли мы попросить вас выступить также на следующем вечере?

Я поблагодарил за Наташу, в то время как она сразу дала мне оба конверта и схватилась за мою руку. – А маленького господина зовут?

- Жак Буланже, – ответил наш Коко как примерный ученик.

- Пожалуйста, господин Буланже, вместе с благодарностью за ваше успешное выступление! Вы же тоже будете и дальше участвовать?

- Да! Охотно! – выпалил мальчик. – А когда?

- Мы еще сообщим нашим маленьким артистам.

- Но ни в коем случае не забывайте меня! Я очень охотно танцую!

- Как же я могу забыть об этом, господин Буланже!

С рукопожатием мы попрощались.

- Коко, скажи, сколько денег ты получил? – спросила Наташа сразу же на улице. – Тогда я тоже покажу тебе, что есть у меня в обоих конвертах.

Наш господин Буланже остановился, полез рукой в карман и осторожно достал конверт. Потом он, задумавшись, посмотрел на нее, пару раз погладив его, вытащил, наконец, совсем новый перочинный ножик, которым он как раз и хотел разрезать конверт. Но Наташа опередила его, и конверт мгновенно был открыт. «Господин Буланже» мог пролепетать только лишь: «Оооо!».

- Двадцать франков! Этого достаточно? Это много, дядя Федя, для мальчика, который умеет так хорошо танцевать?

- За это можно купить себе маленькую горку булочек или пару очень хороших горных ботинок с шипами! – ответил Коко, полный гордости, и рассматривал при этом старую купюру, у которой даже отсутствовал один уголок.

- Сколько все же булочек, Коко?

Мальчик думал вслух: – Это тройное правило.

Если наша самая большая булочка стоит 5 сантимов, то я должен сначала превратить мои двадцать франков в сантимы. Это... две тысячи сантимов, – считал он неуверенно и косился на меня.

- Правильно, господин Буланже!

- Ты, похоже, слаб в арифметике? Я тоже, – призналась Наташа.

- Этого не должно быть. В расчете и письме даже нужно быть действительно сильным.

- Ты думаешь? И сколько булочек ты теперь вычислил?

- Две тысячи сантимов поделить на пять сантимов... Это будет... четыре тысячи булочек! – объявил он снова так громко, как будто он был в классе.

- Увы, господин Буланже, но только четыреста. Вы прибавили лишний ноль к результату.

- Да, ты! Мой дядя Федя чудесно считает! Мы не послали в школу ни одного правильного задания!

- Представьте себе, месье, если бы у меня была собственная лавка, и я отдал бы клиенту не четыреста, а целых четыре тысячи булочек!

- Если тебе немного тяжело с этим, Коко, тогда приходи к нам. Мы охотно поможем тебе.

- Да, спасибо, месье! Завтра же вечером!

- Дай мне наши деньги, дядя Федя.

Она быстро раскрыла конверт и взяла оттуда пятьдесят франков.

- У меня больше, – отметила она чисто по-деловому. – А в другом? Сто! М-о-р-о-з-о-в, – бегло прочитала она по буквам приложенную визитку.

С глубоким почтением ученик пекаря рассматривал купюру. – Это тот господин, который подарил тебе розы, русский!

- Сколько мы дадим Коко? Он способствовал нашему заработку. Все артисты делают это, мой папа тоже поступал так. Я это знаю.

Но господин Буланже отказался принять хоть что-то.

Довольно долго мы шли рядом и беседовали о вечере. Маленький, больной мальчик, который свистел двумя пальцами, очень занимал детей, и они решили послать ему шоколад и булочки.

- Но теперь ты пойдешь домой, Коко. Ведь ты завтра должен быть в пекарне уже в пять утра. Чау и большое спасибо!

Она подала ему руку, взяла меня под руку и оттащила меня, едва я успел попрощаться с мальчиком.

- Я хотела бы, чтобы ты теперь говорил только со мной. Ты присядешь ко мне на кровать? Я очень устала.

Она уже засыпала, когда она немного приподнялась. – Моя мамочка еще не писала! Почему нет, дядя Федя? Не нашла ли она еще моего папу? Вот теперь ты видишь, что было бы, если бы у меня не было тебя!

- Только закрой свои глазки.

- Ты скажешь мне сегодня это ласковое слово?

- Милая...!

- И еще другое к нему, когда пришло известие о смерти?

- Моя милая!

- Но так ты можешь говорить только со мной, – сказала она громко.

- У меня нет никого, кому я еще мог бы это сказать.

- Ну, тогда хорошо.

Уже наполовину в царстве снов она пообещала: – Для твоей безобразной лампы... я сошью тебе абажур... за мои деньги.

- Я буду этому очень рад!

- Еще и пуговицы...

Она заснула.

В этот вечер Наташа добилась для себя доступа повсюду. Приходили приглашения больных детей, к этому добавлялись письма, подарки, и мне часто с трудом удавалось оградить ее от этих посещений, из страха, что она могла бы заразиться.

Только после подробной консультации с врачами я сделал свой отбор, но теперь она снова стала пренебрегать учебой. Соперничество с нашим Коко, который, аккуратно одетый и тщательно наглаженный, каждый вечер с трогательным усердием делал свои уроки, вовсе не поощряло закоренелую лентяйку Наташу. Потому я колебался между общением, которое хотела и должна была иметь малышка, обязанностью найти для нее связи, которые могли бы быть полезны в ее последующей жизни, и необходимостью дать ей хотя бы самое необходимое из общего образования.

Я мог записать на свой счет только один успех: Наташа на сцене буквально преображалась. Я подметил в ней одно: она всегда выступала как просящий, брошенный ребенок, как нищенствующая беспризорница. Ее мимика была очень искренней, когда она рассказывала свои печальные стихотворения. Она оставалась апогеем всех молодежных представлений, хотя она, по сути, даже не радовалась по-настоящему ни своим успехам, ни даже часто ценным подаркам. Но она никогда не забывала забирать свое жалованье вместе со мной еще тем же вечером. Потом она отдавала мне свои деньги, даже никогда их не пере-

считывая, и у нее все еще не было мерки для их покупательной способности и для дарения их еще более бедным больным детям. Мне казалось, как будто бы она лишь повиновалась внутреннему голосу, который призывал ее к выполнению своего долга: дарить подаренное ей другим людям.

О своих родителях она уже едва ли говорила, а я не осмеливался упоминать их.

Ее небрежности, не одеваться тепло сразу же после представления, я противопоставил железный долг. Только так она повиновалась мне.

Среди детей, которых мы иногда вместе посещали, была толстощекая с соломенными волосами девочка из Голландии, Антье. Ее отец был известным главным режиссером театра. У нее была только одна нога. Другая, заболевшая туберкулезом, была ампутирована до колена. Она без труда передвигалась на двух костылях.

Наташа и Антье были одного возраста и гармонировали особенно хорошо, но, к сожалению, только, до тех пор, пока не пришел я и не начал считать с Антье. Или я спрашивал ее о написании особенно трудных слов на немецком и английском языке. Это всегда радовало ее. Когда я купил шашки для Антье, Наташа намеренно оставила их в магазине, а потом снова в другой больничной палате.

Также теперь она вмешалась.

- Оставь в покое, наконец, моего бедного дядю Федю! Ему и так уже хватает забот со мной, а теперь еще и ты приходишь с твоей вечной арифметикой и чтением по буквам. Разве ты не видишь, как сильно он устал. Кроме того, нам теперь пора идти домой. У меня волчий голод, и это всегда хорошо, когда я сразу ем. Мне так доктор посоветовал. Чау, Антье!

Безмолвно мы шли рядом. Только время от времени она бросала на меня мимоличный, неуверенный взгляд. Или Наташа начинала фантазировать, как сильно она устала, что она нездорова, и она, вероятно, попросила бы меня, чтобы я заботился о ней как когда-то. Но я не произносил ни звука, не поддавался на ее уловки, и я только коротко молился с нею, и уходил от нее, не накрывая ее одеялом, даже если она просила меня об этом.

Но было напрасно бороться с ее детским упрямством.

- Если бы у тебя была, по крайней мере, только половина этой настойчивости в учении, то я был бы рад за нас обоих!

- Но это же что-то совсем другое, дядя Федя.

- О, ты лишаешь меня последних остатков разума!

- Если бы я была в учении такой же, как Антье или Коко, то я совсем немного получала бы от тебя. Тогда ты только лишь говорил бы мне ежедневно: «Продолжай уже, наконец, заниматься своей чепухой сама, и когда ты закончишь с этим, то покажи мне твою отвратительную пачкотню».

Я должен был признаться самому себе: Наташа поставила мне мат!

Ее самым большим почитателем был Иван Васильевич Морозов. Уже с давних пор он населял летом и зимой маленький апартамент в бывшей клинике, в сопровождении его слуги Владимира, который с трогательной любовью был предан своему больному хозяину. Мы часто посещали Морозова, иногда ели у него некоторые отборные блюда, и я оживленно беседовал с ним о России, ее прошлом и будущем. Он был совладельцем известной мануфактурной фирмы, богатым, изысканным человеком, но неизлечимо больным. После того, как начальная стадия туберкулеза уже давно была исцелена в Давосе, у него началось тяжелое, туберкулезное нагноение брюшины. Атрофия ног, затронутых этой болезнью, безнадежно прогрессировала.

- И, тем не менее, мне не хватает мужества выпустить себе в голову пулю. Но мое горе послужило на пользу другим! – добавил он без горечи. – Мои братья и сестры уже много лет назад перевели мне в Швейцарию мою долю наследства. Теперь, после того, как в России наши фабрики были конфискованы большевиками, мы все живем с этого одного счета, и, как вы видите, не плохо. Вот так бывает в жизни!

Морозов был единственным, с которым у меня сразу был сердечный контакт, и чем дольше я знал его, тем больше я чувствовал к нему расположение.

Однажды мы сидели, как часто, в большом зале клиники, пили мокко и курили. Морозов посмотрел на часы.

- Наша малышка снова опоздала, такой популярный ребенок.

Он тщательно снял пепел со своей сигареты, и его задумчивый взгляд оставался направленным на меня.

- Я только что вспомнил об одном давно забытом событии, которое произошло уже много лет назад. Я хочу вкратце рассказать вам о нем, так как вы знаете, насколько вера в Бога укоренилась в русском народе рядом с глубоким суеве-рием. Я не знаю, что вы думаете о предсказаниях, чтении по руке, которое бы-

ло особенно свойственно старым цыганкам в России. Я верю в это, и со мной в это верят и многие другие.

Короче, это было только за несколько недель до моего первого заболевания. Тем вечером я возвращался с моей сухой-сеттером, невероятно усталым и, все же, довольным, с успешной охоты на вальдшнепов. На опушке леса, недалеко от деревни, которая принадлежала к нашему старому владению, я уселся на поваленный ветром ствол дерева, с собакой у моих ног. Вскоре после этого она вскочила и начала лаять на что-то, что двигалось в ближайших кустах. Почти в то же самое мгновение появилась старая цыганка. По их одежде, больше по их лохмотьям, всегда можно было узнать, что эти люди ночевали в лесу. Так как я, как было сказано, возвращался домой с богатой добычей и был в очень хорошем настроении, я крикнул ей, чтобы она подошла ко мне.

- У тебя, похоже, нет крова, матушка?

- Нет, барин, уже давно больше нет, – ответила она неуверенно.

Она боялась собаки.

- На моей земле даже самый бедный человек должен иметь крышу над головой; это закон нашей семьи!

- Люди всегда боятся старой, опустившейся цыганки.

- Вот, – я протянул ей купюру в три рубля, тогда это была поистине княжеская милостыня. Ее сморщенные руки дрожали, когда она взяла эту купюру. В ее глазах стояли слезы благодарности. Вдруг она бросилась передо мной на колени и целовала мою правую руку.

- Пойдем в деревню, – сказал я взволнованно, – я попрошу, чтобы в трактире тебе дали достаточно поесть и выпить. Просто передай хозяину, что это я приказываю ему. Я, Морозов! – добавил я заносчиво.

Она как раз хотела пойти, когда я позвал ее обратно; она должна была погадать у меня по руке. Она задумчиво рассматривала мои линии руки и попросила: – Избавь старую цыганку, которую ты сделал такой счастливой, от того, чтобы доставить тебе огорчение, ведь я не могу обманывать тебя, дорогой барин.

Все же, в моем озорном настроении я настаивал на этом, и старуха откровенно рассказала мне все, что до сегодняшнего дня невероятным образом действительно произошло со мной, о моем скором, безнадежном заболевании, о бегстве

нашей семьи с родины, и она заметила, наконец, что я умру, пожалуй, как богатый человек, но смерть мне в дом принесет ребенок.

Он энергично погасил свою сигарету.

Мы молча переглянулись.

- Я соглашусь, – продолжил он затем тихо, – что то или другое не сбылось. Вероятно, я также больше не думал об этом, позабыл слова старой цыганки, но... ребенок должен принести смерть мне в дом? Нет, это невероятно, сомнительно! Не находите ли вы это тоже так, дорогой Федор Федорович? Даже если понимать это в переносном смысле слова, то я спрашиваю себя, все же: как?

Я не ответил ему, и так как почти в то же самое мгновение рядом с нами зазвучала русская речь, мы оглянулись.

Наташа настойчиво убеждала слугу: – Владимир, ты должен оставить старого кучера дома. Сегодня я хочу управлять обеими лошадами и сидеть рядом с тобой на козлах. Тогда мы как раз оба будем держать поводья. Что может случиться с нами? Ты ведь был раньше крестьянином и уж точно сможешь управлять парой хромых лошадей!

- Конечно, я еще могу управлять парой лошадей, но лучше, если ты поговоришь со швейцарцем. Они ведь не понимают меня, а я понимаю их еще меньше, этих немцев!

(Русское слово «немец» происходит от слова «немой», потому что немцы не говорят на русском языке.)

Василий сообщил, что заказанный Морозовым экипаж из двух лошадей уже ждет нас перед порталом.

Наташа стояла перед нами с алыми щеками и сверкающими глазами.

Ребенок принесет тебе смерть в дом...

Наташа...

Она доверчиво прижалась ко мне.

- Мы уже услышали, о чем у вас идет речь, – сказал Морозов благосклонно.

- Могу ли я управлять лошадками, Иван Васильевич?

- Да, деточка, я поговорю с кучером.

- Я благодарю вас, и я очень рада!

В солнечные дни, закутанные в одеяла из овечьей шерсти, мы предпринимали совместные поездки в ближайшие окрестности курорта. Наташа в большинстве случаев сидела рядом с Владимиром на козлах и управляла лошадьми, которые беспечно трусили вперед как двое ягнят, не обращая внимания на ободряющие призывы девочки. Тут и там нас ждал простой обед, вежливые хозяева, которые сами обслуживали нас, или также кувшин теплого, жирного молока с сыром и хлебом. Скоро нас знали везде и всюду, также в долине до Террите, Монтрё, Кларана и Веве, где Морозов с нами посещал концерты и катался на проворной моторной лодке по прекрасному Женевскому озеру. Я заметил, что аскетические черты его лица все больше и больше разглаживались, взгляд серых глаз становился все более спокойным, что его осанка пыталась выпрямиться.

- Мой бедный барин снова оживает, – шептал Владимир. – Неужели вы не видите, Федор Федорович? Вчера вечером он снова говорил со мной о Наташе. Он завидует вам из-за малышки.

Однажды Морозов объяснил мне: – Вы и Наташа совершили нечто невероятное, метаморфозу в моем прежнем отношении к жизни и труду. Я твердо решил взять на себя строительство и руководство нашей маленькой фабрикой во Франции, если остаток моего здоровья еще позволит мне это. Благодаря вам и Наташе я чувствую себя как пробужденный к жизни.

- Это радует меня. Тогда от нас, все же, есть какой-то прок, Иван Васильевич!

- У меня есть еще и другие планы, но об этом мы поговорим в другой раз; они еще окончательно не созрели. Они касаются, к сожалению, и, собственно, только меня самого.

Его последующий отъезд во Францию оставил во мне пустоту, так как я был честно предан этому человеку и видел в нем более опытного и на много лет старшего друга. Хотя он часто писал нам, присылал открытки, письма, жаловался на молчание Наташи, спрашивал, не забыла ли она его, осведомлялся о всяких мелочах, которые были еще знакомы ему, но скоро его сообщения становились все реже, до тех пор, пока они потом полностью не прекратились.

Чем мы стали для него: я и Наташа, думал я?

Между тем уже наступило бабье лето.

Однажды вечером Владимир внезапно стоял перед нашей дверью. Здоровье Морозова существенно ухудшилось во время работы во Франции. Скоро он займет свой прежний апартамент, который Владимир теперь должен был приготовить.

Мы тогда поехали вниз в Эгль, перевезли Ивана Васильевича в Лезен, но прежняя сердечность между нами, мужчинам, больше не появилась. Теперь Морозов принадлежал к тем людям, которые с горечью сдались, чтобы больше не спорить с судьбой, которая снова принуждала его ограничить свое существование пребыванием в клинике, в которой также медленно исчезала живость его духа. И, тем не менее, он начал с отцовской добротой заботиться о Наташе даже больше, чем раньше, нанял ей в Лезене учителя для школьных занятий и уроков танцев, и раз в неделю даже приезжал балетмейстер из Женевы. За этими часами Морозов следил с усердием, так как он хорошо разбирался в балете и увидел в девочке талант, пока он однажды не предложил мне разрешить Наташе жить в его непосредственной близости.

Я видел в нем мецената, которого я мог только пожелать ребенку от всего сердца.

- Да, у меня есть даже большое желание, объяснил мне Морозов, – удочерить Наташу. Юридическая ситуация, представление всех документов обо мне и моем имущественном положении в настоящий момент может иметь только второстепенное значение. Самое важное – только сам ребенок, хочет ли она остаться у меня. Хотя у меня мало надежды, но я хочу сделать все, чтобы добиться этого, если бы вы мне это позволили. Так как, однако, как известно, в основе каждого хорошего поступка лежит как минимум одна искра эгоизма, и в моем случае он исключительно доминирует – я хочу с помощью такого удочерения придать последнее, вероятно самое последнее содержание моей до сих пор столь скудной жизни. Тогда у меня будут обязанности по отношению к сироте. Я вовсе не могу вообразить что-то более прекрасное и более радостное. Я намекал вам на это, дорогой Федор Федорович, еще перед моим отъездом. Я сердечно прошу вас, поговорите побыстрее с Наташей об этом! Сделайте хотя бы одну попытку убедить ее, сделать ей это приятным и объяснить. Вероятно, это вам удастся. Вы сами знаете, насколько тяжело прозябать без смысла жизни.

Только после длительного упорствования Наташа согласилась и заняла комнату в апартаменте господина Морозова. Ее оберегали и заботились, она ела с ним в большом зале, должна была приучить себя к более правильным манерам, часто переодеваться, купаться и давать причесывать волосы. Она находила все новое очень интересным и даже веселым. Она видела в этом игру, которую она могла снова начинать каждый день и также оканчивать по своему усмотрению.

В моей неожиданной изолированности я чувствовал себя действительно странно. Я больше не должен был за кем-то наблюдать, с кем-то говорить, ругаться, спорить, не должен был беспокоиться за разбитую посуду, а также тратить время на стряпню. Целыми днями я думал о самом себе, о моей уединенности и о будущем, и я начал обнаруживать и упорядочивать во мне все то, что уже очень давно требовало ясности. Мне больше не нужно было теряться в полумерах. Я чувствовал себя как больной, у которого наконец-то появилась возможность размышлять о своих болезнях и даже вылечить их. Я еще никогда не воспринимал спокойствие и тишину вокруг себя такими благотворными. Моя единственная обязанность состояла в занятиях с неизменно усердным Коко и телефонных разговорах с господином Морозовым и Наташей. Оба знали, что мне было нужно это одиночество, чтобы принять меры для близкого будущего. Но вскоре после этого я начал под разными предлогами просить Наташу оставаться дольше у ее пожилого покровителя, пока я не стал чувствовать себя при этом как тот неловкий мужчина, который хочет, чтобы его прежняя любовница оставалась как можно дальше от него.

Наташа больше не подходила к телефону.

Углубленный в мысли, я как раз приготовил свой простой ужин и сидел теперь в свете той безобразной лампы, для которой Наташа из ее первых заработанных денег купила пеструю полотняную ткань и, наконец, небрежно сшила складчатый абажур. Тут внезапно прозвучали знакомые мне шаги, поднимающиеся по узкой деревянной лестнице, входная дверь распахнулась, и девочка стояла передо мной, радостно взволнованная и совсем запыхавшаяся. В руке она держала сильно помятый сверток.

Ее посмотрела на меня и мою еду. Потом она бросилась мне на шею и ласкала меня в своей чистой, детской манере, которая уже обезоруживала меня так часто.

- Теперь я снова буду жить у тебя, дядя Федя, дорогой! Ты ведь очень, очень рад этому? Я тоже! – выпалила она. Затем она поспешила со свертком в кухню, я услышал, как она открывает дверь шкафа, сразу подумал о новых осколках и правильно: тарелка упала на пол, в сопровождении приглушенного крика.

Затем она вытащила новую тарелку, некоторое время шелестела бумага, и, наконец, Наташа поставила наше маленькое, надбитое блюдо передо мной. Оно было наполнено досадной неразберихой из холодного мяса, нарезки, подливки и различных, теперь трудноопределимых салатов из майонеза, всех тех лакомств, которые я не мог позволить себе уже долгие месяцы.

- Бедняжка! Не было ни одной трапезы, во время которой я не думала бы о тебе. Это остаток ужина. Никто не видел, как я упаковала его. Однако господин Морозов об этом знает. Теперь ешь! Я желаю тебе приятного аппетита!

Она бросилась к кровати. – Моя дорогая, хорошая, старая, жесткая кровать! И здесь ты всегда сидел, дядя Федя, когда я была послушной.

Потом она спешно пробежалась по нашим обеим комнатам и радостно прикасалась ко всем предметам. – Я знаю здесь все, все. Здесь ничего не изменилось, потому что... Ну, потому что ты как раз ждал меня! Вопреки твоим злым словам. Не так ли, мой дорогой? Я так счастлива! Так счастлива с тобой! Теперь я снова могу по-настоящему прилипнуть к тебе! Ах да! – вздыхала она и радостно двигала свои тонкие плечи.

- Подойди-ка сюда, Наташа!

- Я уже знаю, о чем ты хочешь меня спросить. Естественно, я сказала господину Морозову, что я снова буду жить у тебя.

- Но что же он ответил на это?

- Он сказал: «Твое решение очень, очень огорчает меня, деточка. Ведь у меня у тебя было все, что ты только могла бы себе пожелать. – Но я так счастлива у моего дяди Федя! – А у меня нет?»

Я покачала головой. Я же не могла сказать ему правду, так как он всегда был так добр и мил со мной.

- А потом?

- Потом? Совсем просто. Я поблагодарила его за все, и быстро подала ему руку. Но, ты знаешь, к сожалению, левую, так как в другой я держала твою еду. «Ах, дитя, дитя», добавил он печально, «ведь тогда я снова буду так одинок!» – Но и мой дядя Федя тоже будет одинок, если я не приду к нему. – Ты, наверное, очень любишь его? – Да, очень, – ответила я, – но он на это совсем не обращает внимания. Мы скоро снова посетим вас, Иван Васильевич. Спите хорошо и совсем без болей!

Тогда я и ушла, такой же, как я была. Ты не должен был ждать с едой так долго, подумала я, так как ты пунктуален, и было уже восемь часов. Теперь ешь, дядя Федя, ешь, мой дорогой!

- Спасибо тебе за еду... и спасибо тебе за то, что ты думала обо мне, Наташа!

- Но почему же ты говоришь так тихо? Или ты даже немножко не рад, что я снова здесь?»

- Я должен пойти к господину Дюкоммену и позвонить господину Морозову.

- Тогда, пожалуйста, передай ему от меня привет. Он был таким хорошим, милым господином. Да, и еще самое важное! Скажи ему сам, что ты никогда не отдашь меня ни ему, ни кому-либо другому. Также не на некоторое время, как ты говорил. Это не имеет смысла, – добавила она не по годам умно. – Я, так или иначе, убегу от всех. Но сначала ты должен поесть. Ты ведь будешь голоден!

- Сейчас это не так важно.

С тяжелыми шагами я спустился.

Мой звонок был для меня действительно трудным, и еще долго после этого мне пришлось думать о коротких словах этого человека: «Я полностью понимаю Наташу. Да и как мне не понять ее? Но я думал только обо мне, о моем безвыходном, мучительном одиночестве. Прощайте, мой дорогой Федор Федорович...»

Еще в тот же вечер слуга принес вещи Наташи. Я проводил его часть пути и очень просил его, чтобы он ни на шаг не отходил от своего господина.

- Федор Федорович! Я часто говорил с Иваном Васильевичем об этом, но... я ничего не могу ему приказывать, у меня нет над ним никакой власти, – ответил старый слуга и вытер слезы со своих глаз. – Мы были еще мальчиками, когда я попал к нему на службу. Теперь мы постарели, но я никогда не слышал ни одного злого слова от моего барина, даже если он страдал. Я еще сегодня служу ему, как говорится, верой и правдой, и вовсе не потому, что он упомянул меня в завещании, нет, просто от верности сердца. Ради этого я покинул нашу матушку Россию, родину, людей, которые понимали меня. Если Иван Васильевич захочет уйти из жизни, то это только воля Божья, которая освободит его от всего горя. Вы знаете, барин, мы, русские, не говорим так много о нашей жизни и нашей смерти, как западные люди. И... он был и остается беднягой... даже если у него так много денег. Вы понимаете, что я имею в виду.

- Но что тогда будет с вами, Владимир?

Он молчал и сделал неопределенный жест.

- Рассвет есть для каждого, говорят в России.

Следующим вечером Морозов застрелился. С быстротой молнии весть об этом распространилась по всему курорту, от клиники к клинике, от больничной палаты к больничной палате.

И Наташа стояла в центре всех пересудов, хилая девочка с темными глазами, затененными прекрасными ресницами. Во время поминок любопытные взгляды скользили по ней, но она даже не воспринимала их. Она также не понимала их, к счастью. Позже я еще долго рассматривал спящую. В руке она держала свою старую Акулину. Правую руку она, как обычно, положила под голову. Тогда мой взгляд упал на когда-то безобразную лампу. На нее она повесила свой абажур из пестрого полотна. Хотя она обрезала его косо и сшила неточно, но это я не хотел теперь видеть, не хотел думать об этом, не хотел всегда искать только безобразное. Она снова была у меня и была от этого счастлива, бесприютный ребенок, сирота, у меня, при худой пище и в очень скромных четырех стенах.

«Ребенок принесет смерть тебе в дом», нагадала по руке Морозову старая, бродяжничающая цыганка. Он знал это, он сам вспоминал об этом. И он, тем не менее, хотел назвать этого ребенка своим собственным...

Наступила осень.

Мы оба хорошо перенесли наши десять месяцев в Лезене.

Наташа полностью выздоровела и внешне загорела даже больше, чем я. Ничто больше не мешало нашему возвращению домой. Мы уже всюду уведомили о нашем приезде и теперь ждали нас. От профессора Роллье и доктора Гюи мы не получили счет.

Началась последняя неделя, и многочисленные визиты были, наконец, закончены. Мы открывали шкафы и ящики, чтобы упаковать наши вещи. Наташа делала это с детской радостью, но пока она держала в руках или крутила то один, то другой предмет, и думала, каким детям по соседству она еще могла бы его подарить, я с тяжелым сердцем подходил к ликвидации нашего простого домашнего хозяйства, в мыслях о будущем, которое в неопределенности лежало перед нами.

Наконец, наступил день отъезда.

Еще рано утром добрый Дюкоммен принес нам последний завтрак и к нему еще маленькую горку бутербродов с маслом, булочки и несколько плиток шоколада.

Окруженные упакованными вещами и неразберихой в маленькой квартире мы могли обменяться только лишь несколькими беглыми словами.

- Я однажды посетил вас обоих, совершенно определенно. А теперь прощай, моя малышка! Я желаю тебе богатое благословение от Бога. Я буду вам писать. Да, но куда?

Мы не могли ничего ему ответить, так как мы оба сами не знали, где именно и на какое время мы где-нибудь останемся. – Тогда напишите мне хотя бы одну красивую открытку. Я прицеплю ее в моей булочной на стене и буду думать о вас. Моя жена на сегодня уже заказала уборщицу, так как послезавтра сюда въедет пожилая супружеская пара. Теперь пошли! Кучер уже ждет.

Он взял наш багаж, и мы последовали за ним. Он долго махал нам, пока не исчез за своим домом.

На вокзале мы увидели маленькую толпу детей, с множеством подарков, она громкими звонкими голосами наполняла воздух. В стороне от них стоял печальный Коко, который не терял из виду Наташу. Но когда вагон с крохотным горным локомотивом пришел в движение, он схватил ее руку, сунул ей конверт с красной ленточкой и едва слышно прошептал: – Пишите мне... маленькая принцесса! Большие слезы катились по его веснушчатым щекам. Внезапно он отвернулся и убежал прочь.

Наш поезд медленно катился к долине. Горы поднимались все выше. Мы еще раз увидели нашу террасу. Она была пуста. Из Эгля скорый поезд привез нас в Базель. Я лишь редко смотрел в окно, чтобы больше не видеть величие осеннего ландшафта. Я спорил с самим собой и даже не знал, чего я, собственно, хотел.

Час за часом я сидел в затемненном купе у окна. Время от времени пролетали раскаленные угольные искры, маленькие города, деревни, домики станционного зрителя. Потом снова вокруг была лишь ночь, через которую мчался поезд. Время от времени мой взгляд скользил по спящей Наташе. Ее будущее снова занимало и беспокоило меня все больше и больше. Я натянул одеяло ей на плечо, чтобы она не простудилась, и погладил ее волосы.

Навстречу какому будущему мы оба мчались...?

Судьба привела ко мне этого ребенка!

Я не мог его бросить!

Мои мысли терялись в расплывчатой дали сумрачного утра над низменным пейзажем с отдельными, темными, лишенными листьев кустами и низкими деревьями.

IV

Берлин, Анхальтский вокзал, в бледном утреннем свете.

На платформе я сразу увидел господина Нойманна. Мы договорились друг с другом одним лишь взглядом.

- Наташа! – громко закричал Нойманн, чтобы скрыть свою неуверенность. – Девочка! Да ты черная как негр! Дай мне свой багаж!

Ребенок любезно улыбался, но держался за мою руку. Мы вышли.

Нойманн управлял машиной с тщательностью мужчины, который не знал, о чем ему говорить.

Перед его домом ждали несколько детей.

- Я рассказал им, что ты приедешь, чтобы они поиграли с тобой, – любезно сказал он и протиснулся из-за руля. Молча и робко Наташа стояла в середине ее прежних товарищей по играм, которые смущенно глазели на нее, и так как господин Нойманн вынес из машины несколько пакетов, она дала им шоколад и сразу пошла вместе с нами в дом.

- Ты еще узнаешь свою старую комнату, Наташа? Теперь заходи и устраивайся там поудобнее.

Голос мужчины был хриплым. – Я попросил основательно ее убрать. Ты найдешь все на привычных местах.

Он поставил ее вещи.

Моя нога довольно долго не решалась переступить через порог, так как комната казалась мне теперь совершенно изменившейся. Она была слишком чистой, слишком тщательно убранной, и вследствие этого она выглядела холодной, почти как музей, почти зловещей.

- А где ты будешь спать, дядя Федя?

- Через коридор в комнате для гостей, – ответил Нойманн. – Или ты боишься?

- Н-нет! Ах, как бы я хотела снова быть в Лезене. Там я могла видеть свет твоей рабочей лампы и позвать тебя. Теперь все совсем по-другому.

Мы молчали.

- Господин Нойманн, а у вас нет еще известий от моей мамочки?

- К сожалению, нет, дитя мое, но я получил письмо от одного знакомого из Варшавы, так это письмо шло больше четырех недель, хотя на нем был красный ярлычок экспресс-почты. Такова ситуация на Востоке! Опустошение – это слишком слабое слово! – добавил он с наигранным гневом.

В дверь постучали. Вошел Ганс, первый подмастерье, широкоплечий здоровяк в белом рабочем халате. – Хозяин, поставка в отель «Фюрстенхоф» отправлена. Я же должен был сообщить вам об этом. Это пункт семь. Также другой товар можно грузить. Эй, Наташа, ты снова здесь, такая загорелая и отдохнувшая! Зайди в лавку, мы сделали твою любимую колбасу из гусиной печени. Ты принесла мне шоколад? Здорово! Я его очень люблю. Большое тебе спасибо. Но я возьму его только в конце рабочего дня, когда у меня будут чистые руки.

- Я сейчас приду, Ганс. Я сам поведу грузовик. Да и что теперь значит «Фюрстенхоф», у них такой же голод, что и у всех. Ну, вперед, запускай, я иду!

Он повернулся к нам, улыбка освещала его добродушное лицо.

- Пожалуйста, почувствуйте себя у меня как дома! В кухне вы найдете все для завтрака настоящих атлетов. Наташа здесь все знает. На обед я заберу вас из квартиры. Пока, и не обижайтесь, что я оставляю вас в одиночестве.

Он похлопал мне по плечу. – У вас тоже должна быть пара ключей. Тогда у вас обоих в любом случае есть крыша над головой.

Он уже спешил наружу. – Вы ничего не знаете, понятно?

Во внезапно наступившей тишине наши взгляды бродили от одного предмета к другому. Затем Наташа под села ко мне и прижалась поближе. Так мы сидели и не знали, что нам делать.

- Дети точно ждут тебя, – произнес я неуверенно.

Девочка покачала головой. – Я хочу остаться с тобой.

И мы снова молчали, сидя близко друг к другу. Снаружи шумел огромный город, шумела жизнь. Мы оба не решались выйти.

- Я боюсь этой комнаты, – прошептала она. – Она кажется мне зловещей, как будто бы здесь кто-то умер. Может быть, моя бедная мамочка? Вероятно, ты утаиваешь что-то от меня, чтобы не причинить мне боль? Потому что... потому что ты, все же, совсем немножко любишь меня.

Она придвинулась еще ближе, низко опустив голову.

- Почему ты ничего не говоришь, дядя Федя?

- У меня нет больше мужества... ни на что!

Она посмотрела на меня, но я не выдержал ее взгляда.

- Давай мы оба помолимся, – сказала она через некоторое время, благословила нас широким крестом, сложила мои пальцы привычным способом и вложила в них свои руки. – Теперь говори совсем, совсем тихо, также ты, дорогой!

И я снова повиновался ребенку, потому что не мог причинить ему боль.

Когда я брился в облицованной плиткой ванной господина Нойманна, я думал о смелом, бесшабашном мяснике, его быстроте, уверенности в себе и смелости его маленького предприятия.

Ведь я тоже когда-то был таким! И я снова хотел стать таким! При этом я на несколько секунд строго и испытующе посмотрел себе в глаза.

Внезапно прежняя инертность, нерешительная трусость превращались в жажду деятельности, и это распространилось также на Наташу.

Мы тщательно занялись туалетом, позавтракали как умирающие с голоду и поспешили рука об руку в город, чтобы выполнить все необходимое. Уже был полдень. Я позвонил господину Нойманну. Однако, Ганс, подмастерье, кратко сказал мне, что хозяин еще не вернулся домой. Также на следующие наши звонки он давал тот же ответ.

Позже мы поехали домой.

Недоверчиво я стоял перед ясно освещенным, вместительным магазином, который был еще наполнен клиентами, в то время как близлежащие лавки уже выключили свет. Ловко и быстро, в белоснежных халатах, работали подмастерья и

в центре между ними осмотрительный господин Нойманн. Он бросил на нас свой короткий, приветливый взгляд и показал нам на место возле его весов.

Старая женщина неуверенно попросила «Двести граммов говяжьей печени, но самой дешевой».

Рука хватается крюк с печенью, решительно отрезает несколько кусков, бегло бросает на весы, в бумагу, все уже упаковано, и вот уже низкий, теплый голос тихо говорит: «Так, и вы ничего не должны мне за это, матушка. Честь имею кланяться!»

Морщинистые руки женщины дрожали, когда она брала упаковку. «И что касается Фрица», тут только хозяин поднял голос, «... вы не должны падать духом. Вот, этот господин!». Он указал широким жестом на меня, «... он был пропавшим без вести более трех лет в Сибири и, все же, вот он стоит здесь живой во весь свой рост перед нами!»

- Наташа, бедный ребенок! Твоя мать, Боже мой, нет! – какая-то незнакомая женщина приближалась к нам.

Но Нойманн уже понял мой взгляд. – А теперь быстро идите домой, здесь неуютно! Вы слышали? При этом он мягко подтолкнул нас.

Рука ребенка сразу схватилась за мою. Я засунул ее в мой карман и держал ее там, как я часто делал это зимой в Лезене, когда она мерзла и в первое время только с трудом могла за мной поспевать. Молча шли мы вдоль набережной. В лениво двигающейся воде играли холодные цвета темнеющего, осеннего неба.

- И ты думаешь... они... никогда больше не вернутся домой?

Я так сильно испугался этого вопроса, что моя левая рука сжала руку ребенка, быстрый взгляд Наташи дал мне понять, что она заметила это. Тем не менее, она продолжала говорить:

- Мамочка часто говорила в нашей комнате, когда был вечер, и вокруг нас было так тихо: «Наташа, если наш папа больше не вернется домой, больше не найдет нас, тогда моя жизнь тоже прекратится. Я не могу жить без него. Прости мне это, дитя мое!» Ты знаешь...

Она остановилась и посмотрела на меня. Фонарь освещал ее лицо, так что я мог увидеть на нем любое движение. – Я думаю, что моя мамочка... сделала это намеренно. Она сказала это тихо и жестко. Складка появилась между ее бровями. – Да, намеренно! Ее взгляд стал черным и холодным.

Внезапно мне показалось, что я вижу лицо моей жены, татарки, ее глаза, которые тоже могли становиться такими черными и холодными, в которых покоилось все необъяснимое Азии. Не спасла ли смерть ее от того, что столь многим пришлось испытывать вплоть до самого горького конца?

- Не думать, мы оба. Нет! Нет! – произнесла Наташа с осторожной настойчивостью. Догадалась ли она о моих мыслях?

- Папочка, – прозвучал нежно ее голос. – Ты ведь теперь действительно стал моим папочкой. Разве не так? Ты хоть немножко этому рад?

- Да, да, очень рад, дитя мое! Sans discussion! – добавил я с улыбкой и прижал ее к себе.

- Теперь у меня есть один только ты. Как же мне тогда называть тебя по-другому? Ах да! – Она вздохнула. – Но ты знаешь, я люблю тебя иначе, чем моего папу.

Она кивнула. – Я обещаю тебе, что буду твоим хорошим и милым ребенком. Но ты никогда не должен бросать меня! Пожалуйста, никогда!

- Я обещаю тебе это, душенька!

Свет метрополии светил нам навстречу. По мощной дуге, перекинутой с одной стороны улицы на другую, прогремел мимо скорый поезд дальнего следования. Светофор остановил нас и длинный ряд спешащих машин. Потом он разрешил ехать дальше.

Мы без слов двигались вперед.

С благодарностью каждый из нас воспринимал близость другого. – Папочка, исполни для меня, пожалуйста, одно искреннее желание. Давай закажем для нее панихиду в русской церкви.

- Да, дитя мое, мы сделаем это прямо завтра.

Когда я вечером сел на край ее кровати, она схватила мою руку, и ее глаза с особенным постоянством всматривались в мое лицо, как будто бы она должна была теперь дать себе окончательный ответ на все вопросы, которые так сильно ее занимали, но которые она не осмеливалась задать самой себе.

Что происходило в ее головке? Что она хотела знать обо мне?

- У меня есть один только ты. Теперь только ты... и... я всегда буду бояться потерять тебя. Если бы у нас был, все же, настоящий родной дом, где-нибудь! У скольких людей он есть! А у нас нет. Разве это не печально?

Она вздыхала и огорченно качала головой.

Когда она позже заснула, я пришел к Нойманну. Он уже ждал меня.

- Ганс сказал мне, что вы звонили, мой дорогой. Ну, также на этот раз с полицией все удалось. Мои люди снова предостерегли меня. Одному и другому больше нечего терять, они уже все потеряли. Но так, как бы между прочим, они иногда машут, как во время гуляния. Тогда я поворачиваю, меняю номер моего старого грузовика или также его тент. Вы понимаете? Благодаря этому мы все оказываемся сытыми. Итак, за здоровье!

Он выпил стакан одним глотком и медленно поставил его на тяжелую стеклянную плиту. Задумчиво он начал курить. – Маленькая госпожа Андреева... Она была только лишь кровавой массой...

Его мрачный голос медлил, он с трудом нанизывал слова, часто повторялся, вынуждал меня пить крепкое бургундское вино и слушал время от времени, не встала ли Наташа и не подслушивает ли она нашу беседу.

- Страшно!... Когда полиция сообщила мне, то я подумал, что стал идиотом. Я с большим трудом пытался понять вопросы комиссара. И тогда было только одно: накинул пальто и помчался прочь, в такси, вышел, даже не расплатившись. Тогда полицейский остановил меня, подумал, что я пьян, призвал меня к благоразумию. Благоразумие...? По лестнице вверх, искал... споткнулся о носилки, вцепился в нее... Она была еще теплой, но уже неузнаваемой... Ушла здоровой, а теперь...? Она тогда еще довольно долго стояла у витрины. Я в тот момент разделявал мясо и видел ее, и она кивнула мне, как будто бы она хотела мне еще что-то сказать. Она показалась мне немного печальной. Почему? Чем я мог бы доставить ей еще радость, подумал я тогда. Затем она поспешно удалилась, маленькими шагами. Меня оттащили от носилок. Меня держали, шептали что-то. Мне пришлось выпить стакан шнапса, и сесть. Но когда ее накрывали белой простыней, тут я закричал. Мой крик причинил мне боль... Ах!

Его рука дрожала, когда он наполнял наши стаканы.

Мы пили и курили.

- Я рассказал все, и, наконец, я даже сказал, что я до сих пор любил ее, как никто другой. Да, и что же я должен был теперь делать? Они должны были, по крайней мере, описать мне, как она пострадала от несчастного случая. Об этом я писал вам, но вы едва ли поняли всю эту неразбериху. Позже я читал сообщение дежурного по станции. Он писал, что госпожа Андреева совершила самоубийство, совершенно очевидно! Но не я, все же, не я довел ее до смерти, Боже мой!

Мужчина молчал, но я мог догадаться о его мыслях. – Похороны... Я даже не знаю, кто на них пришел, соседей отсюда или другие, земляки, несколько, которых она знала. Все любили ее с первого дня, когда они с ребенком пришли ко мне в их завшивленных тулупах. Также русский священник присутствовал, моя сестра разыскала его. Похороны... Моя сестра снова и снова убеждала меня: «Ну, Вилли, пойдем уже, будь благоразумен! Нам пора идти домой! Ведь это все только воля Божья».

Он начал хлебать вино как пьяный, пока стакан не был пуст.

- Знаете... – Его голос стал громким и хриплым. Он сжимал кулаки. – Я во всем остальном, такой человек, согласен, не с утонченными манерами, нет, но я не плохой. Нет, не плохой. Я много делаю подарков, даже дарю мясо бедолагам, иногда даже легкомысленно, так что моя сестра боится. Но... Его пальцы широко растопырились. Он встал и приблизился ко мне. Я кивнул.

- Тогда я могу уже не говорить больше ни слова, мой хороший. На душе у меня было только: задушить, убить! Я хотел отомстить за нее!

Он сделал неопределенный жест, пытался налить нам вино, однако, разлил его.

Внезапно он запустил бутылкой в стену. Темно-красная жидкость стекала вниз по светлой стене.

- Так довольно часто, когда я шел по улицам, приходил в магазин, но не мог работать, когда я был один... я сжимал свой пистолет в руке. Как легко нажать на крючок, совсем легко.

- Только чуть-чуть нажать, и всё.

- Мой дорогой!

- Мне это знакомо...

- И что? Тоже не хватило мужества, чтобы только чуть-чуть нажать?

- Нет!

Он изучал выражение моего лица, но дальше не спрашивал.

- Наташа... называет вас теперь папой?

- Да, с сегодняшнего вечера. Она чувствует, что ее родители останутся пропавшими. Нам обоим все ясно.

- Так, так, – сказал он задумчиво. – Малышка... Ну, да. И детскому сердцу тоже не прикажешь и завоевать его не так легко. Мне уж это точно не удастся. Потому что я просто добродушный недотепа. И какие же ваши планы на следующие дни?

- Я послезавтра поеду с Наташей к моему профессору для повторного обследования, а затем тоже с ней к моим родителям в Мекленбург. Я надеюсь, там ей понравится. Она должна снова ходить в школу. В Рейнланде меня ждет первое место работы, на одном промышленном предприятии.

- Гм, – произнес Нойманн. – Я считаю, что вы правильно обращаетесь с ребенком. Но все-таки... В моем доме всегда будет комната, которая принадлежит вам обоим. И если мне однажды, скажем так, тоже придется «уехать», тогда моя сестра позаботится о вас. Она мне это обещала. Счастье – это же такая шлюха!

Затем он смиренно замолчал. Наташа спала в моей комнате на диване, свернувшись клубком как верная собачка. Она накрыла себя моим пальто и пиджаком.

Я еще долго не спал. Осторожные шаги ходили по квартире, голос убедительно шептал: «Не включай свет!» Наконец, все стихло. Потом машина тихо проехала через двор, в сопровождении тяжелых шагов.

Теперь я должен был стать папочкой Наташи! Ребенок чувствовал, что никогда больше не увидит своего отца и что и мать тоже «ушла к нему».

У Наташи теперь остался только один я.

Эти мысли снова и снова занимали меня.

Вдруг я снова слышал осторожные шаги. Они остановились перед моей дверью, и короткое время стояли там.

Где-то зазвенел телефон, и шаги быстро удалились.

Когда я утром зашел в облицованную плиткой ванную, костюм Нойманна висел на вешалке точно сложенный по складкам. На мраморном столике лежало его потертое, толстое портмоне, из которого высовывались несколько крупных банкнот, рядом с ним большая горсть монет и пистолет. Наполовину пустой стакан шнапса стоял тут же. Я набросил на все это полотенце, чтобы девочка не смогла это увидеть.

Наташа и я поехали в русскую церковь. Но я заранее зашел к священнику, чтобы описать ему трагическую судьбу родителей ребенка. Седой поп говорил мало, только то, что он сам убежал от красных. При этом он дрожащими руками крепко держал широкий, тяжелый серебряный крест на его груди.

- Сегодня я очень упрекаю самого себя, сударь, за то, что я покинул мою родину, моих братьев и сестер. Я боялся смерти, мучений, которые пришлось перенести столь многим священникам. Я из Евпатории в Крыму. Там они загнали много попов на плот и потом затопили в Черном море. Мы об этом не знали, но это мне рассказывал русский водолаз, матрос, который тайком приходил исповедоваться ко мне. Он видел плот на дне моря и трупы. Он почти сошел с ума, когда увидел это, сударь.

С Наташей и еще несколькими другими верующими я встал на колени перед образами в свете многочисленных свечей. Старик дрожащим голосом читал службу за упокой душ усопших. Тяжелое кадило раскачивалось; его дымок окутывал нас.

- Помоги! Спаси! Сжался и сохрани нас, Боже, милостью твоей! Бас священника немного усилился, и древние славянские слова хлынули на нас темным потоком.

- Господи, помилуй нас! – отвечали мы шепотом.

- Благослови наших отцов и матерей, мужей, жен и детей на далекой, ставшей несчастной родине. Благослови и спаси всех, кто несет в сердце чудо твоей вечной милости, всех верующих, которые ищут убежище у тебя, и будь милосерден к ним в их самый тяжелый час, Господи!

Мы поднялись с колен, вышли с несколькими людьми на залитую солнцем площадь, в свет и шум, и на глазах у нас были слезы.

И каждый пошел своей дорогой на гостеприимной чужбине.

Следующим утром господин Нойманн вновь сам управлял своим грузовиком. Наташа сидела между нами, с дорогой сумочкой на коленях, которую он еще быстро купил ей.

По дороге подсели несколько мужчин, все двуногие «шкафы», люди с медлительными движениями, в синих халатах и зеленых фартуках, в хорошем настроении, с грубоватыми шутками их родного города: «Из этого маленького талисмана однажды выйдет классная куколка!», указывали они на ничего не понимающую девочку.

На углу улицы какой-то человек бросил свой окурочок в нашу сторону.

«В порядке», проворчал Нойманн, и его до сих пор напряженные черты лица прояснились.

Машина остановилась через несколько домов. Подошел полицейский, спокойно прошел дальше, остановился на мгновение, обменялся взглядами с Нойманном и медленно зашагал дальше, руки за спиной.

Потом все пошло очень быстро. Каждый, кажется, знал, за что и как он должен был браться. Сначала выгрузили тяжелый шкаф, за ним последовали несколько стульев, ящики, снова шкаф, диван, кровати и снова ящики значительного размера, и почти на всех их был красный листок с надписью «хрупкое». Полицейский вернулся, стал рядом с машиной, и когда подошло несколько любопытных пешеходов, он дружелюбно проворчал, чтобы они шли дальше.

Выгруженные вещи исчезали во дворе. Двуногие «шкафы» снова сели в грузовик, и мы поехали в сторону Анхальтского вокзала, чтобы там припарковаться.

Господин Нойманн купил нам билеты на поезд первого класса, журналы, лакомства, сигареты и забронировал места в вагоне-ресторане.

- Наташа, прощай, дитя мое! Но, все же, приезжай ко мне в гости когда-нибудь снова. Я всегда жду тебя! – добавил он энергично. – И комната тоже всегда ждет вас обоих.

Он осторожно погладил ее по голове; потом он глубоко засунул правую руку в карман брюк. – И ты не должна мерзнуть, маленькая! Ты ведь такая же нежная, как твоя дорогая мать. И достаточно ли тепла твоя кошачья шубка? Может, я быстро куплю тебе новую шубку, более теплую, с подкладкой из овчины?

Наташа покачала головой. Тут его правая рука скользнула в карман детского пальто, как будто он хотел удостовериться, что оно добротное и теплое. Только потом он отошел назад.

- Господин Нойманн, спасибо вам за все!

Мужчина махнул рукой, немного наклонив голову в сторону, и покинул платформу со своеобразной поспешностью.

Кондуктор уже закричал, что пора садиться в поезд.

Только во время поездки, когда Наташа хотела достать кусок шоколада, она обнаружила в своем кармане пальто пачку денег. Мы с удивлением посмотрели на них. – Господин Нойманн... Потому что он так сильно любил мою мамочку... Он ведь тоже потерял ее.

Ее охватило беспокойство. При этом складка снова появилась у нее между бровями, она посмотрела на меня беспокойным взглядом, которого я раньше не видел у нее.

- Но я же вовсе не заработала деньги; и точно не выпрашивала их. Ты мне веришь?

- Я же это знаю, моя малышка! Это подарок для тебя! Но что ты будешь с ними делать?

- Уж точно ничего плохого. Я скажу тебе позже. А много их там?

Она дала мне пачку, чтобы я посчитал.

- За эти деньги целая семья может хорошо прожить один месяц!

- Ах, тогда хорошо.

Она вскочила и радостно обняла меня.

- Ты не хочешь мне сейчас сказать?

- Нет, нет, но этим я доставлю тебе радость!

Она хочет подарить мне что-то на день рождения, подумал я примиренно, и больше ее не спрашивал.

Спустя несколько часов мекленбургская маленькая узкоколейка медленно повезла нас к нашей цели.

Подперев голову рукой, Наташа, погрузившись в свои мысли, смотрела в окно, не воспринимая, тем не менее, постоянно протекающие за окном картины. О чем она думала? Что она чувствовала в этот момент, только за несколько минут до прибытия к нашей цели? – Наташенька, – тихо позвал я ее. – Да, дядя Федя.

Ее голос звучал как издали. – Как далеко, собственно, от этого Мекленбурга до того города, где ты будешь работать? Можно ли дойти туда пешком? Как долго нужно было бы идти? Один целый день?

- Зачем? Мой вопрос показался мне бессмысленным.

- Просто так, я хотела бы часто приходить к тебе. Ты будешь рад мне? Я буду ждать, пока ты не вернешься из бюро. Тогда у меня всегда будет маленький подарок для тебя, который я сделала сама. Пару носков, вероятно? Ты часто отрываешь пуговицы, я пришила бы их и потом пришила бы все другие, но очень, очень медленно. Ты же сам знаешь, почему.

Я улыбался. – Тебе определенно понравится в Мекленбурге. Моя мама – хорошая мать, и ты очень полюбишь моего папу.

- Ты будешь жить в этом городе у женщины? Или это супружеская пара? По вечерам тебе нельзя много ходить гулять, тебе нужно еще долго беречься. Тайный советник Пайр тоже говорил так!

- Ни слова!

- Нет, говорил, ты только прослушал это. Ты возьмешь с собой мой абажур? Мне нужно еще быстро обрезать его поровнее? И ты будешь тогда думать обо мне, когда будешь сидеть под ним? И ты уже знаешь, сколько дней каникул у тебя будет? Да, и самое главное: у тебя там будет свой телефон? Но если ты заболеешь, то ты ведь сразу же приедешь в Мекленбург... к родителям?

- Душенька!

- Я, наверное, снова надоедаю тебе моими вечными расспросами? Но я думаю... Если я однажды приеду к тебе, что ты тогда скажешь? Ты будешь ругаться?

- В любом случае!

- Но я же знаю, ты никогда не можешь долго злиться на меня.

Она наклонила голову в сторону и посмотрела на меня лукаво. Она уже сидела совсем близко рядом со мной.

- Я сама себе сразу отвечу на все вопросы: «Как часто я уже говорил тебе, что ты не можешь убегать из школы. Тот, кто ничему не учится, у того все будет плохо».

- Ну, вот видишь! Теперь готовься; мы сейчас приедем.

- Как ты обрадуешься, что увидишь родителей. Ах да! – вздохнула она и стала печальной.

- Мы помашем им вместе. Ведь они ждут нас обоих.

Там был мой отец!

Сильно высунувшись из окна, я помахал ему. Излучая радость, он поспешил навстречу мне, и, кажется, был в самом лучшем настроении.

- Это мой папа, Наташа!

- Он очень похож на тебя. Такой же большой, с широкими плечами и голубыми глазами.

- А там моя мать с нашими знакомыми.

Я со всей силы пожал руку отцу.

- Мальчик, мальчик, ты отдохнул! И твоя рука! Невероятно! У тебя натура нашей матери! Не сдаваться!

Он обнял меня, и я при этом почувствовал, как он немного дрожал.

- А это Наташа? Добро пожаловать, милое дитя! Добро пожаловать!

Русские слова, сказанные без акцента, сотворили чудо. Наташа сделала благо-воспитанный книксен.

- Папочка очень много рассказал мне о вас, господин Крёгер, и только хорошее, как вы с ним, когда он еще был маленьким мальчиком, всегда ходили на охоту.

- Тогда ты уже очень много знаешь обо мне!

Лицо моего отца становилось еще светлее.

- Федя, пожалуй, был очень строг с тобой?

-Ооох, ничего. Мы хорошо понимали друг друга!

Болтая, мы шли домой, в то время как на нас обрушивались вопросы за вопросами.

- Ты не дашь мне свою руку? – дружелюбно спросила Наташу мать.

- Ах, спасибо, госпожа Крёгер. Я лучше хотела бы вести моего папочку, только так... для осторожности, как в Швейцарии, когда идти ему могло стать небезопасно. Эти уродливые, толстые мостовые камни, – добавила она по-немецки. Она скорчила злое лицо, но при этом незаметно нажала на мои пальцы.

- Ты из Петербурга, самого прекрасного города севера? Теперь нам есть о чем рассказать друг другу, даже очень много.

- Нет, господин Крёгер, я родилась в Лахте. Вы знаете Лахту?

- Да, конечно! В Ольгино, это следующая станция по направлению на Сестрорецк. Там я часто бывал с Федей на охоте на уток. И в Сестрорецке мы купались с нашими друзьями. Как жаль, что мы не знали тебя уже тогда.

Девочка от всей души рассмеялась, как она не смеялась уже давно.

- Тогда я была еще слишком маленькой, чтобы купаться в море, мне едва ли было семь лет. Теперь мне четырнадцать.

- Ты, наверное, очень сильна в арифметике, Наташа?

- Может, мы лучше поговорим о море и о Петербурге?

При этом я ответил на ее легкое рукопожатие.

- Я охотно займусь математикой с тобой, – заметила мать, и тут я подумал только лишь одно: бедная Наташа, бедная мать!

Низкий кирпичный дом принял нас в свой тихий, сельский уют. Из кухни доносился аромат, возбуждающий аппетит. У входа нас приветствовали господин и госпожа Бентин, а также их молодой, сильно виляющий хвостом боксер, кото-

рый сразу обнюхал Наташу. Когда она хотела погладить его, он лизнул ей руку и лег у ее ног.

Мы поднялись на второй этаж; собака последовала за нами. Для Наташи было приготовлено маленькое, светлое помещение с воздушными занавесками, светлой мебелью, настоящая комната для молодой девушки. На столе стоял букет цветов; перед ним лежал листок с правильным почерком матери: «Добро пожаловать, мой дорогой ребенок!» Но рядом с ним уже лежал и большой, синий лист оберточной бумаги для учебников и тетрадей.

Мы открыли окно. Молодой, теплый мужской голос пел под аккордеон:

«Kort und gaut ik seg de Greten
Unsre Leiwenschaft ist vorbei,
Denn ik hew dat längst all weten,
Dat du noch ein' hest ahn mi.»

Звонкий девичий голос смеялся.

Нам открывался вид на большой плодовый сад: Слева стояла группа берез в золотом светящемся цвете, и издалека уже мерцали первые огни противоположного берега озера.

- Тебе здесь нравится? – спросил я с надеждой.

- Очень, папочка! Здесь прекрасно!

- Милая, я так невероятно рад за тебя! Теперь быстро умойся, аккуратно причешись и надень красивое платье. Нас ждут.

Я открыл ей багаж и вышел.

Мать уже распределяла мои вещи. – Федя, ты думаешь, что это правильно, что ты утаиваешь от ребенка смерть матери? Это же не решение.

- Я не знаю никакого другого выхода. И у меня не хватает мужества, чтобы сказать ей. Малышка несколько дней назад сказала мне, что она догадывается, что ее мать сделала это намеренно, так как не хотела продолжать жить без мужа. Мы заказали в русской церкви панихиду для ее родителей. Теперь она из привязанности называет меня папой.

Мать кивнула. – Ты ведь уже больше не молишься?

- Нет, молюсь, каждый вечер. Наташа принуждает меня к этому.

- Принуждает тебя, чтобы ты молился?

- Да. Она складывает мои пальцы и потом кладет на них свои руки, и я не препятствую ей в этом. Она очень верующая.

- Тогда она с еще большей смелостью воспримет правду. Вынесет все терпеливо, Тед, помня о Его любви к нам.

- Нет. Тогда этот ребенок станет ожесточенным. Я могу это понять!

- Но однажды тебе все равно придется ей это сказать.

- Мама, у всех пропавших без вести есть миф бессмертия, ореол, которого никто не сможет их лишить. Они ушли, и они вернуться... наверное.

- Отец тоже так думает.

- Ну, вот видишь.

- У нас более трех лет не было никакой весточки от тебя. И мы, тем не менее, снова и снова надеялись и надеялись. Вероятно, ты прав! Твоя смерть уничтожила бы отца. После обнадеживающего заключения доктора Гюи о тебе его состояние здоровья удивительно улучшилось. Профессор Цан восемь дней назад приехал из Гамбурга и только сказал мне, что он столкнулся почти с чудом.

Она продолжала размещать мои вещи.

- От моих братьев и сестер из Петербурга у нас, к сожалению, все еще нет вестей. Я очень волнуюсь...

- Вот видишь, мама, они тоже пропавшие. Но в нашем представлении они продолжают жить. Мысли о дорогом человеке, таким, каким он в последний раз стоял перед нами, все равно более утешительны, чем могила.

Уже на следующий день утром я пошел к директору школы. Он был пожилым отзывчивым человеком, у которого когда-то дома был целый выводок детей, к которым он все еще был сильно привязан с неизменной любовью. С ним я обсудил все, что касалось Наташи, с просьбой делать ей небольшое снисхождение в первое время.

На следующее утро мой отец и я привезли ее в школу. Все же, когда я прощался с нею, она сразу начала бороться со слезами.

Появление директора школы спасло все. С несколькими благосклонными словами он провел ее в классную комнату. При этом она оглядывалась на нас. Я ободряюще кивал ей.

Мы пошли к идиллически расположенному озеру. Утки с кряканьем взлетели из густого камыша.

- Теперь бы мое ружье! Я гарантирую тебе дублет, мой мальчик. Ольгино! Это был наш охотничий участок! Нашего егеря, маленького финна Кекконнена, я никогда не забуду!

- А Иван Мухин в Бологом?

- Да, правильно! Выдающийся охотник! Последний лось... Ах, тебя тогда не было. Он заманил его ко мне до пятидесяти шагов. Но я не стал стрелять в него, старика из болотистого леса. Я просто не мог! Это было мое последнее охотничье переживание. Незабываемо! Теперь одни лишь воспоминания!

Мы шли дальше.

- Кстати, генеральный директор Янсен достал блестящую должность на трансатлантическом пароходе нашему Йохену Бентину. Теперь он женится на этой симпатичной медсестре. Оба работают на одном и том же корабле. Как странно иногда играет жизнь. Одному она быстро выполняет его самое большое желание, другого долго заставляет ждать этого, а у третьего это желание так никогда и не исполняется.

После того, как мы прошли большой участок пути, он внезапно спросил: – Почему ты снова смотришь на часы?

- Извини, отец, в школе скоро перемена, и мне очень хотелось бы понаблюдать за моей Наташей, познакомилась ли она уже со своими одноклассниками.

- Да, Федя, это надо сделать, но так, чтобы она нас не увидела. Мы спрячемся, – ответил он, подшучивая, как будто мы только что не говорили об очень серьезных вещах.

Скрывшись за высокой живой изгородью, мы могли полностью видеть широкий школьный двор. Правильно! Наташа была первой, кто выбежал из школы, и

смотрела по сторонам, предполагая, что я еще здесь. Разочарованно она остановилась и пару раз вытерла себе нос.

Уже появились другие девочки, и Лони, девочка с льняными волосами, дочь нашего соседа, владельца молочной фермы, со словами «Поймай меня!» легонько хлопнула ее. Сначала Наташа нерешительно оглядывалась, но, когда другие стали дразнить ее, что она, наверное, никого не сможет поймать, она метнулась стрелой и сразу поймала нескольких девочек. Никто не мог поймать ее до конца перемены, и когда в начале следующего урока прозвенел звонок, она покраснелась, ее глаза сверкали от воодушевления. Слова Наташи, ее печаль, ее сомнения, сможет ли она когда-нибудь играть с детьми так же беззаботно, вспомнились мне. Я был рад.

Лони с льняными волосами и несколько чувственным взглядом синих глаз я с этого дня особо подмечал. Она была «начищенной до блеска штучкой», хотя и не особенно умной, но с похвальным усердием и трудолюбием и в школе, и дома, и так как Наташа свободно говорила по-французски, но ее успехи в счете все еще оставались плохими, а Лони, тем не менее, приходилось зубрить этот язык с большим трудом, зато в математике была несколько выше среднего уровня, желанное согласие между ними появилось сразу.

Через несколько дней все было в порядке: Наташа и Лони уже ходили по городку, держась за руки, мой отец ей очень нравился, мою мать она уважала и побаивалась, так как занятия проводились с необходимой настойчивостью, восхваляемый ландшафт мекленбургских озер, маленький, чистый дом, милые люди, все вместе это создавало прекрасную гармонию, лучше которой для Наташи ничего не могло быть.

Наконец-то я мог облегченно вздохнуть.

В конце концов, наступил день моего отъезда. Лони и другие подруги не должны были сопровождать меня на вокзал. Наташа позволила это только моим родителям – в силу обстоятельств.

- Конечно, конечно, я понимаю все, что ты говоришь мне, папочка. Но..., например...

Она судорожно подыскивала слова, чтобы что-то отвечать мне, чтобы иметь возможность продолжать разговор со мной.

- Но, деточка, я уже совершенно здоров. Иначе я вовсе не мог бы работать.

- Ах, дорогой, ты так говоришь только потому, что должен так говорить!

Она покосилась на родителей. – Ты будешь мне писать письма? Скоро? А ты взял с собой мой абажур?

- Естественно, всякий раз, когда у меня будет время. А твой абажур ты же мне сама запаковала. А ты?

- Каждый день! Если бы еще не было этих глупых школьных заданий!

Она сжала кулаки и достала свой носовой платок. При этом у нее выпал какой-то лист.

- Так это же конверт, который я вчера искал! Это ты его у меня стащила?

Она ничего не ответила, подняв ко мне взгляд, просивший о прощении.

- А зачем?

- Потому что я хотела точно знать твой адрес.

- Но ведь я же написал его тебе.

- Оставь, все же, малышке эту радость и уверенность, Федя! – заметил отец. – У нее были добрые намерения, и она как раз хотела действовать наверняка. Ты своей раненой рукой пишешь немного неразборчиво.

- Да, именно так и было, – поспешила добавить девочка и вздохнула с облегчением.

- Но так нельзя делать, – тихо порицала мать.

Между тем мы достигли маленького вокзала и стояли молча, так как все уже было подробно обсуждено, и нам, собственно, больше нечего было говорить друг другу. Но когда подъехал поезд, ребенок схватился за меня и начал плакать в отчаянии. Потом девочка немного приподняла мою голову и поспешно и трепетно перекрестила меня.

- И думай обо мне... какой печальной и покинутой чувствую я себя без тебя! И когда ты вернешься? Как долго я должна тебя ждать? Почему все это должно быть так?

Поезд пришел в движение. Мой отец обнял всхлипывающую Наташу, успокаивал ее. Потом я больше их не видел.

Я едва вступил в служебную квартиру, только успел протянуть жене вахтера руку для приветствия, когда та уже вручила мне телеграмму. Она была от Наташи. Она отправила ее только через один час после моего отъезда, то есть, еще во время школьной перемены.

«Я умру, если ты не приедешь, и снова стану ленивой и небрежной».

Тем же вечером зазвонил телефон: междугородняя телефонная станция. Я сильно испугался, когда услышал название мекленбургского городка, который я как раз покинул. Моей первой мыслью было: мой отец! Но я слышал только какой-то шепот и между ним напоминания с телефонной станции: «Пожалуйста, говорите! Пожалуйста, говорите!»

«Да, я говорю! Но я ничего не слышу!», отвечал я, в то время как шепот становился громче. Два голоса спорили. «Говори! Мне все равно, что ты хочешь, но говори уже!»

- Наташа? – громко спросил я.

- Он ответил! Значит, он нас слышит! Теперь давай!

- Да... Папочка... Это я... Я с Лони на ее молочной ферме. Мы должны говорить совсем тихо. Иначе нас услышат. Тут не знают, что мы звоним.

Она сразу набросилась на меня с кучей вопросов и не хотела расставаться со мной.

Теперь я знал также решение загадки, для чего Наташа хотела использовать подаренные ей господином Нойманном деньги.

Когда от моих родителей пришла открытка с приветом, подписанная всей семьей Бентин, Наташа снизошла только до подписи.

- Ах, этот непослушный ребенок..., – сказал я вслух и улыбнулся самому себе.

V

Моя работа, впервые на чужой фирме, началась очень хорошо.

Ровно в восемь утра я вошел в секретариат дирекции.

- Доброе утро, фрейлейн Фишер, – сказал я и назвал свое имя.

Секретарь, черноволосая, ухоженная дама, осматривала меня дольше обычного, с самоуверенностью служащей, которая подчинена только своему шефу.

- Я договорился с господином коммерции советником Вегенером несколько дней назад.

- Я это знаю. Шеф уже ожидает вас. Он как раз говорит по телефону.

- Я подожду.

В направленном на меня взгляде самонадеянности было уже меньше.

- Откуда вы, кстати, знаете мое имя? При этом она листала папку.

- Портье выдал его мне.

- Вы думали, что это вежливее обращаться к кому-то по имени?

- Конечно. Разве это неправильно, когда уже при введении в должность заботятся о маленькой звездочке на доске секретариата дирекции?

Она скривила губы.

- Я представила ваше заявление на получение этой должности и ваше последнее письмо. Но и то и другое не написано от руки.

- Господин коммерции советник знает, почему.

Она снова скривила губы и вернулась к своей работе. Тут зазвонил телефон. Уже при первых словах она стала неуверенной и перенаправила звонок, но ей не повезло. Управляющего складом, которого она искала, нигде нельзя было найти.

- Вы говорите по-французски? – спросила она теперь несколько взволнованно.

- Да.

Я взял трубку.

Сегодня будет произведено принятие немецких поставок по репарациям союзникам, заявил надменный голос. Контроль прибудет через один час. Затем потребовали технические данные об одном высококачественном измерительном приборе, который работал с точностью до одной десятитысячной части миллиметра.

- Старший лейтенант Жерар. Я прибуду с моими людьми!

- Я буду рад познакомиться с вами!

Молодой человек, примерно 35 лет, высокомерный и элегантный, вошел в секретариат, от него сразу же запахло духами. Он осмотрел нас.

- Это вы только что звонили?

Значит, он подслушивал нас. Я представился.

- Вот видите, – обратился он к фрейлейн Фишер. – Без знаний языка работаешь только вполсилы!

Я ответил за нее: – Речь шла о технических характеристиках измерительного прибора А/IV. Их требовала французская комендатура.

- И откуда вы можете в этом так хорошо разбираться?

- Господин ваш отец любезно предоставил мне эти документы, чтобы я быстрее вошел в курс дела.

- Гм. Ну да, одним больше или одним меньше, это не имеет значения. Он вошел в свою комнату и закрыл дверь.

- Господин шеф лично! – подчеркнула секретарь.

Только теперь она, кажется, успокоилась.

Спустя короткое время открылась противоположная дверь. Коммерции советник Вегенер, маленький, энергичный господин, подошел ко мне и протянул мне руку. Мы уселись в его кабинете.

Он расспрашивал меня как раз о недавнем телефонном разговоре. – Да, этот старший лейтенант Жерар из приемочной комиссии приезжает каждую неделю. Примите его, пожалуйста, установите, как вы справляетесь с ним и...

Я понял его.

- Курите, пожалуйста! Мне, правда, это нельзя из-за моей маленькой стенокардии, но, ну...

Он сделал покорный жест, вдыхал дым с удовольствием, кратко описал ситуацию в оккупированной союзниками Германии и потом его идею расширить экспортный отдел всеми средствами.

Мы составили мой договор, и он отпустил меня с приглашением на обед и словами: – Вы подчинены только мне. Представьтесь господину Шнеллю, начальнику отдела кадров, и другим начальникам отделов.

Господин Шнелль был необходимой правой рукой фирмы, человеком с практически неограниченными обязанностями, маленьким, проворным хитрецом, которому были подчинены также все рассылные, и он управлял ими в хорошем порядке. Я заметил это уже на пути к начальнику отдела кадров.

- Директор Келлер, – рассказывал мне Шнеллер, – это такой типичный рейнландец, который отдаст в залог свою последнюю перину для карнавала, чтобы потом снова экономить на еде ради нее с тем же самым юмором. Он также член нашего производственного совета.

- Ага! Столь долго ожидаемый Вениамин! – встретил меня Келлер. – А вы, дорогой Шнеллер, работаете для него гидом? Не стесняйтесь и садитесь, по крайней мере, на край стула, пока я прочитаю иероглифы нашего шефа. Хо-хо! – прогремел тогда его глубокий, приятный голос, и мясистые руки легли на проект договора. – Накладные расходы на ваше усмотрение, однако, по возможности, подтвержденные документами. Сердечные поздравления! Но тут «маленький шеф» задаст вам несколько трудных задачек. В этом он большой мастер.

- Для этого я тоже как раз здесь, – ответил я с уверенностью.

- И это правильно, маэстро! А вот папка с заявлениями на должность вашего французского секретаря. Я отобрал из них тринадцать для более узкого круга выбора. Счастливое число!

Затем мы через двор пошли к многоэтажному складу машин и товаров, и тут Шнеллер мне быстро шепнул: «Внимание! Приемочная комиссия!».

Молодой французский офицер встретил нас, два сержанта со строгим выражением лица следовали за ним. У него были красивые карие глаза, которые должны были выражать заботы и усталость. По нему было видно, что он рад играть

роль солдата. Они вошли в канцелярию склада. Мы следовали за ними. Несколько служащих уже собрались. С той же самой радостью, с какой отдают приказы, офицер сразу же стал давать свои указания.

- Старший лейтенант Жерар? – спросил я. – Не с вами ли я имел удовольствие разговаривать сегодня по телефону?

Он осматривал меня с шутливой самонадеянностью, небрежно поднял руку для приветствия и элегантно хлыстом постучал по своим черным гетрам.

- Так! Это были вы! Он вытащил жесткие манжеты.

- Могу ли я объяснить вам теперь технические подробности этого измерительного прибора? Я только принесу проспекты.

- Но поторопитесь!

Затем я услышал, как он снова командует: – Почему нет специальной бумаги для упаковки? Гаву!

- Господин старший лейтенант! – явился по его вызову унтер-офицер.

- Смотрите, чтобы ничего не прошло мимо вашего внимания. Обращайте внимание на каждую мелочь!

- Слушаюсь, господин старший лейтенант!

Между ящиками и коробками, древесной шерстью, бумагой и пылью, мы затем склонились над документами.

- Я инженер, – громко сказал Жерар. – Вы можете говорить со мной как со специалистом.

- Это будет частный заказ?

- Почему?

С нетерпеливым ожиданием он осматривал меня со стороны.

Я тихо ответил: – Потому что тогда в счет включаются большие посреднические комиссионные. Я не могу требовать от вас, чтобы вы, господин старший лейтенант, еще дольше оставались в этой пыли. Не лучше ли нам перейти в бюро? Но мы могли бы с удовольствием также пойти выпить кофе.

- Пойдемте, – ответил он грубовато. – Гаву! Я вернусь через полчаса. Следите за всем! Понятно?

Молодой офицер, пока шел, сделал такое лицо, будто я был его арестантом. И, все же, он нравился мне. У меня всегда был такой подход: прояснять любую ситуацию как можно быстрее. Я заказал два кофе с коньяком. – Вот деньги. Мы сразу уходим.

- Хорошо!

То, что я заплатил и за него, не ускользнуло от Жерара, но он ничего не сказал. Он внимательно слушал меня, так как теперь я говорил о комиссионных. При этом наши взгляды встретились снова. Он предложил мне сигареты.

- Хорошо.

Это прозвучало неуверенно в завершение.

- Секретность и честное слово! – ответил я.

Тут черты лица молодого вояки прояснились, превратившись в открытую улыбку, и его рука без промедления легла в мою.

Итак, мы оба были на правильном следе.

В канцелярии склада мы расстались.

Господин Шнелль продолжил свою экскурсию для меня.

На заводе царил тягостная атмосфера. Рабочие места были слишком чисто прибраны, слишком чистыми были высокие окна и двери и покрытый линолеумом пол. Несколько табуреток и монтажных столов были свободны. Чувствовалось, что все это должно было «сдвигаться». Все это описал мне коммерции советник Вегенер. Запланированный экспортный отдел должен был создать здесь облегчение. Коммерческий руководитель Шнайдер, отставной майор, принял меня в своей вместительной стеклянной будке, из которой он мог видеть все бюро, но и его тоже можно было видеть. Мне показалось, что он был как будто в осажденной крепости. Со сконцентрированным выражением лица он отчаянно боролся в своей новой профессии.

- Наш старший шеф просит вас простить его за неожиданное недомогание и просит теперь отобедать вместе со мной в «Хайлигер Гайст».

- Я нахожу это очень любезным, что вы хотите составить мне компанию!

У нас сразу возник контакт друг с другом. Я не ошибся: Мой «комендант крепости», а теперь дипломированный коммерсант, оказался дельным человеком. Молодой Вегенер передал своему прежнему начальнику эту должность после окончания войны, чтобы посвятить себя выполнению «оккупационных заказов».

- Если вам нужна будет моя помощь сегодня во второй половине дня при выборе вашего секретаря, то я охотно предоставляю в ваше распоряжение мои пусть даже и несколько слабые резервы.

Между тем фрейлейн Фишер поручила обставить мой рабочий угол. На столе лежало письмо с рисунком: Камень в доске с четырехлистным листом клевера. Под ним я прочел ее подпись. Я сразу позвонил ей и поблагодарил ее.

Я проверил двенадцать претенденток. Я был пессимистичен! Никто из них не мог обнаружить больше чем хорошие школьные знания французского языка, а этого было слишком мало, чтобы выполнять то, чего требовал мой коммерции советник Вегенер.

Тринадцатая.

Я мельком проглядел ее заявление: Жаннетта Юбер, 18 лет, родилась в Париже в семье швейцарского гражданина Юбера. Французский язык знает в совершенстве. Стенографирует по-немецки и по-французски со скоростью сто восемьдесят слогов. Один год офисной практики. Безработная уже четыре месяца. «Я охотно обещаю очень уважаемой фирме...» Весь порядок написания письма был неудовлетворительным. Ее фотография... ужасна.

Я попросил девушку войти.

Она была среднего роста, очень худая, черноволосая, со стрижкой «под рамочку», которая обрамляла тонкое, бледное лицо, и почти совсем не похожа на фотографию.

И она была очень взволнована.

- Пожалуйста, расскажите мне что-то о Париже!

Я обратился к ней по-французски и еще раз бегло оценил ее почерк: Не бездарна в художественном отношении. Характер добросовестный, откровенный.

- О чем же мне рассказать вам. Что вас интересует, Буа, вероятно? – начала она очень тихо и неуверенно, с намеком на «парижские слова».

Ее заявление было написано правильно и оставалось, все же, каракулями. Невольно я при этом подумал о Наташе и о моих больших, все же до сих пор напрасных стараниях с нею. Я посмотрел на часы. Теперь она будет сидеть за ненавистной ей партией и, по обыкновению, мало уделять внимания учебе. Позвонит ли она мне снова сегодня вечером? Я очень устал, и после ночи, которую я провел без сна и стоя в поезде, мне хотелось лишь теплой комнаты с мягкой кроватью, и я с ужасом думал о второй ночи на ужасном диване у вахтера.

При этом я слушал фрейлейн Юбер.

- Знаете ли вы Париж, месье? Ах, я могла бы так много рассказать вам о нем. Для меня это великолепный, незабываемый город, полный шарма! Жаль, что моим родителям пришлось его покинуть. Но мы все еще очень надеемся...

- Спасибо, фрейлейн Юбер. Мне этого достаточно.

- Я в чем-то ошиблась...?

- О, вовсе нет! Вы настоящая парижанка. Но теперь пишите, пожалуйста.

Я пододвинул к ней блокнот и карандаш, смотрел, как она опустила над ними густо покрасневшую голову. Ее руки стали беспокойными, когда она принимала стенограмму.

- Пожалуйста, прочтите написанное.

- Месье... я обещаю вам, что я буду очень усердно упражняться, – умоляла она, – чтобы удовлетворить ваши требования. Я безработная уже четыре месяца, лишь помогаю своим родителям в письменной работе и в домашнем хозяйстве. Ваше предложение работы пришло так неожиданно. Я была бы так счастлива...

Затем она тихим, немного дрожащим голосом прочла свою стенограмму.

Все-таки она была лучшей из претенденток. У меня не было выбора.

- Но я же могу определенно воспринимать ваше обещание всерьез, фрейлейн Юбер?

- Да, месье!

При этом она упрашивающе положила руку с отполированными ногтями на мою столешницу и склонила набок изящную голову. – Да, месье, – тихо добавила она.

- Хорошо. Тогда я возьму вас на работу на четыре недели испытательного срока. Жалование, которое вы просили, будет вам гарантировано, а после окончания испытательного срока будет довольно существенно увеличено. Я постараюсь этого добиться. Согласны?

Солнечный луч заблудился в ее глазах. В них было изумрудное мерцание. Большая радость была в них видна, и она была настолько сильна, что я из-за этого даже сконфузился и встал.

- Мы прямо сейчас пойдём к начальнику отдела кадров.

Господин Келлер схватил свой тяжелый красный карандаш и обвел им сумму зарплаты и испытательный срок.

- Пожалуйста, завизируйте, – обратился он ко мне. – Теперь ваша очередь, фрейлейн. Так!

Он отодвинул документ в сторону.

- Ну! А теперь кое-что неприятное... – Он похлопал меня по руке. – Не удалось найти для вас ни одной комнаты! Все переполнено французами. Что же нам теперь делать? Ведь вы точно не хотите закончить вашу жизнь на рахитичном диванчике у вахтера.

- Простите... Я... Мои родители могли бы сдать комнату.

- Черт побери, девочка! Это было бы просто здорово! – громко воскликнул господин Келлер.

- Но мои родители уезжают сегодня вечером, в деловую поездку, – она посмотрела на часы. – Уже через час, и они возвратятся как обычно только в конце недели. Вам нужно поторопиться, господин Крёгер!

Келлер заказал для меня заводскую машину.

- Ну, пакуйте все вещи и сразу переезжайте, маэстро!

Во время поездки мы говорили по-французски.

- Это только маленькая комната, но у нее есть очень красивая...

Она вдруг запнулась.

- Так что же в ней есть? – поинтересовался я с сомнительным ожиданием. – В ней есть... французская кровать, – сказала она, наконец, и стала очень смущенной. – Но она очень, очень хорошая, почти новая. Мои родители привезли ее еще из Парижа. Она стоит неиспользуемая. Извините, пожалуйста... Ведь это же важно, когда можно действительно хорошо спать.

- Несомненно! Этому я придаю большое значение! Но сейчас даже особенно большое, потому что предпоследнюю ночь я провел, стоя в поезде, а другую, как вы только что слышали, в полусне на рахитичном и погрызенном молью диване.

– Тогда эта кровать покажется вам по-настоящему райской!

Мы засмеялись, и наши взгляды встретились снова. Внезапно во мне появилось уже давно забытое напряжение.

Когда мы вышли из машины, перед нами лежал маленький сад в вечерней осенней меланхолии, низкая калитка и за ней невыразительный маленький дом. Фрейлейн Юбер уже опередила меня. Водитель шел позади с моим багажом. Мне нужно было сразу добиться решения! Я уже слышал, как девушка на быстром французском языке воодушевленно рассказывает о ее приеме на работу, ее жаловании и обо мне, затем тихо просила. В приемной стояли две сумочки. Несколько образцов ткани, соединенные в книгу, лежали на них.

Господин Юбер принял меня недоверчиво. В его языке еще отчетливо слышались звуки тягучего бернского диалекта, но когда я с применением нескольких слов швейцарского немецкого языка рассказал о моей учебе в интернате в Энгадине, его лицо расплылось в добродушной улыбке. Также его простодушно выглядевшая жена стала более общительной. Они показали мне комнату. Она была маленькой, но чистой. Затем ванную и гостиную в стиле когда-то состоятельных людей. Камень свалился у меня с души.

- Все это оказалось таким неожиданным для нас. Моя жена и я до сих пор не сдавали жилье внаем, так как кто знает, кого именно впускаешь в дом во время оккупации?

Мы уселись за круглым столом. Господин Юбер разглаживал скатерть и подыскивал слова. – Но так быстро не можем принять решение. Меньше чем через час наш поезд отходит.

- Заводской водитель привезет вас на вокзал.

- Ах, это было бы очень приятно нам в такую погоду. Большое спасибо! – ответила госпожа Юбер и двигала плечами, дрожа от холода. – Жаннетта, тогда сделай нам быстро еще черный кофе.

Я настаивал и боролся за себя, как поступает только смертельно уставший человек, который уже на расстоянии вытянутой руки видит перед собой великолепную мягкую кровать, свежие простыни и пуховое одеяло и мысленно уже с удовольствием пробует их.

- Малышка не должна все слышать, – заметил господин Юбер и снова погладил скатерть. – Мы также не должны были всегда оставлять ее в квартире только одну! Но пока иначе не получается.

- Мы очень много потеряли и должны зарабатывать деньги, как следует, чтобы мы могли позволить себе кое-что.

Госпожа Юбер немного наклонилась ко мне. – Жаннетта... Париж... Вы узнаете это, месье, – тихо сказала она. – Сегодня также молодежь в добропорядочных буржуазных кругах другая, чем в наше время. До сих пор малышка держалась. Но... мы, родители, еще далеко не все знаем.

Аромат крепкого мокко доносился к нам. – Не говоря уже о своевременной оплате, вы в моем лице получите самого лучшего квартиросъемщика, который только может быть!

Мы засмеялись.

Жаннетта немного неуверенно подала на стол мокко, опустив взгляд, потом опять робко подняв его в сторону родителей. Ее юное, бледное лицо было напряженным. Госпожа Юбер снова посмотрела на часы и напомнила дочери, чтобы она содержала весь дом в чистоте и порядке.

Когда родители стояли перед машиной, дочь бросилась на шею матери. – Я очень люблю тебя, моя маленькая мама.

Мы видели, как красный задний фонарь поспешно удалялся прочь и терялся вдали. Девушка вбежала в дом. Я последовал за ней. – Боже мой, теперь мы

совсем одни! ... одну неделю! Она посмотрела на меня, лукаво и робко одновременно.

Я приблизился к ней, взял ее за тонкие плечи и улыбался, смотрел ей в глаза и снова был очень сконфужен.

- Собственно, я ведь совсем не знаю вас, месье.

Она говорила тихо, неуверенно, снова опустив взгляд, от которого ничего не ускользало. – И, тем не менее, так прекрасно, что я больше не одна.

- Малышка Жаннетта... Я отпустил ее. – Давай зажжем свет. Уже стемнело.

Она повиновалась, однако, нерешительно стояла передо мной. – Могу я помочь вам обставить вашу комнату? И потом мы вместе пойдем за покупками, купим что-то хорошее, что вы любите.

Она попыталась улыбнуться.

- Теперь все снова хорошо, Жаннетта?

Она облегченно кивнула и разгладила себе волосы.

- Я делаю вам лучшее предложение: сегодня вы пойдете за покупками один, а я пока обставляю вашу комнату.

Она запнулась, побежала на кухню и вернулась с карточками на продукты и с сеткой для покупок.

- Здесь достаточно карточек на хлеб. Теперь его уже дают более полуфунта в день, а мясо больше не нормируемо. Но будьте очень внимательны у мясника, так как говядина стоит пятнадцать, а свинина самое большее двадцать марок за фунт. Боже, какой же вы большой! Но не беда, я уж вас сытно накормлю!

Она подтолкнула меня к двери. – Вы все еще носите пальто! Вот, ваша шляпа!

У двери она тщательно разгладила лацканы моего пальто и добавила: – Я буду ждать вас и все хорошо обставляю. Пожалуйста... не улыбайтесь так, а то я снова буду чувствовать себя такой неуверенной!

Это был холодный ноябрьский вечер. Деревья, кусты и еще иногда выглядывающая из земли трава были покрыты инеем; мой шаг твердо звучал на жесткой земле. Я остановился, чтобы обдумать события этого дня.

Мои мысли были только о Жаннетте.

Однажды мне, вероятно, даже колеблясь, придется попрощаться и с ней!

Когда я открыл дверь в мой новый домашний очаг, приятное тепло встретило меня. В моей спальне занавески были задернуты, кровать застелена, на ней лежало большое пуховое одеяло в пододеяльнике с цветами, а на ночном столике горела маленькая лампа с уютным светом. В воздухе парил аромат французских духов. В ванной на стоячей вешалке висело чистое полотенце, и неподалеку лежал большой кусок хорошего мыла. Какая же она проворная, маленькая Жаннетта, подумал я с неожиданной радостью. Потом я с покупками отправился к ней в кухню.

- Оля-ля, месье! Вот это покупки! Вес нарезки точный? Ростбиф? Мне его быстро зажарить, по-английски? Жареная картошка скоро будет готова. Тогда мы можем сразу поесть. Здесь вечерняя газета, чтобы ожидание не было для вас слишком скучным. Папа тоже не любит ждать, поэтому мне тоже приходится быть такой проворной, иначе мне устроят головомойку. Почему вы улыбаетесь, месье? Могу я узнать?

- Вы так сильно напоминаете мне о Париже, о Колетт. Она тоже так бодро болтала, и у нее была та же самая манера, определенно у нее было что-то, что и у вас.

- Она была красивой?

- Да, и очень очаровательной!

- Черноволосая?

- Нет, брюнетка. Она была мидинеткой и продавала женское белье.

- А она тоже...? – Жаннетта смотрела в другую сторону.

- Очень! Поэтому я тоже думаю о ней. Тогда мы жили поблизости от национальной библиотеки и станции метро Сантье.

- Там также Jardin du Palais Royal, Place l'Opéra, Boulevard des Capucines и Boulevard des Italiens.

- Третья станция метро. Ах, Жаннетта!... Тогда я был очень молод и в голове у меня ничего не было кроме любви, и никаких забот, действительно совсем никаких!

- И она грустила, когда вы ушли от нее?

- Да, немного. Но уже через год она вышла замуж.

- Она написала об этом вам?

- Нет. Я вернулся в Париж, спросил о ней у нашей хозяйки, и таким образом я все узнал.

- О...! – закричала она вдруг. – Наши великолепные бифштексы!

Она быстро сняла сковороду с огня, бросила в нее кусок масла и заметила в деловом тоне: – Но теперь пришло время для еды.

За столом она была маленькой дамой, все же, чем больше она пила красное вино, тем более кокетливым, светящимся становился ее сверкающий зеленоватым цветом взгляд. Однако при этом она оставалась такой, какой была: естественной, непритворной восемнадцатилетней девочкой.

- Monsieur, le café-noir est servi au salon.

Она указала на низкий столик перед диваном.

Я взял ее руку и поднес ее к губам. – Вы так прелестно угостили меня. Я очень благодарен вам. Но кофе же мы будем пить вместе?

- Но, естественно, месье!

Мы сели рядом и пили его глотками. – Вы, как я вижу, точно хотите снять вашу куртку. Сделайте это, как мой папа.

Я отбросил ее небрежно.

- Оля-ля, – засмеялась она и подала мне сигареты и огонь. – У вас прекрасная рубашка и дорогой галстук. Я развяжу его.

Она встала на колени рядом и неспешно развязала узел.

Я притянул ее к себе, погладил ее волосы, поднял ее голову ко мне и осторожно несколько раз поцеловал ее в губы. Сначала она сделала очень большие, удивленные глаза, но потом прижалась ко мне и лежала тихо на моем локте.

- А ведь завтра праздник. Разве это не прекрасно? Давай будем радоваться этому, Жаннетта!

- Да, и мы останемся вместе еще очень долго.

Ее кончики пальцев скользнули по моим глазам. Потом она наклонила мою голову к себе и подарила мне быстрый поцелуй.

Я расстегнул ее платье. Моя рука скользила по ее белому, сверкающему плечу.

Губы искали.

Тут она поднялась, взлохматила мне волосы и страстно прижала свои губы к моим. Внезапно она сорвалась и побежала в свою комнату, дверь которой она рывком захлопнула за собой.

Пальцами я привел в порядок мои волосы, затем налил себе чашку кофе и закурил, сделав несколько затяжек. Медленно я пошел в мою комнату, надел пижаму и с удовлетворением обнаружил кровать.

Тишина еще раннего вечера наполняла комнату. Иногда можно было слышать только шум мерзнущих снаружи деревьев.

Моя дверь открывается. Я поворачиваюсь.

- Жаннетта!

Только на минутку я вижу, как она стоит в прозрачной рубашке.

Она летит навстречу мне и крепко держит меня, подняв лицо ко мне. Нетерпеливо я снимаю ее покров, беру ее в руки.

- Embrasse! – шепчет она. – Je t'aime!

Счастливые и расслабленные мы еще долго лежали в объятиях друг друга, смотрели друг на друга, соприкасались в тихих нежностях, пока мы снова не соскользнули из мощного прилива в освобождающий отлив, а потом опять смотрели друг на друга. Глаза Жаннетты светились ее особенным, зеленоватым блеском, улыбались мне задумчиво из того мира, в котором она, однако, была только одна.

Усталость уносила нас прочь.

Спустя долгое время шепот призвал меня обратно в реальность.

Жаннетта...

Ее рука наощупь искала меня...

В сумеречном свете нового утра я видел ее черную стрижку «под рамочку», светлые линии ее белых плеч. Они склонялись надо мной, касались моего лица, окружали его своим вызывающим теплом.

- Embrasse toujours... Cheri...

Было очень поздно, когда я проснулся. Я увидел за окном дерево, которое с силой гнул ветер. Сбоку от меня как раз выглядывал черный хохолок. Я тихо вышел. В жилой комнате стол остался неприбранным, мясная нарезка высохла и уже немного свернулась, тарелки с остатками нашей трапезы ярко сверкали, и подушки на диване были в беспорядке. Я поставил воду для кофе, выделил себе достаточное время, чтобы помыться, и тщательно оделся. При каждом движении я чувствовал себя свободным от тяжести, которую я ощущал много месяцев. Но радости во мне не было.

Жаннетта проснулась и уютно ворочалась под одеялом, потом она отбросила его и рассматривала свое стройное тело, по которому скользили обе ее руки, левая нога была немного закинута на правую.

- Ты оставляешь меня в одиночестве? Уже встал? Оделся?

Она подкатилась ко мне по всей плоскости, встала на колени на краю и обняла меня. – Я так счастлива, очень, очень счастлива! – произнесла она без жеманства. – Шери...! Ты тоже счастлив?

- Да, Жаннетта.

- А у тебя тоже есть ласкательное имя для меня?

- Да... Пулет! Оно тебе нравится?

Я поцеловал ее в плечо.

(«Poulette» – буквально «курочка», «цыпочка». – прим. перев.)

Она погладила меня по щеке, прижалась ко мне и улыбалась лукаво и еще не-много мечтательно. «И если ты обучишь меня во всем в любви, как ты будешь звать меня тогда?»

«Вероятно... *émeraude miroitante*? В какой-нибудь вариации.

(«*émeraude miroitante*» – приблизительно означает «отсвечивающая изумрудом, мерцающая изумрудным светом» – прим. перев.)

- Это потому что у меня зеленоватые глаза? Ты любишь мои глаза?

- Да.

- А меня тоже?

- Нет. Потому что ты стоишь совершенно голой передо мной и заболеешь.

- Я часто делала это летом, когда меня никто не видел.

- Но сейчас конец ноября и холодно.

- Я хочу сказать тебе кое-что на ушко.

Она обвила мою шею руками и поцеловала.

- Должна ли я иногда... ожидать тебя такой... какая я теперь? Ты будешь рад этому, будешь нетерпеливо спешить ко мне?

- Да, ты должна это делать в любом случае! Но, Пулет, давай сначала позавтракаем. Разве ты не голодна?

- Еще как! – закричала она. – Позже мы продолжим эту тему. Я все точно записала от своих подруг в Париже, какой нужно быть, чтобы тебя всегда любили. Ты однажды сможешь это прочитать.

- С удовольствием прочитаю.

- Ты меня любишь? – снова спросила она. – Тогда сделай же это, Шери!...

Еще долго мы не могли расстаться друг с другом. Когда я позже вошел в кухню, от моей воды для кофе не осталось ни капли.

Прошло несколько месяцев.

У нас с Жаннеттой уже давно были постоянные трудовые соглашения с хорошим жалованием.

Мы поддерживали также действительно хорошую дружбу.

На работе мы были лаконичными и деловыми, так что мы делали все быстро и правильно. Вечерами она была моей нежной любовницей с привкусом сентиментальности и романтики, но вовсе не жеманной или, тем более, капризной. Дома она была дорогим ребенком своих родителей, от которых не ускользнуло ее превращение, хотя они не проронили об этом ни слова.

С ситуацией на фирме я смог разобраться быстро. Коммерции советник Вегенер, который тяжело страдал от неизлечимой стенокардии, больше не держал прочно в своей руке скипетр правления. Он был заинтересован в любом стимуле для расширения экспортного отдела и обычно быстро воплощал все планы в жизнь. Его сыну, ленивому неумехе, всегда требовалось много денег на женщин. Мы избегали друг друга, не в последнюю очередь из-за его тяжелых споров со своим отцом, у которого он оспаривал каждую транзакцию, чтобы получить все в свои руки. У фрейлейн Фишер, секретаря, была не совсем счастливая связь с худым, замкнутым управляющим складом. Оба позволяли себе больше, чем позволяло им их жалование. Сведя воедино все факты, я пришел к выводу, что это трио, каждый в своей сфере деятельности, обкрадывало фирму. Господин Шнайдер оставался успешным «комендантом крепости», который все больше ненавидел свою стеклянную будку, и так как я время от времени мог давать ему совет, мы очень хорошо понимали друг друга. Келлер, начальник отдела кадров, объяснил вскоре, что ввиду прогрессирующей инфляции для нас обоих не было бы «невыгодно» совершить несколько больших сделок «налево». Я свел его со старшим лейтенантом Жераром, у которого тоже никогда не было денег, так как его красивая подруга Шушу ловко обирала его.

Однако родители Жаннетты начинали мне не нравиться, так как они едва ли заботились о девушке, а их продажа тканей частным лицам казалась мне уж очень подозрительной. У обоих было слишком много тайн от нас.

Снова был субботний вечер. Жаннетта уже уехала домой, чтобы заняться своими домашними обязанностями. В эти дни я оставался в бюро дольше обычного, чтобы подготовить нашу работу на следующие дни.

Неожиданно ко мне пришла фрейлейн Фишер. Она была бледна и взволнована.

- У вас найдется сигарета для меня? – выпалила она и неуклюже села на стул.

- Вот, пожалуйста. У вас что-то случилось?

Она сначала сделала несколько затяжек.

- Господин коммерции советник... У него была жуткая сцена с его сыном! Из-за вас! Ведь вы же получили от Старика документы для оккупационных заказов. До сих пор это было полем деятельности младшего.

Она продолжала поспешно курить. – Теперь шеф после нескольких напоминаний быстро забрал эти дела у него с рабочего стола, и тут младший обвинил его в воровстве, потребовал вернуть ему эти документы и немедленно уволить вас. Он покинул дом и фирму. Бедный старый господин упал в обморок. Его увезли на карете скорой помощи. Такое волнение может быть смертельным для него!

Она с шумом выпустила дым. – Я хотела только предостеречь вас, так как если Старик умрет, то нам и еще нескольким другим придется уйти. Это было бы катастрофой при растущей безработице!

Моя короткая благодарность и молчание вызвали ее неуверенность.

- Может быть, вам было бы лучше вернуть этот заказ?

– Может быть. Но мне сначала нужно это обдумать, потому что зарубежная корреспонденция и расширение экспортного отдела далеко не так интересны. А вот переговоры с оккупационными властями, напротив...

- Ах, с ними у вас будут одни только неприятности! Как долго вы еще хотите работать?

Ее беспокойство уступило место наигранному дружелюбию.

- Почти каждую субботу вы всю вторую половину дня сидите в офисе, сказал мне недавно «маленький шеф». Но в субботу люди не любят быть одни. При этом вы тут на хорошем счету у одних и других, собственно, с первого дня.

Она фальшиво рассмеялась.

Тут зазвонил телефон: в трубе зазвучал тихий голос коммерции советника Вегенера.

- Я сейчас не могу говорить! – ответил я коротко и сразу повесил трубку.

Фрейлейн Фишер спасала ситуацию: – Это была «она»?

- Да, но «она» ждет, тем не менее, охотно и терпеливо.

- Я действительно хотела бы однажды увидеть эту девушку!

Но так как я ничего ей на это не ответил, она потушила сигарету и добавила с улыбкой: – Какой же вы, все-таки, замкнутый человек. Конечно, об этом не говорят, но также и кое о чем ином вы тоже никогда не высказываетесь.

Она подала мне руку, которая дольше обычного оставалась в моей руке, пожелала мне хорошего вечера и ушла.

Я позвонил Вегенеру на его виллу и объяснил инцидент шефу. Уже вскоре после этого я сидел напротив больного человека.

- Я едва ли могу что-то обдумывать, так сильно взволновала меня эта сцена с моим сыном.

Только через некоторое время он продолжил говорить и закончил словами: – Я должен, к сожалению, дать вам одно поручение, которое и мне самому кажется более чем неприятным. Ваши действия я полностью прикрою в любом отношении! Но это очень срочно!

Сразу же в понедельник я с Жаннеттой и огромной кучей документов занял две гостеприимные комнаты в деревне в одиноко лежащей гостинице «Золотая кружка». Спустя почти три недели я представил шефу мой отчет.

Его сын завышал цены предложений оккупационным властям в сравнении со всеми поставками в Германию и за рубеж примерно на 20 % и делил эту разницу с управляющим складом. Кроме того, он неоднократно также крал деньги из кассы склада, пока фрейлейн Фишер постоянно шпионила за шефом, за что ее вознаграждали хорошими чаевыми. Также оба продавали товары, не выписывая на них счета. Некоторые суммы передавались в руки «сепаратистов», руководимого Францией движения, которое стремилось к государственно-политическому отделению такого весьма важного Рейнланда от Германии и перехода его к Франции. Вследствие этого младший надеялся, что в будущем он получит большие преимущества.

- Теперь вопрос лишь в том, господин коммерции советник, можно ли установить общую сумму растрат также со склада и из кассы склада и разрешено ли будет это сделать... Эта работа потребовала бы несколько недель, так как в картотеку занесено более четырех тысяч отдельных партий.

Старый господин откинулся назад на подушки.

- Мой сын, – прошептал он. – Ведь я же не могу донести властям на моего собственного сына, а управляющий складом будет шантажировать меня, даже если я просто отпущу его. Если об этом узнают французы! Такие делишки подлежат самому тяжелому наказанию. Есть только один выход – ужесточить контроль.

Рука с широким обручальным кольцом тяжело легла ему на глаза. Его жена подошла и умоляла его, чтобы он успокоился.

Жаннетта и я получили два месячных жалования дополнительно в качестве вознаграждения.

Темные, тихие, с угасшими огнями лежали несколько промышленных заводов, мимо которых я проходил. Бесперспективность политического и экономического положения снова беспокоила меня, даже если я в своей профессии ощущал ее меньше, чем некоторые другие.

Раньше я так легко находил удовольствие и удовлетворение, думал я. Теперь я больше не мог. Или на темном фоне меланхолии должно было остаться что-то светлое?

Все же, у меня была Жаннетта! Она была незаслуженным счастьем ставшей теперь такой маленькой жизни. Жаннетта... Она будет ждать меня.

Я возьму ее с собой, куда-нибудь. Также в Берлин, и она должна будет поехать со мной, она должна, так как она принадлежит к тем редким девушкам, которые могут дать все то, что не оставляет неисполненных желаний даже у самого избалованного мужчины.

Когда я позже вошел в жилую комнату, ужин уже стоял на столе. Жаннетта сидела в кресле и шила. У нее не было швейной машинки, и она делала весь свой гардероб вручную, стежок за стежком. Я всегда любовался ее сноровкой и элегантностью ее идей.

Она сшила себе ночную сорочку и сразу показала ее мне. – Для меня, маленькой Пулет?

- Для кого же еще, Шери. Ты дашь мне за это поцелуй?

Она ответила на мою ласку.

- Посмотри только на эти глупые узлы! Я все еще не умею делать их правильно! При этом во всем остальном я не такая уж неловкая!

Я положил ей на стол много миллионных купюр ее дополнительного жалования за два месяца, к ним еще коробку конфет с вишневым ликером и три хризантемы. Я показал ей также мои деньги. Она была счастлива и преданно целовала меня.

- Ты такой тихий сегодня вечером. Грустный?

Я покачал головой. – Только немного задумчивый.

- И из-за чего же? – при этом она нежно посмотрела на меня и засунула мне шоколадную конфету в рот.

- Как это иногда бывает. Собственно, без причины!

- Тем хуже. Тогда я ни в коем случае не могу оставить тебя сегодня вечером в одиночестве.

Позже она уселась, надув губы, на краю моей кровати, как будто она замерзла. Я затянул ее под мое одеяло и лег к ней.

- Сегодня я хочу быть очень нежной с тобой, потому что ты так печален, Шери, – шептала она и дарила мне быстрые, легкие поцелуи. Когда потом ей, как обычно, захотелось пить, и я принес ей кофе, я позволил ей встать, принес три хризантемы и прижал их к ее нежному телу.

- Из этого ты должна сделать комплекты из трех частей!

- Из цветов?

- Да, но из искусственных или какого-то другого подходящего материала. Это могут быть также совсем маленькие, нежные бабочки, безобразные пауки, ужасные пестрые жуки, трудно определяемые, светящиеся камни в любой только мыслимой форме.

- Только дай мне снова заползти под одеяло. Так! Теперь ты ползи ко мне. А вот теперь мы точно все обдумаем. Какие, однако, идеи рождаются у тебя по ночам!

Неподвижно лежала она в моих руках и слушала меня как какого-то банального сказочника. Уже в ближайшие дни она начала посещать вечерние курсы кройки и шитья, и мы радостно и с самой большой уверенностью складывали наши деньги на швейную машинку.

Когда коммерции советник Вегенер предоставил мне обработку оккупационных заказов, мой план состоял в том, чтобы подыскать в больших городах представителей, работающих за комиссионные, которые должны были стать посредниками для получения заказов для завода. Я сразу установил эти связи, также с оккупационными властями союзников.

Старший лейтенант Марсель Жерар, «офицер по приемке», часто приезжал с обоими своими сержантами. Все трое были техниками, так что приемка станков и инструментов всякого рода происходила безупречно.

- Когда вы открываете ваше портмоне, мне всегда приходится зевать, – однажды сказал я ему.

- Потому что эта штука так широко раскрывает свою пустую пасть?

Мы засмеялись.

Он был подходящим для меня человеком, и так как мы были знакомы уже некоторое время, он принял мое «частное» приглашение на ужин как естественное, не в последнюю очередь также потому, что его подруга могла прийти вместе с ним. Вследствие этого наша встреча полностью утратила какой-либо официальный характер.

- А вы, месье, придете один? – спросил он с любопытством. Я весело покачал головой.

- Даже парижанка? Красивая? Оля-ля! Очаровательно! Вы даже не должны скрывать от меня что-то в этом роде.

Он поднял воротник своего пальто. Его глаза снова выражали усталость.

Я проинструктировал Жаннетту соответственным образом: она должна была представить француженке свои модели.

Шушу, подруга Жерара, была так же прекрасна, как и настойчива в своих требованиях к влюбленному бедному Марселю, и так как у него не было никаких тайн от нее, так же как ее пикантное декольте едва ли что-то могло скрыть от нас, нам было легко привлечь его к моему проекту. Частный заказ на большую измерительную машину был тогда уже безупречно выполнен, и тем самым он заработал себе большие комиссионные.

Мы сидели в одной из расположенных несколько в стороне ниш и под влиянием красного вина обе девушки скоро уже болтали как веселый водопад. Жерар

увивался вокруг Жаннетты, в то время как Шушу позволяла мне еще глубже взглянуть в ее декольте, при этом делала прекрасные глаза и шептала: – Я мечтаю о мужчинах с седыми висками. Они очень ценят нежности. Женщина при всех трюках чувствует себя уверенной с ними.

- Вы так очаровательны, Шушу!

- О, я это знаю, месье, и не умею обходиться с этим неловко.

Жаннетта легко ударила меня ногой под столом, хотя она сама благовоспитанно слушала комплименты француза. – У меня есть кое-что для вас, Шушу, для «rendez-vous dans la nuit»! Что-то в настоящей французской манере, пленительная, маленькая, грациозная мечта.

- Оля-ля! Для «ночного свидания»? Что же это такое? Вы страшно возбудили мое любопытство!

Я пододвинул ей маленькую картонную коробочку, которую она открыла нетерпеливо.

- Ночная сорочка. Но как утонченно сделано! Отделка вышивкой, с открытой спиной и очень прозрачная?

- Разве это не ночная сорочка своеобразной элегантности?

Она разложила ее у себя на коленях. Ее глаза сияли.

- Я покупаю это!

- А что все же это такое?

Жерар осторожно вынул состоящий из трех частей комплект и рассматривал его на своей ладони. – Три паука? Шушу, mon amour, с пауками я сразу покупаю!

Он стал очень беспокойным. – И к этому еще вот эту ночную сорочку, mon cher ami, – добавила девушка соблазнительным, поющим голосом.

- Сколько же это стоит? – спросил он тихо и неуверенно.

Я тут же назвал цены, но перенес их, однако, на состояние французского франка.

- Вы узнаете ручную работу по этим особенным, маленьким узелкам.

- Я вижу это сразу, месье! И это...? А вот это...? Мягкий, тонкий тюль... Трусики с маленькими черными розочками. На талии держатся только лентой. Удивительные и утонченные. Марсель, mon garçon...

- Шушу, я прошу тебя, мое сокровище, я определенно куплю это тебе в другой раз.

Я немного склонился к Шушу и прошептал: – Продайте кое-что из этого или также несколько комплектов и ночных сорочек! Вы сами можете определить заработок, в соответствии с вашей клиентурой, с настроениями каждой дамы, секретность, – сказал я еще тише, – как и между Марселем и мной во всех делах.

- Это так очаровательно, месье! – ответила она воодушевленно и схватила мою руку.

Первая сделка была превосходной.

Жерар на своей машине отвез нас домой.

- Что это там шептала Шушу тебе на ухо? – спросила Жаннетта, на этот раз не проскальзывая ко мне под одеяло. – Я ревнива!

- Но Пулет! Девочка в порядке!

- А я нет?

- Но естественно и еще больше! Она продаст все для тебя.

- Я больше не хочу называться Пулет. Я уже давно не такая. Сегодня, однако, ты удивишься!

Она произнесла это с настолько серьезной энергией, что мы оба рассмеялись над этим от души.

Проходили неделя за неделей. Мы были удачливы и успешны, и расширяли наши круги все дальше и дальше.

Однажды из-за специального заказа мне нужно было провести переговоры с одной фирмой в Штеттине. Я попросил у коммерции советника Вегенера двухдневный отпуск сразу после командировки.

Неожиданно я стоял перед школой Наташи. Большинство девочек и мальчиков уже болтали перед входом как воробьи. Наташа вышла с Лони, толстый портфель под рукой. Я сразу подошел к ним, так что ей пришлось внезапно поднять голову.

Взгляд ее посветлел, темные глаза расширились, грудь поднялась в быстром, глубоком вдохе, портфель с шумом упал вниз. Наташа уже бросилась мне на шею, покрыла мое лицо поспешными поцелуями и прижала меня к себе. При этом полшколы окружали нас.

- Папочка! Папочка! – шептала она взволнованно. – Ведь этого же не может быть! Ты здесь? Ты же теперь останешься со мной? Да, не так ли? Я сдержала свое обещание, училась и училась, – и она добавила по-немецки: – так, что кожа трещала.

- Деточка... Теперь пойдем!

Я взял ее за руку. – Давай пойдем домой.

- Наташа, твой портфель! – Лони спешила к нам и вместе с ней другие одноклассницы и мальчишки. Ее взгляд прокрался ко мне, как раньше.

- Да брось его! – объявила Наташа милостиво. – Теперь я, вероятно, больше не пойду в школу.

Но Лони, тем не менее, засунула мне портфель под руку и снова восторженно посмотрела на меня.

- Эй, ты! Поосторожнее с его больной рукой! Портфель слишком тяжелый! – упрекнула ее Наташа и остановилась. – Кто все же понесет его мне до дома?

- Я! Наташа, я! Нет, я! – кричали мальчики и пытались отобрать друг у друга старый, изношенный портфель. При этом книги выпали на тротуар, одна тетрадка упала в лужу, а деревянный пенал для перьев в сточную канаву. В то же мгновение мы все уже не знали, смеяться нам над этим или прийти в ужас. Так как, однако, мальчишки воодушевленно шумели, мы также участвовали в хоре. После того, как принадлежности прошли через несколько рук и были вытерты о несколько мальчишеских штанов, они быстро стали чистыми. С веселой болтовней мы добрались до дома семьи Бентин. Послеполуденный кофе стоял на столе. – Когда ты приезжаешь, Федя, тогда здесь всегда оживление! – с этими словами мой отец встретил меня, тогда как мать, наблюдавшая за этим маленьким

инцидентом с помощью зеркальца на окне, только покачала головой и произнесла: – Все прекрасно и хорошо, но только хорошенько вымойте руки.

Да, нам было много о чем рассказать, и когда мать напомнила Наташе о ее школьных заданиях, то мы трое обменялись взглядами и засмеялись. Эта обязанность показалась нам сейчас совсем неважной.

- Мы прямо сейчас пойдем к господину Рупнову и попросим его, чтобы он освободил меня на завтра от занятий, – объявила Наташа, и ее взгляд умолял моего отца о содействии.

- Да, мой дорогой ребенок, мы сделаем так в любом случае. Я поговорю с твоим учителем.

- Скажи, Федя, как долго ты останешься у нас?

- Завтра мне нужно снова уехать с ночным скорым поездом.

- А когда ты возьмешь меня с собой?

- Когда ты закончишь школу. Ты же знаешь это. Ведь это будет уже скоро. И разве ты мне не писала, что ты очень счастлива с девочками и мальчиками?

- Ах да, это правда..., но мне так сильно тебя не хватает! Когда я сажусь писать тебе письмо, то моя первая мысль только лишь...

Мы ждали, но она упрямо молчала.

- Ярость! Ярость! Ярость! Я знаю ее у тебя.

- Да, и очень печальной я буду всегда.

- Ну, теперь нам троим пора идти.

Мой отец поднялся.

Я пошел с матерью в мою комнату, чтобы оставить свои вещи. Но когда мы были снова в гостиной, мой старый господин со злой улыбкой сказал, что он лучше останется дома.

Наташа быстро оттащила меня.

- Я убедил твоего папу, чтобы он оставался дома. Ведь я хочу несколько часов побыть только с одним тобой, папочка. Ах, это так бесконечно много, что я должна рассказать тебе, что я даже не знаю, с чего мне начать.

Старший учитель Рупнов принял нас в своем уютно обогретом, прокуренном кабинете. Он сидел у печи и проверял стопку школьных тетрадей. Рядом с ним лежала, свернувшись в клубок, кошка.

- На один целый день я должен освободить Наташу?

Он пару раз затянулся из своей старой трубки и отложил ее в сторону.

- Завтра у нас диктант по немецкому языку, а по арифметике я хотел повторить письменно все то, что мы прошли в прошлом месяце. Оба предмета – это не совсем конек Наташи, – заметил он, – даже если сейчас она уже учится существенно лучше. Но примерно одну неделю назад, она поставила рекорд: двадцать шесть ошибок в диктанте на две странички! Это значит, что ошибок там было почти больше, чем слов! Невероятно! Непонятно! Все же, в конце этого диктанта, я вообще не мог поверить своим глазам, там стояла... Как вы думаете, что?

- Не точка?

- Запятая! Запятая! О чем только думает такая девочка?

Учитель лишь медленно смог успокоиться. Его выдавшая виды маленькая трубка горела снова, и дым табака-самосада устремился к нам.

- Но сделайте, все же, пожалуйста, исключение, господин старший учитель, тем не менее, просил я. – Завтра вечером я снова уеду. Наташа определенно догонит все. Я также попрошу мою мать об этом.

- Ну, ладно, мой дорогой, тогда пусть будет так! – наконец, сказал он. – Тогда вы все же сможете немного остаться вместе и немножко поболтать. Но только вам, как земляку, я уступил. До свиданья!

Он дал нам руку, мы поблагодарили, и ушли как две мокрые курицы.

Наташа повела меня к озеру. Она была уверена, что там мы никого не встретим. Резкий ветер создавал барашки на поверхности воды. Камыш шумел и сильно гнулся вниз.

- Ты достаточно тепло оделась? – спросил я озабоченно после долгого молчания. Я открыл воротник пальто Наташи и втолкнул внутрь обе ее черные косы. При этом она положила свою щеку на мою руку и улыбалась задумчиво. – Ты должна всегда думать об этом, снова и снова, душенька!

- Да, потому что я раньше болела. Йорг, мальчик из моего класса, умер в декабре от воспаления легких. С ним это случилось так быстро, и вся школа пришла на его похороны.

- Вот видишь, как это важно? Мои родители помнят об этом?

- Всегда, всегда!

Мы шли дальше.

- Я очень люблю твоего папу, и я так охотно целую его. Ведь у него твое лицо и твои синие глаза. И мне лучше всего учиться с ним. Мы садимся близко, он тогда всегда кладет свою руку мне на плечо, и если я что-то пишу или читаю неправильно, то он нажимает мне на плечо, но ничего не говорит. Он очень умный и добрый. Твоя мать со мной строга. Она знает все мои стихотворения наизусть гораздо раньше, чем я. Но как быстро она решает наши задачки по математике! Я часто занимаюсь с Лони, как ты этого хотел. Твой отец иногда говорит во время трапезы: «Что же там теперь делает наш Федя? Он уже давно ничего нам не писал». «Примерно десять дней назад, он, конечно, очень занят», так обычно отвечает твоя мать. «Да? Тогда это мне кажется таким долгим. Время, так оно проходит. Как долго я, все же, должен еще сидеть здесь бездеятельно и ждать?» Это он говорит себе под нос так печально и молчит, потом встает из-за стола и уходит... иногда также из дома и в большинстве случаев к этому озеру. Я никогда не осмеливаюсь сопровождать его. Вечные задания ждут опять меня. Тогда я ненавижу их, школу, учителей и иногда даже... твою мать, папочка. Она как часы. Она тикает одинаково каждый день.

- Да...

- Наш Коко опять написал мне. Он едет в Париж. Там он хочет учиться танцевать.

- Даже так?

- Я очень люблю играть с детьми, – продолжила она после более долгого молчания. – Особенно с мальчиками, так как они не такие ревнивые и привередли-

вые, как девочки, но зато, правда, неуклюжие. Мне иногда больно, когда они дергают меня за косы.

- Ты хоть раз танцевала снова?

- Ах, папочка! Они понимают в этом меньше, чем ничего, так говорил мне также твой папа. Они здесь такие медлительные, в большинстве случаев только прыгают свою польку, раз, два, три, и раз, два, три, и поют при этом:

«Wenn hier 'n Pott mit Bohnen steiht

Und dor 'n Pott mit Bri,

Dann lat ick Bri und Bohnen stahn

Und danz mit min Marie.

Wenn min Marie nich danzen kann,

So het se schewe Been.

Dann treckt si sick een Sleppekleed an,

Dann is dat nich tau sehn».

Мы засмеялись тихо и фальшиво.

- Тебе, пожалуй, очень этого не хватает?

- Тебя, очень, очень! Танцы?... Но когда же мне учить их? Танцам учат в специальной школе, по много часов в день, или я должна была бы делать это так, как этого хотел господин Морозов.

- Но мне из-за этого так грустно, моя малышка.

- Папочка... дорогой, добрый, золотой мой!

Она повернула мою голову в сторону.

- Пожалуйста, посмотри на озеро и очень долго, пока я не скажу тебе: «Так!». Я хочу признаться тебе кое в чем. Я думала об этом почти день и ночь, даже в

школе на этом диктante. Позже из-за многих грубых ошибок главный учитель ругал меня, но я все равно думала при этом, все же, снова только о тебе и все время одно и то же.

- Это было так важно? – спросил я и сразу повернулся. Взгляд ребенка, его грусть, растрогали меня, как всегда. – Но, милая, так плохо?

Она поспешно кивнула. – Ты еще не должен смотреть на меня! Ты слышишь?

Она уткнулась лицом в мое плечо.

- Но как же одна единственная мысль может так сильно занимать тебя?

- Теперь смотри мне в глаза, – приказала она. – А теперь скажи мне: если бы я зарабатывала деньги с помощью танцев, как в Лезене, и еще больше, гораздо больше, то ... ты остался бы тогда со мной, дорогой?

- Откуда у тебя вообще взялась эта идея?

- Меня так сильно мучит, что ты должен работать с твоей больной рукой. Я ведь так часто перевязывала ее. Но ведь тогда тебе больше не нужно будет работать!

- Так нельзя, моя малышка. Только слабаки позволяют, чтобы за них платила, чтобы их кормила девушка, женщина. Но на это я могу дать тебе точный ответ. Хорошее обучение танцам стоит очень дорого; а плохое не приносит никакой пользы. У меня нет денег, и кто знает, заработаю ли я их, если мы должны сегодня платить за коробок спичек один миллион, а завтра за него же уже два миллиона.

- Но как это получается, что все дорожает так быстро?

- Дитя мое...

Я, все же, не смог бы так быстро объяснить ей про инфляцию.

- Тогда я дам тебе мои 1250 франков из Швейцарии.

- Наташа, до сегодняшнего дня ты не была усердной ни в какой работе. И ты думаешь, что сможешь упорно выдерживать занятия танцами неделю за неделей, месяц за месяцем? И если ты даже после этого не будешь стоять выше среднего уровня, то для тебя это станет только вечным голодным прозябанием. Ведь ты же не хочешь этого! Но вот моя рука. Теперь ты тоже дай свою руку.

Так! Мы оба договариваемся так: я экономлю, где я только могу, чтобы позже дать тебе возможность учиться балету. Но и ты быстро закончишь школу, так как с обоими занятиями: по-настоящему учиться танцевать и усердно заниматься в школе, ты не сможешь справиться, моя девочка, да это было бы также слишком тяжело для тебя.

- Но почему же сначала закончить школу?

- Если ты с помощью танцев будешь зарабатывать слишком мало, то тебе придется избрать себе другую профессию.

- Но какую? Я неловка во всем. И потом мне надо будет еще пройти три года ученичества, – сказала она плаксиво.

- Ты, похоже, уже спрашивала об этом?

- Да, я говорила об этом с твоим папой, и он говорил мне точно то же самое, что и ты.

- Ну, вот видишь!

- Папочка! Я клянусь тебе, что я буду очень серьезно относиться к занятиям танцами, в противном случае ты можешь бить меня, и я никогда не буду жаловаться! Меня не пугает, когда ты строг ко мне. Мой отец тоже был строг. У него во время занятий даже была маленькая палка. Все учителя танцев делают это.

- Ну, хорошо, значит, мы договорились?

Она кивнула с глубокой серьезностью и вздохнула. Мы пошли дальше.

- Где теперь могут быть мои родители? То, что также моя мать ушла от меня... ты знаешь...

Она сказала это себе под нос, но сразу схватилась за мою руку.

Так мы шли рядом.

- Спасибо тебе, Наташа, за твои короткие, но очень дорогие письма.

- Они тебе нравятся? Твоя мать ничего не знает о них. Потому что в них есть ошибки. Я пишу только по ночам.

- Они всегда такие печальные, милая.

- Потому что я сама такая печальная, иногда даже во время игры. Тогда я сразу ухожу домой, плачу в моей комнате, и, если кто-то замечает это, я становлюсь упрямой и говорю, что это все просто из-за того, что мне слишком много задают уроков. Да, только представь себе, Лони пишет любовные письма мужчине, которого она вовсе не знает, который даже не существует. Ведь это же смешно! То, что между нами, это что-то совсем другое!

- Да, именно, – ответил я неуверенно.

Рука в руке мы вернулись домой.

Было девять часов вечера, когда моя мать с поднятыми бровями подняла указательный палец и со значением кашлянула. Наташа сразу покраснела. Быстрый, умоляющий взгляд в сторону моего отца. Он улыбнулся, затащил свою длинную сигару и тогда заметил: – Дай ей в виде исключения еще полчаса, мать!

Девочка сияла. – О! Вы мой ангел-хранитель, дядя Крёгер! Большое спасибо!

Когда и это время прошло, Наташа пару раз напрасно сопела, но потом, все же, поднялась. Она прислонилась ко мне, и после быстрого взгляда в сторону матери она сказала неуверенно: – Собственно, я должна была бы сказать тебе еще кое-что важное.

- Ну, поднимайся, Федя, малышка так мало видит тебя. Она и с нами говорит только о тебе. Тебя ей очень сильно не хватает.

- Даже если она пишет мне так редко?

- Об этом нельзя писать, мой дорогой мальчик. Я тоже этого не делаю.

Когда я вошел в светлую девичью комнату Наташи, она как раз что-то прятала под одеялом. Я увидел сразу: у нее были красные, подкрашенные губы. Взгляд ее пылал. Я сел на край ее кровати и протянул ей открытую ладонь. – Дай мне свою губную помаду!

Она, помедлив, повиновалась.

- О! Ты все видишь!

Я снял крышечку и увидел там лишь маленький остаток губной помады.

- Ты точно получила его от Лони. Сегодня у нее тоже были чуть более красные губы.

- Это рекламная помада. Мы ответили на объявление в газете. При этом мы перехватили почтальона. Раньше мы всегда немного прикусывали губы, от этого они становились красными и красивыми. Этот остаток, я сохранила себе для сегодняшнего вечера, для тебя.

Я посмотрел в сторону и вынужден был улыбнуться. На столе я обнаружил ее тетради и книги, переплеты которых выглядели не совсем аккуратными.

- Злишься? Нет? Ну, тогда хорошо!

Она сложила руки. – Я так хотела бы подкрашиваться для тебя и вообще всегда быть красивой, чтобы ты думал обо мне!

- Я и так думаю о тебе, деточка, даже иногда во время работы. Даже если ты больше не звонишь мне.

- Я тоже! На уроках! Я считаю это великолепным!

Она сидела прямо в кровати. Обе косы она обвила себе вокруг головы как венок. Тонкая красная ленточка ее выреза была связана в бантик, широкие рукава белой ночной сорочки были закатаны почти до плеч. Но на юных губах лежала маленькая улыбка, которая теперь мучительно касалась меня, так как была чужда мне, и так как она придавала ее губам ту линию, которая намекала, что Наташа не могла вечно оставаться ребенком. Она энергично поднималась над рядом сверкающих белых зубов и придавала ее лицу нотку экзотического шарма.

Это будет лицом девушки, подумал я обеспокоенно, которое привлекает к себе взгляды мужчин.

Вероятно, когда-то также меня?

Нет!

Даже к Жаннетте я мог чувствовать только заботливое расположение.

- Папочка... ну, скажи же мне что-то ласковое, о чем я могла бы думать потом. Несколько минут сегодня вечером... короткая радость, и тогда снова все будет в мрачных тонах, как это было. Кого же мне просить об этом, если только не тебя? В этом я так бедна, как едва ли какая-то другая девочка. Ведь ты это знаешь. Поэтому тоже я хотела быть красивой для тебя. Все же, все любят красоту и хотят сохранить ее. Но особенно я так сильно тоскую по дорогим, тихим словам, когда я остаюсь вечером один. Знаешь... тогда я говорю с тобой, все, что я

хочу, и так долго, сколько захочу... Тогда я всегда думаю, что вижу тебя сидящим на краю моей кровати. И ты всегда терпеливо слушаешь меня, не возражаешь мне и не злишься.

Она печально улыбнулась, притянула меня к себе и осторожно прижала мою голову к широкой подушке.

- Будь, все же, со мной снова таким, как в Лезене! Разве тебе это не нравится? Скажи же мне что-то ласковое, пожалуйста! С твоей матерью я не могу говорить об этом, так как она, ты знаешь, как часы, а у твоего папы, похоже, появляются слезы на глазах, когда он прижимает меня к себе. Мы оба всегда печальны, даже когда мы говорим... иногда даже, когда мы смеемся...

Она скользнула под одеяло, и теперь мы лежали плотно бок о бок. Она положила сверху свою руку. Ее кожа была нежна, когда она скользила по моей щеке.

- Скажи, почему я такая? – тихо спросила она. – Каждый вечер я даю тебе новые имена. Иногда они даже глупые и злые, вот только... слово «папочка» больше не вылетает из моих губ.

- Милая, – сказал я очень неуверенно.

- И я на самом деле твоя милая?

Я кивнул.

- Только закрой свои глазки, моя малышка!

Она вздохнула, кивнула мне доверительно и печально, и коснулась губами моих щек. Она прижалась к моей руке и лежала теперь тихо.

Я гладил ее голову, щеки, ее немного поднятый ко мне, по-детски открытый рот, ставшие тяжелыми веки, которые медленно начинали закрываться.

Вдруг она подняла взгляд. Он был темен и серьезен, потом грустный и с мимолетной тенью счастья.

- У нас есть только мы одни. Другие так далеки от нас. Ты тоже чувствуешь это?

Между ее бровями возникла глубокая складка. – Разве одиночество вовсе не причиняет тебе боль... дорогой?

Она обвила меня своими руками, ее взгляд искал и упорно остановился на моем рте. Так же внезапно она бросилась назад на подушки, скрыла свое лицо и заплакала.

- Это было одним из слов... Теперь ты знаешь все, все!

- Я пробовал улыбаться как уравновешенный мудрец, как будто бы речь шла лишь об очень безвредном слове.

- Ну, скажи же мне: разве это одиночество не причиняет тебе боль, дорогой? – спросила она с новой настойчивостью.

- Даже если я с тобой?

Она кивнула едва заметно. – Тогда не так сильно.

- Мы не должны были говорить об этом, Наташа!

- Почему нет, если это правда?

- Я объясню это тебе в другой раз, моя малышка. Наша жизнь была слишком тяжелой. Ну, все, закрывай свои дорогие глазки! Завтра мы целый день будем вместе и тогда скоро, очень скоро на долгое, долгое время.

Она повиновалась с нерешительной радостью. Я тихо уговаривал ее.

- Теперь ты снова стал милым волшебником.

Вскоре она заснула.

Мой отец был в жилой комнате. Он ждал меня один. Я сразу ответил на его немой вопрос:

- У Наташи есть только совсем... маленький кусочек жизни, отец.

- Да, мой мальчик! Никогда не забывай оберегать его!

Следующим вечером Наташа стояла на вокзале, как застывшая, и когда подошел поезд маленькой узкоколейки, она перекрестила меня так поспешно, как будто я неизбежно уйду от нее. Она даже не могла махать.

Как неохотно покидал я вагончик маленького поезда и спокойствие тех людей, которые жили в стороне от часто действительно низменных страстей на оккупи-

рованной территории. Когда я потом стоял на полутемном вокзале в ожидании моего ночного скорого поезда, я вспоминал о Лезене, о швейцарских горах, их сверкании на солнце ранним утром, их угасании в приближающихся сумерках, когда я лежал с Наташей на нашей веранде и смотрел на эту великолепную игру красок.

В зале ожидания было почти так же холодно, как снаружи. Пахло немытыми людьми и холодным табачным дымом. Время ползло медленно, пока нам, наконец, не объявили о прибытии поезда. Вытянувшись на мягком сиденье, я подумал тогда о Наташе, о ее словах, о моих родителях, и я чувствовал и знал, что все там действительно требовало какого-то решения, которое должно было быть принято уже скоро, даже очень скоро.

Но как смог бы я добиться профессиональной уверенности в стране, где царила хаотичная неразбериха? Жаннетта... Я забывался в ее руках и ее ласках, чтобы больше не думать, не размышлять снова и снова, чтобы, возможно, спасти в себе еще что-то, чего, собственно, вовсе не было, немного любви к ней. Девушка чувствовала это. Но она никогда об этом не говорила. Удастся ли мне когда-нибудь заполнить хоть немного внутреннюю пустоту?

Люди, для которых мы – опора, дают ли и они нам опору в жизни?

Когда я вошел в нашу стеклянную будку, наманикюренные пальцы Жаннетты летали над клавишами пишущей машинки. Я стал за ее стулом и положил ей руку на плечо. Девушка остановилась и откинула голову назад. – Шери, целая неделя без тебя!

- Пулет!

Я сразу пришел к старшему шефу, чтобы доложить о результатах командировки. Он плохо себя чувствовал, но старался следить за моими комментариями. Целый день я спешно бегал из одного отдела в другой, также на завод, пока все подробности не были определены, и после этого большой заказ мог считаться гарантированным. Только к вечеру заводской шофер привез меня домой. Во время поездки я снова думал о Наташе. Я видел ее и слышал ее слова.

У нее было страстное желание. Как и у меня.

Однако я видел в Германии, с одной стороны, слепую, безоговорочную ненависть, которая разрывала и разрушала все, в то время как на другой стороне политически так же безоговорочно и бездумно все принималось. Полный гнева,

я думал о моем будущем, о будущем маленького человека на улице, о нашей маленькой жизни!

Когда я вошел в квартиру, Жаннетта стояла в моей спальне перед высоким зеркалом. Она критически осматривала новую черную ночную сорочку из прозрачного шелка, которая открывала ее затылок. При этом она немного вертелась. – Жаннетта!

Она обернулась. – Ах! Как же я испугалась!

При этом она сжала свои плечи.

Я уже держал ее в руках.

- Нет! Нет! – она защищалась.

- Почему нет?

Я бросил ее на кровать и свободно выразил желание моего сердца суровым голосом:

- Тише! Тише! Я хочу быть счастливым... только на несколько мгновений счастлив с тобой.

Ее зеленоватые фосфоресцирующие глаза расширились. Мучительное выражение появилось на ее бледном лице. Она бросала свою голову туда-сюда, ее руки цеплялись за пуховое одеяло. Она пыталась подняться.

Потом она больше не защищалась.

Я чувствовал себя так, как будто снова приходил в себя после короткого обморока. Я чувствовал только лишь обнаженное, нежное тело девочки, которая неподвижно покоилась в моих руках. – Жаннетта, – позвал я ее тихо и поднял взгляд под тяжелыми веками. – Прости меня, что я был таким! – я упал назад на подушки.

Только спустя довольно долгое время она поцеловала меня с глубокой серьезностью. Она плакала.

- Скоро мы оба уедем прочь отсюда. Я возьму тебя с собой!

Она покачала головой. – Уезжай один! Ты знаешь почему. Теперь отпусти меня, пожалуйста!

Медленно она встала и неуверенными шагами покинула мою комнату.

Я знал, что я должен был бы окликнуть ее, поспешить за ней, чтобы сказать ей, что все не правда, что это было сказано только как бы в состоянии аффекта.

Я не мог обманывать эту девушку!

Ее – ни в коем случае!

С ложью в сердце я никогда не смог бы сделать ее счастливой.

Я должен был выстоять также передо самим собой.

Однако тогда это было бы невозможно!

Вскоре после этого Жаннетта заболела гриппом, который тогда унес множество человеческих жизней, и так как я не смог убедить ее мать, чтобы она оставалась дома у своей дочери, ее отправили в больницу.

Для ее родителей зарабатывание денег было важнее.

Когда я после этого посещал Жаннетту, она всегда горько плакала в углу своей палаты как ребенок. Я пробовал все, чтобы развеселить ее, и чтобы самому не стать грустным. Но это удавалось мне с трудом.

- Ты приходишь, – говорила она огорченно. – Ты не боишься посещать меня, а мои родители боятся. Боже мой, как же мне их не хватает!

Я распаковывал мои подарки на ее кровати. Среди них были три вкусных телячьих шницеля. – Вчера вечером поджарены на нашей кухне. Ведь ты же их очень любишь. Теперь ешь, Жаннетта!

Она низко опустила голову и долго гладила мою руку. При этом она вытирала себе слезы.

Потом она чуть-чуть приподнялась.

- Будь со мной поменьше добр и ласков, – сказала она мне на ухо. – Ты слышишь? Тогда позже это не будет для меня так тяжело.

Однажды прямо у садовой калитки нашего неприметного дома два чиновника оккупационной полиции вышли мне навстречу и последовали за мной. Господин и госпожа Юбер, объяснили они, подозреваются в продаже запрещенных това-

ров частной клиентуре. Они долго допрашивали меня, основательно обыскали всю квартиру и ушли.

Жаннетта очень удивилась, увидев меня вновь на следующий день, и так как она должна была делить больничную палату с другими пациентами, я незаметно сунул ей листок с моим сообщением. Она ничего не отвечала. Только ее взгляд, неподвижный от возбуждения, был направлен на меня. Мы старались вести короткую, безобидную беседу, чтобы не вызвать ни у кого подозрений. Когда я уходил, она прошептала: – Вот теперь мне уже будет трудно не поехать с тобой.

Во вторую половину дня в понедельник ее выписали. Я забрал ее на такси и привез домой.

- Собственно, еще слишком рано, но я больше не хотела оставаться, – объяснила она мне и прижалась ко мне. – Я так тосковала по тем нескольким часам, когда ты вечерами бывал у меня.

- Теперь я буду готовить для тебя, и убирать, пока ты совсем не выздоровеешь.

- Ты что, умеешь готовить?

- Да, даже хорошо умею, но не настолько экономно, как ты. Я от скуки научился этому у одной поварихи.

- У поварихи? Ты? – она с удивлением посмотрела на меня.

- Нет, не так, как ты думаешь!

Мы засмеялись. – Я во время войны был интернирован в Сибири, но мог свободно перемещаться по окрестностям, и тогда моя мать послала мне нашу повариху. Вот так это было.

- Почему ты никогда не рассказываешь мне ничего о твоей прежней жизни?

- Потому что для этого есть своя причина, маленькая Жаннетта.

Когда я спустя несколько дней вернулся домой, она сидела в кресле и снова усердно шила на машинке.

- Для меня, Пулет?

Она быстро кивнула и ответила на мою ласку.

- Ты замечаешь, что я теперь снова здорова?

- Еще как!

- Я продам мою черную ночную сорочку Шушу. Мы не хотим больше думать этим вечером.

Она вздохнула и склонилась над своей работой. – Эти глупые узлы! Я все еще не умею правильно их делать!

Шушу устраивала свои дела очень умело, и купила большую, элегантную сумочку, в которую было упаковано в самой тонкой шелковой бумаге еще более тонкое женское белье ручной работы «Дом Жаннетты Юбер». Сама француженка говорила об этом только в превосходной степени: очаровательное, обворожительное, утонченное, пленительное, и так быстро продавала все, что Жаннетта однажды вечером, дуясь, заявила мне:

- Мне уже нечего одеть на ночь, что ты мог бы снять. Разве это не печально, Шери?

Пуллет парила в более высоких сферах.

Теперь она хотела отказаться от своей должности на фирме. Также Шушу, с которой она прекрасно находила общий язык, подзуживала ее к этому.

И тут внезапно гром среди ясного неба!

На фирме появились двое французских полицейских, потребовали провести их к старшему шефу, чтобы допросить также Жаннетту и меня. До их ушей дошло, что офицеры по закупкам получали при осуществлении заказов взятки от фирмы «Вегенер-Верке». Ничего не подозревающая Жаннетта страшно испугалась, но не потеряла самообладания.

- Знаете ли вы, что этот человек, – француз указал на меня, – поддерживает связь с мадемуазель Дюваль, которая предпочитает откликаться на ласкательное имя «Шушу»?

Жаннетта пожала узкими плечами.

- Вы этого не знаете? У вас, наверное, нет глаз?

- Также во Франции девушка, если у нее есть только искра характера, никогда не говорит об этом, господа!

- И вы не хотите наказать мадемуазель Дюваль за ложь?

- На этом вы меня не поймаете!

Жаннетта повернулась на своих высоких, острых каблуках, так, что ее короткая юбочка вспорхнула вверх, и покинула комнату.

Вскоре после этого ушли также оба комиссара. Вид коммерции советника Вегенера был осунувшимся, совсем разбитым. Молча мы сидели напротив друг друга. Потом он спросил меня о размере жалованья Жаннетты, позвонил в кассу и потребовал двойную сумму для себя.

- Дайте малышке эти деньги и скажите ей конфиденциально, что это какой-то особый бонус от фирмы.

Я поблагодарил его.

- Ради всех благ мира я прошу вас, попытайтесь узнать, кто нас выдал!

Он говорил с трудом и вытирал пот со лба. – Марсель Жерар не глуп, наоборот! И как он насчет выпивки?

- Более чем умеренный. Я знаю его уже много месяцев.

- И... и кого же вы подозреваете?

Мы переглянулись.

- Молчание может быть самой жестокой правдой.

Он откинулся назад в кресло и судорожно закрыл глаза. – У меня больше нет сил, ни для чего. Попросите фрейлейн Фишер позвонить моему врачу. Я еду домой.

Мы оба еще были в бюро, когда Вегенер зашел к нам. Жаннетта вскочила и предложила ему стул, схватила его руку и пожала ее, с благодарностью за полученный подарок. – Но я бы сделала это и просто так.

Старший шеф кивал. – Я всегда отвечал верностью на верность. Вы оба поступите правильно, если уже скоро подыщите себе другое место работы. Но помалкивайте об этом!

Мы провели его к его машине, и пошли есть.

- Что теперь будет? – спросила Жаннетта, когда мы заняли место в ресторане.

- Мы оба поедem в Берлин. Ты этого хочешь? Все подготовлено. Мне нужно только явиться в один крупный банк.

Ее сердце было переполнено, и она больше не знала, сколько еще добра и любви она должна была продемонстрировать мне в этот вечер.

События следующих дней сменяли друг друга с ужасающей быстротой.

Старший лейтенант Жерар пришел со своими людьми, чтобы проконтролировать новую поставку. Я представил ему дубликаты на подпись, и мы как обычно сидели в комнатке мастера упаковки, который как раз вышел на минутку.

Тут эlegantный воин уселся на стол, свесил ноги и пару раз сильно ударил хлыстом по кожаным крагам.

- Ваш «маленький шеф», месье, это опасная скотина с тупой мордой! – сказал он озлоблено и подписывал при этом дубликат. Тут вернулся мастер. Из-под лежащих повсюду на столе сопроводительных документов он достал телефонную трубку и только сказал: «Господин коммерции советник, поставка оккупационным властям проходит в порядке!»

- Марсель Жерар! Самый сердечный привет! – закричал другой в мембрану и вышел из комнатки.

Я поспешил в кабинет моего шефа. Он сидел в кресле и глядел вперед потерянным взглядом.

- Теперь все ясно. «Маленький шеф». Прошу вас, вызовите побыстрее мою машину. Мне нехорошо.

Я проводил его вниз и закрыл дверцу машины.

- Прощайте, – были его последние слова.

Почти к тому же самому часу осторожным обходным путем ко мне пришло предупреждение об угрозе моего ареста французской жандармерией.

Я помчался на такси домой, побросал с Жаннеттой мои вещи в чемоданы и вместе с ней поспешил на вокзал.

- У меня вдруг появилось чувство, как будто мы никогда больше не увидимся, – сказала она робко. – Ты сожалел бы об этом? Должна ли я была быть другой с тобой, еще послушнее? Ведь вся моя нежность принадлежала только тебе.

- Пулет, я могу лишь снова и снова сказать тебе то же самое: я заберу тебя как можно скорее, вероятно, уже через неделю. Почему ты сомневаешься в этом?

- Ты же это знаешь. Я иногда стыжусь быть вместе с тобой, потому что ты не любишь меня. Но ты ведь и сам ничего не можешь в этом с собой поделать... Но почему ты не едешь прямо в Берлин?

- Я не могу об этом говорить.

- Не доверяешь? Ну... Я же только девочка, которая очень любит тебя.

Ее последний поцелуй был робким и холодным.

VI

Я увидел Берлин и его людей в головокружении инфляции, спешащих и утративших надежду, полных желаний и хвастливых. Болото того времени уже начало выходить из берегов, и с типами, которые бездельничали и наслаждались в нем, я во всех их оттенках познакомился у окошек банковского дворца на Унтер-ден-Линден.

Директор банка Венк принял меня за своим монументальным рабочим столом в роскошно оборудованном кабинете. Он пожал мне руку, немного потянул за свои белые манжеты и уселся в тяжелое дубовое кресло. Вследствие этого он выглядел еще более худым, более аристократичным, как будто обрамленный широкой резьбой.

- Я сразу представлю вас начальникам отделов, с которыми вы будете иметь дело.

Аристократическое спокойствие и тишина, которая когда-то царила в банковских помещениях, уступила место постоянной спешке и грохоту бесчисленных пишущих машинок. Окошки буквально осаждались людьми. Все постоянно говорили одновременно. Служащие нервничали. Громоздились целые пачки расчетов и документов, с которыми едва ли можно было справиться. Над всем витало нервное напряжение и ожидание неизвестных событий, которое придавало что-то зловещее скачкообразному развитию валютных курсов.

Затем мы снова стояли в кабинете директора Венка, но он долго не мог сказать мне свое заключительное слово. Снова и снова беседа переключалась на другие темы. Но этот человек сохранил аристократическую сущность, даже если взгляд его начинал беспокойно двигаться. Вероятно, он чувствовал себя как в ярмарочном балагане с дешевыми, только имитирующими аристократизм декорациями?

- Позаботьтесь сначала о хорошей комнате. У нас при банке есть посредническая служба. Главный швейцар Шульц заведует ею.

Говоря по телефону еще раз, директор Венк после нетерпеливого покачивания головой, подал мне руку, которая сразу после этого открыла коробку сигарет. При этом я помог ему, быстро дал ему прикурить и ушел. С наполовину отсутствующим видом он кивком попрощался со мной.

Главный швейцар Шульц отличался от всех других своей представительной полнотой и солидной элегантностью его черной формы. Он заведовал всеми швейцарами, а также получением и отправкой банковской почты. Злые языки утверждали, что он занял эту свою должность уже тогда, когда заложили этот банковский дворец на Унтер-ден-Линден, потому что его нельзя было вытеснить никем другим и никаким событием. Он сразу дал мне несколько адресов, не отворачивая при этом взгляд от корзинок с входящей почтой, которую сортировали под его надзором.

- Ах, чего уж там, это ничего не стоит, – любезно сказал он. – Теперь и вы тоже принадлежите к числу бедных сумасшедших, которые должны обслуживать других дураков. Пожалуйста, сообщите мне, получилось или нет. Пусть вам повезет, сударь, под знаком приближающихся миллиардов!

И мне действительно повезло у госпожи Буш, муж которой, бывший банковский прокурор, умер несколько лет назад. Она сдавала две меблированные комнаты со всеми удобствами в своем ухоженном доме.

- Господин Шульц – это лучшая рекомендация для меня.

- Вот видите, госпожа Буш, как нам обоим повезло!

Мы немного посмеялись. – И к тому же мы оба – мекленбуржцы, значит, земляки.

Потом я попытался снять также вторую комнату, в которой я хотел поселить Жаннетту, и заметил в заключение: – Вы будете в восторге и от фрейлейн Юбер. Почти как я.

Госпожа Буш улыбнулась с полным пониманием. Она была подвижной, статной дамой. На вид ей было около сорока лет.

- Хорошо. Давайте попробуем!

Я сразу написал девушке и купил духи и лакомства.

Но Жаннетта не отвечала.

Каждый вечер, когда я возвращался домой, усталый от изобилия новой работы, я спрашивал госпожу Буш о сообщении от нее. Уже более двух недель прошли с моего прибытия. Когда я звонил Юберам, никто никогда не поднимал трубку. Даже срочное письмо осталось без ответа.

Когда я однажды вечером пришел поздно домой, я нашел на ночном столике две очищенные груши и бумажную салфетку. Кроме того, на двух рубашках были пришиты пуговицы. Я быстро подошел под свет лампы, внимательно осмотрел узлы и снова бросил рубашку на стул.

Это были чужие узлы! Вероятно, госпожи Буш.

Я вспомнил о моем отъезде, нашей последней беседе и теперь знал, что маленькая Пулет больше не хотела приезжать ко мне, и я не мог сердиться на нее за это. Она защищалась от меня и наших общих воспоминаний. Из-за разлуки это должно было медленно стихнуть. Но не должно ли было это когда-то случиться так или иначе?

Я больше не спрашивал госпожу Буш о почте. Мое белье и костюмы она без слов точно в назначенный день отдавала на стирку и глажку, но по их состоянию я скоро заметил отсутствие проворных рук маленькой Жаннетты. Питание в ресторанах и банковской столовой не приносило мне удовольствия. Я не знал, что делать в мое небольшое свободное время, и хотя духи и лакомства все еще стояли на ночном столике, я больше не входил в примыкающую комнату. Ее месячный срок аренды закончился. Теперь она была свободной для каждого.

Все же я был рад, что она еще оставалась пустой.

Ко мне в то время предъявляли высокие требования. Мне было непросто быстро войти в курс абсолютно нового для меня дела. В первые дни я увидел перед

собой поистине пугающую непаханую целину, которую я начал сначала наощупь исследовать, часто оставаясь на работе после окончания рабочего дня.

Толстый господин Келлер и Шнайдер, отставной майор, в своих письма мне рассказывали о попытке французской жандармерии поймать меня, о допросе Жаннетты из-за якобы прихваченных мною важных документов, о ее плаче и рыданиях, ее бессрочном увольнении, буйстве «маленького шефа» и о том, как он несдержанно бросил ей в лицо ее жалование. Тогда маленький господин Шнелль поднял его и был единственным, кому хватило мужества высказать свое мнение в лицо начальнику.

Труп отца еще не был погребен, как молодой Вегенер уже искал завещание. В эти дни, сообщали они, произошло так много, и так многое изменилось. Они просили меня, который даже еще не пустил здесь корни, попробовать забрать их в Берлин как можно быстрее. Это было два длинных письма, и они раскрывали, насколько эти два человека под маской радости и удовлетворения спорили со своей судьбой и самими собой.

Обычно я измученным входил в мою комнату, еле-еле способный обдумать то, что я по истечении каждого дня слышал, видел, считал и выработал для себя.

Я приходил из какого-то ресторана или бара, где можно было быстро что-то поесть, где развлекались пьяные люди под звуки шумных оркестров, чтобы позволить себе хоть что-то за улетающие деньги в тот же вечер, потому что на следующий день они уже не были бы на это способны.

Одним таким вечером я в первый раз увидел, что дверь в примыкающую комнату была широко открыта.

Жаннетта! – была моя первая мысль.

В приглушенном свете стоявшей на ночном столике лампы она спала с еще раскрытой книгой «Нана» Золя. Она попробовала мои лакомства. Аромат подаренных ей духов устремился навстречу мне. Я тихо подошел. Ее лицо, обрамленное черной стрижкой «под рамочку», было серым и измученным, как у тяжелобольной. Но... свою прозрачную, белую ночную сорочку она, тем не менее, надела.

- Пулет, – воскликнул я тихо и радостно и подсел к ней. Глубокий вздох, трудное поднятие век, еще сонный взгляд.

Только тогда она заметила мое присутствие.

- Пулет... Что с тобой?

- Шери... – только ее губы, растянувшиеся в слабую улыбку, произнесли эти знакомые слова, и пара худых рук протянулась ко мне.

Я прижал ее к себе.

- Все было ужасно. Я вышла из тюрьмы, из-за родителей. Подхватила воспаление легких. Собрав последние силы, я приехала к тебе...

Свернувшись в клубок, она заснула в своей привычной позе, как она и раньше засыпала, когда была со мной.

Ее вид и мысль о ее нежном здоровье, обо всем том, что она значила для меня, и о том, как грубо жизнь обошлась с нею, причиняли мне боль.

В другой день, едва я позвонил, она встретила меня в дверях квартиры. Худая и жалкая, она стояла передо мной, зеленоватые глаза смотрели потерянно, хмуро, блеск ее строгой прически «под рамочку» исчез. Казалось, что каждый ее шаг был неуверенным. Но в ее комнате уже был накрыт круглый стол для нас двоих. Цветы стояли в вазе. Она положила голову мне на плечо.

Потом она по порядку рассказывала мне, как были разоблачены нечистые дела ее родителей, и как ее освободили только после подробного допроса Жерара и Шушу, которые дали показания в ее пользу.

- Завтра же ты поедешь на отдых в горы. Ты слышишь, Пулет?

- Нет, – она упрямо покачала головой. – Я останусь с тобой. Здесь я снова счастлива! Здесь мне все невероятно нравится, прекрасные комнаты, большой город... и ты, ты!

Ее губы скользнули по моим. Они были холодны.

Жаннетта лишь медленно набиралась сил. Когда она во время ужина сидела напротив меня, я все еще был обеспокоен ее бледным видом и неуверенностью ее движений. Поэтому я очень старался, чтобы развеселить ее и позаботиться о ней. Наши маленькие покупки, которые она когда-то обеспечивала с быстротой молнии, мы теперь делали совместно, но ее обещание немного погулять со мной по городу, она с усталой улыбкой откладывала с одного вечера на другой. Ее проект лучше зарабатывать своим шитьем, потерпел неудачу из-за ее постоянной усталости и быстрой девальвации марки. Если она сегодня продавала рубашку, то несколькими днями позже она за полученные деньги могла купить едва ли половину материала. Она сама видела, как ее сделки становились все хуже и хуже. – Мне просто не везет, – объясняла она с грустной улыбкой.

- Это неправда, Пулет! Нам всем одинаково плохо!
- Тогда давай уедем за границу, в Париж. Наша Шушу часто предлагала мне, чтобы я там шила и продавала мое белье. Там люди не знают забот!
- Я не могу, я должен оставаться здесь, по крайней мере, на обозримое время.
- А если бы я вначале поехала одна, а ты бы скоро последовал за мной?
- Я не знаю, потому что я неспособен думать еще о чем-то, после тех часто десяти, даже двенадцати рабочих часов в банке, преследуемый цифрами и их бесконечными нулями.
- Но это же не жизнь!
- Жаннетта..., – я тихо просил.
- Нет, нет! – поторопилась она добавить. – Я только шучу. Это была такая мысль, одна из многих, которые приходят мне на ум, когда я думаю о нас обоих.

Работа в банке и жизнь вне наших уютных стен уже в течение месяцев требовали от нас, но в особенной степени от Жаннетты, полного, безоговорочного напряжения всех наших сил, и потому нередко случалось так, что я возвращался домой только поздно вечером, когда девочка уже спала.

Но так как Берлин находился сравнительно недалеко от Мекленбурга, и мой отец часто должен был говорить со мной, а также Наташа снова и снова просила меня об этом, я со второй половины субботы по утро понедельника спешил к ним, не давая себе даже небольшого спокойствия.

Наташа держалась удивительно хорошо. При любой погоде, в бурю и снегопад, она стояла на вокзале и всегда настаивала на своей привилегии первой поцеловать меня в щеку. Но когда она стояла передо мной, в своей толстой фланелевой ночной сорочке с яркими цветами, с подкрашенными губами, со всегда новой прической и благоухая духами с запахом ландыша, тогда она доставала из своего «тайника» маленькую пачку с синими стофранковыми банкнотами, тянула меня к себе, представляла даже последние котировки иностранных валют и безошибочно вычисляла мне соответствующее состояние.

- Папочка, любимый, добрый, золотой, за один единственный швейцарский франк сегодня дают сорок миллионов марок! А у меня этих франков 1250! Недавно здесь снова проездом был господин Нойманн. Он подарил мне банкноту в десять долларов и сказочное зимнее пальто! И десять долларов, это... Но я счи-

таю с этим длинным рядом нулей не настолько плохо, как тогда Коко, когда он хотел узнать, сколько булочек он мог бы купить за свои двадцать франков.

Коко напишет тебе подробно, он будет просить у тебя совета, сможет ли он со своими несколькими швейцарскими франками жить в Берлине и посещать танцевальную школу. Ведь вся поездка по Германии стоит для иностранцев лишь несколько франков! Мог ли бы ты теперь с моими большими, большими деньгами оплатить мое обучение танцам?

Она под села ко мне и добавила лукаво: – И я ведь тогда буду с тобой, дорогой. Тебе это нравится? Я буду давать тебе, как в Лезене, все деньги, которые я заработаю. Твой папа разрешил мне, чтобы я хранила их у меня. Теперь к нему часто приезжают с визитами. Это, наверное, богатые люди, так как они ездят на больших, тяжелых машинах. И у их жен сказочные шубы. Иногда мне разрешают надевать их и ходить в них вокруг дома. Лони мне в этом очень завидует.

Уже в ближайшие дни я получил от нашего Коко письмо на нескольких страницах. Он спрашивал, мог ли бы он только с пятьюдесятью франками в месяц от его тети Анжель жить в Германии и при этом еще посещать хорошую танцевальную школу. Из одной берлинской газеты, которую он где-то и как-то достал, он узнал миллиардные цены, которые он с трогательной точностью подсчитывал для сметы всех своих расходов.

При этом он даже учел сумму, которую он хотел выделять еженедельно, чтобы посещать «маленькую принцессу» в четвертом классе пассажирского поезда.

«Ведь она за это время, пожалуй, очень вырастет. Я тоже! Я как подмастерье пекаря убежал от моего хозяина, так как я хочу быть танцором!»

Вскоре он приехал.

Я опоздал на несколько минут и увидел, как он стоит на платформе. Обеспокоенно он высматривал меня, в одной руке листок с моим адресом и потертый словарь, а в другой его низкая, новая дорожная корзинка. На Коко был темно-синий костюм, который был слишком тесен ему в плечах. Брюки были немного приспущены. Тут его лицо засияло и вместе с ним также множество проклинаемых им веснушек. С чувством облегчения и стыдливо он обнял меня.

- Дорогой месье! Вы писали мне как отец. Я благодарю вас от всего сердца, что я могу приехать к вам!

- Месье Буланже! Мой дорогой Коко!

Он со всей силой прижался ко мне.

- Я совсем сконфужен... Я принес вам ваш любимый шоколад и конфитюр. Но как случилось, что у вас можно так безумно дешево путешествовать и жить? Эти миллиарды... Не хотели ли бы вы лучше управлять этой моей такой большой суммой денег?

Безработный племянник госпожи Буш в первые дни заботился о Коко, и когда я позже позвонил его учителю танцев, то тот мог сообщить о «Monsieur Boulanger» и его усердии только самое лучшее.

Мальчик быстро акклиматизировался, но после его первой поездки к Наташе он пришел ко мне очень печальным и рассказал, что девочка, о которой он думал беспрерывно, обратила на него совсем мало внимания. Вероятно, его доброе юное сердце испытало теперь первое большое разочарование в его жизни, и мечта о «маленькой принцессе» окончательно улетучилась из его грез? Только лишь редко и робко он говорил об этом.

Профессор Цан, который посещал моего отца теперь чаще, чем раньше, написал мне по секрету, что здоровье отца и Наташи сильно ухудшилось. У девочки был тяжелый приступ гриппа. Я сразу снова уехал.

Только моя мать стояла на вокзале. Она была очень подавлена и тиха.

- Отец уже не говорит почти ни слова. Он не в ладах с самим собой и со своей жизнью.

- Немецкая крупная промышленность, – сказал он сразу после нашего приветствия, – все же, работает теперь с большевиками. И если бы они не делали этого, то у других государств было бы это превосходство. Итак, что же мне еще делать здесь, мой дорогой мальчик? Участвовать в этих делах вместе с ними? Сесть за стол с красными, пожимать им руки, улыбаться им? Федя... этого я не смогу! Я не смог бы перебороть самого себя! Ты понимаешь? Я даже не знаю, стоит ли мораль, которую я спас из моего падения, при сегодняшнем отношении вообще еще хотя бы выеденного яйца.

- Да, в настоящий момент, однако не...

- Мы больше не будем говорить об этом, мой мальчик.

Тут он прижал меня к себе и несколько раз погладил меня по голове.

У Наташи был сильный жар, и она очень похудела, и, тем не менее, она с обидой объясняла мне: – Девочки хихикали, когда я шла с нашим Коко по городку. Он все еще такой маленький, и у него столько веснушек!

- Да, но зато у этого мальчика золотое сердце.

- Это правда, но, все же, он должен был бы выглядеть несколько симпатичнее. Иначе нельзя, чтобы тебя с ним видели.

Полный новых забот и беспокойства я возвращался уже во второй раз. Дела у моего отца и Наташи обстояли вовсе не хорошо.

Скорый поезд из Гамбурга прибывал в Берлин с опозданием из-за поломки оси. Я не сомкнул глаз в переполненной купе, а в банке этим утром все составляли заговор против меня.

Коллеги непрерывно следили за мной, какие акции покупал я теперь, так как у меня были связи с промышленностью. Еще молодой начальник отдела Ганс Матьё должен был из-за открытия новых счетов давать длинные объяснения, нужно было отвечать на срочные письма, а также директор Венк уже ждал меня с клиентами из Англии.

Когда я после неизбежных сверхурочных пришел домой, я мог только лишь упасть на диван и вытянуть руки и ноги. Маленький городок в Мекленбурге, кажется, лежал бесконечно далеко от меня...

Жаннетта уже купила великолепные вещи для нас, накрыла стол и была теперь углублена в оживленную беседу с госпожой Буш, которую девочка очень любила. Едва я проглотил последний кусок с небольшим приличием, как я поплелся в мою комнату и бросился на кровать.

- О! Собственно, я хотела обсудить с тобой кое-что из-за моих курсов кройки и шитья, – сказала Жаннетта.

- Хорошо, тогда я сейчас заползу к тебе под одеяло. Это мне ни в коем случае не навредит.

Как ласка она проскользнула ко мне и прижималась ко мне, уютно шевелясь и при этом тихо мурлыкая от удовольствия.

- Скажи мне, Пулет, может ли быть такая рубашка, у которой вырез был бы еще больше, и она была бы даже более прозрачна, чем твоя?

- Voilà un maron glacé!

Она засунула каштан мне в рот и легонько постучала пальцами по моим губам.
– Мужчина с седыми висками не задает такие вопросы своей молодой и все же опытной возлюбленной в такой рубашке! Разве каштаны не великолепны?

- Пулет!

- Съешь еще один. Я знаю, что ты хочешь мне сказать: Что-то в этом роде – глупость при таком холоде.

Я медленно продолжал жевать.

- Тоскуешь ли ты иногда по моей близости? Думаешь ли ты иногда днем, насколько это прекрасно, если мы нежны друг к другу, лежим вот так бок о бок, как теперь, вождедем друг друга, не следуя, однако, потребности, как будто бы мы только мучили бы друг друга из-за этого?

- Когда же мне все-таки думать об этом, если я только лишь бегаю и тороплюсь изо дня в день, и мне не хватает времени даже на то, чтобы выспаться? Но и во сне тогда я вижу перед собой только цифры и цифры, миллионы и миллиарды, которые нужно считать, нужно распределять, так как за это мне платят зарплату.

- Ах да, Шери! Какую жалкую жизнь мы все же ведем! Должно ли это оставаться так? И как долго?

Она подарила мне быстрый поцелуй, открыла коробку шоколадных конфет и настойчиво рассматривала ее.

- Твой Ганс Матьё подарил ее мне. Он делает это как ты. Вчера мы снова гуляли. Он симпатичный мужчина. Он непременно хочет поехать в Париж в Vanque Nationale. Но когда именно? Я должна обучить его французскому языку. При этом я обязательно должна посещать и курсы кройки и шитья, чтобы стать безупречной в этом мастерстве. Он хочет приходить к нам дважды в неделю и готов хорошо оплачивать мои уроки. Я, наконец, позволила ему называть меня «фрейлейн Жаннетта».

Она взяла себе конфету. – Ммм! С вишневым ликером! Отлично! Ну, попробуй-ка разок!

Она засунула мне шоколад в рот и ждала.

- Да, действительно! Но горький шоколад мне тоже нравится.

- Он правильный, экономный мужчина, очень приличный, не такой, как многие коллеги. Я нахожу его, однако, достаточно скучным. Совсем молодые парни, которые дурачатся и только несут всякую чепуху. Тут уши вянут, как ты всегда говоришь. Ханси недавно заявила: «Звучит смешно, но я думаю, что немного люблю моего друга». При этом она так глупо смеялась. И как серьезно ведут себя другие девушки, когда они говорят о своих друзьях! Как они напиваются в барах! Бррр..

Она дальше лакомилась конфетами.

- Теперь ты хочешь курить. Я это знаю. Вот!

Она подала мне мои сигареты.

- Но будь осторожен с пуховым одеялом! Не огорчай нашу добрую госпожу Буш!

- Да, я буду внимателен, Пулет.

- Ганс Матёе также не настолько удобен, как ты – сказала она и скривила губы.

- С тобой мне не нужно ни о чем думать, ты быстр в решениях, догадываешься обо всем. И с тобой я чувствую себя в безопасности, уверенной и счастливой. Ты ведешь меня, а я охотно повинуюсь тебе. И потом... Ты принимаешь меня всерьез, и никакая другая мысль не появляется в тебе, пока я не целую тебя. И я делаю это, все же, так охотно, Шери, с безумным удовольствием.

Она покрыла мое лицо маленькими, быстрыми поцелуями и положила голову мне на плечо.

- Потому что мы, все же, так хорошо понимаем в этом друг друга, – прошептала она и подняла взгляд. – Ты знаешь все, чего я хочу.

- Ты думаешь?

- Я часто намеревалась отказать тебе. Но это мне не удастся, – она улынулась и покачала головой. – С самого первого момента, тогда, в нашей квартире. Должна ли я снова попробовать это?

Я молчал и стыдился, так как не испытывал к ней большой любви. И, тем не менее, я смотрел, как она осторожно выскользнула из-под одеяла, быстро убрала наши лакомства и мою сигарету. Проверяющий взгляд в зеркало, искусные

пальцы скользили по нежной фигуре, несколько капелек духов, и уже ночная сорочка была снята, и Жаннетта снова была со мной.

- Я обдумала это, – засмеялась она лукаво и прижалась ко мне. – Ты радуешься этому так же сильно, как я? Будь сегодня очень, очень нежным... Шери... Я не-много печальна.

Следующим вечером Ганс Матьё, мой начальник отдела, пришел на урок французского языка. Я открыл ему дверь, так как я как раз хотел идти за покупками. Он был статным, благовоспитанным молодым мужчиной, примерно в моем возрасте, квалифицированным, умелым банковским служащим. Он сразу повесил на вешалку пальто и точно над ним – шляпу.

- Так! Вы пришли! – сказала Жаннетта. – Сразу входите, чтобы мы не теряли времени.

- Как пожелаете, фрейлейн Жаннетта.

- Принесли ли вы словарь и что-нибудь для письма?

- Конечно. И то и другое. Пожалуйста, вот.

Девушка раскрыла книгу.

- Она кажется очень хорошей. Тем лучше. Можно выучить что-то из любой книги, если только человек вообще этого хочет.

Ганс Матьё слегка поклонился, но ничего не сказал.

- Я сразу буду говорить с вами только по-французски. Так делают все учителя, чтобы ученики сначала привыкали к чужим звукам. Это очень важно!

- Да, фрейлейн Жаннетта. Очень любезно с вашей стороны. Должен ли я всегда заранее платить вам деньги за урок?

- Это хорошая мысль! И о чем мы договорились?

- Всегда тридцать почтовых открыток для местных почтовых пересылок, из-за инфляции.

- Правильно! Это пятнадцать миллионов марок. Вам действительно не жалко этих денег?

- Вовсе нет! Наоборот!

Он вытащил из портмоне аккуратно сложенные купюры и дал их ей.

- Расписка, естественно, не обязательна.

При этом он смотрел на нее с восхищением.

Я прогуливался неторопливо по главной улице, останавливался время от времени перед витринами, но я больше не хотел видеть миллионы и миллиарды с их навязчивыми нулями. Я видел их ежедневно по десять часов, писал, считал, высказывался и слышал со всех сторон, слышал и слышал снова и снова, во всем банковском дворце, в валютном отделе, фондовом отделе, и когда...

- ... как вам будет угодно, фрейлейн Жаннетта.

Пуллет учила Ганса Матьё.

Он выглядел хорошо, молодой, и она описывала его как умного, одаренного, но не настолько удобного, каким был для нее я.

Она будет вести его, но только до тех пор, пока она сама захочет этого. Витрина, магазины, один за другим. Спешащие за покупками люди, бледные, неуверенные, недовольные, с чувством отвращения, как и я сам. Снова и снова звучал тот же самый вопрос и тот же самый ответ:

- Но еще вчера это стоило...

- Да, но вчера не сегодня!

Они считали свои горсти купюр, они смиренно засовывали их в карманы.

Вчера не сегодня!

И я шел дальше, без цели и без плана, по кажущемуся бесконечным морю из холодных камней, среди которых так много трагических и безвыходных судеб, тихо, смиренно и почти незаметно находили свой конец.

Я вспомнил о моих покупках. Я зашел в большой магазин, купил то, что написала мне Жаннетта на листке, и попросил доставить все к нам домой. Потом я позвонил домой и сказал, что приду поздно. Госпожа Буш пообещала передать это Жаннетте.

Она снова будет печальна, малышка, думал я на ходу, придет ночью ко мне, спросит, где я был, что делал, кого встретил. Я потом снова буду качать головой и молчать.

- Почему же ты вообще уходишь, Шери? Что отталкивает тебя от меня? Что охватывает тебя тогда? – всегда хотела знать она. – Ты тогда такой особенно тихий, и кажешься мне чужим, почти зловещим. Или я тебе больше не нравлюсь? Или ты хочешь, чтобы я была другой? Но тогда скажи, какой?

Что я мог бы сказать ей? Правду? Нет! Да и зачем? Тогда она, вероятно, боялась бы меня. Ведь я не мог объяснить ей, что прошлое не отпускало меня.

- Такси!

Машина остановилась. – Пожалуйста, поезжайте по Фридрихштрассе, через Вайдендамский мост, второй дом слева.

Я хотел набраться мужества у Нойманна, немного позаимствовать у него его смелости.

- Там Адмиралспаласт спр-рава?

- Правильно! Вы украинец?

- Да, – ответил водитель. – Из Киева. А что?

- Я из Петербурга.

Широкоплечий мужчина с черными волосами, темными глазами и маленькими усами вышел из машины. – Семенов, – представился он. Я назвал свое имя.

- Уже давно в Германии? Я убежал в 1920 году. Вот.

Он указал на верхнюю губу, и я увидел протез с золотой подкладкой. – Обласкали на прощание прикладом винтовки. С того времени я заикаюсь. Мой отец был известным гинекологом в Киеве. Наш водитель Иван помог мне бежать. Теперь я сам стал шофером. Ну, ладно! Поедем?

После нескольких слов прощания мы расстались.

Жалюзи мясного магазина Нойманна уже были опущены, но внутри еще горел свет. Я сильно постучал. Ворчащий голос открыл дверь. Горячая, парующая вода стекала по чистому кафельному полу на улицу.

- Ганс! Добрый вечер! Господин Нойманн дома?

- Ах, это вы! Снова в лавочке! Он жевал с набитым ртом и кусал малосольный огурец. Две женщины мыли пол и тоже жевали.

- Нет, шеф не дома. Но вы заходите! Я сейчас принесу еще ливерную колбасу для вас. Наташе она так нравилась!

В бюро Нойманна мы с удовольствием принялись за ливерную колбасу, хлеб и две бутылки пива.

- В Англию, вон туда, понятно? – Ганс наклонился вперед и указал ножом в кулаке в неопределенную даль. – Просто великолепный класс, старик, и становится все лучше и больше, понимаете? У него есть бюро на Унтер-ден-Линден, я вам скажу, вот так!

Он засмеялся и сжал обе руки в кулаки. – Теперь я здесь шеф. Черный товар? Уже давно неинтересно. Бывали паршивые ситуации, но шеф всегда говорил: «Ганс, вот что я тебе скажу, тот, кто сохранил немножко берлинской души в грязи по уши и под барабанным огнем, как я, для того все это сейчас только укрепление нервов». На прощание он сказал мне: «Для малышки я сделаю завтра пахучую посылку. Ведь ребенок еще любит погрызть что-то вкусненькое. Она же такой бедный червячок без родителей».

Когда я проходил мимо остановки такси на Вайдендаммском мосту, Семенов беседовал со своими коллегами. Я помахал ему.

- Не выпить ли нам по стаканчику водки?

После некоторого промедления он согласился, и мы поехали в русский ресторан.

- Он принадлежит другу моего отца, прежнему градоначальнику Киева. Его жена купила его за несколько каратов, и сама руководит отличной кухней. Ее муж занимается покупками и принимает посетителей, – рассказывал мне Семенов во время поездки. – Я обручен с их дочерью.

После обильной еды с закусками и десертами хозяева подсели к нашему столу, и так как у всех нас была слабость к родным песням и цыганской музыке, мы подарили много аплодисментов маленькому оркестру балалаечников и молодому певцу в синей русской рубашке. Лишь позже радость в нас развалилась... ложь. Нельзя тосковать по тени.

У меня не было достаточно денег, чтобы оплатить всю вечеринку и поэтому я попросил Семенова подняться со мной в мою комнату.

Жаннетта спала в моей кровати под светом маленькой лампы на ночном столике, повернув лицо к стене. Я заметил, что она долго ждала меня.

- Где ты был, ужасное чудовище? – сказала она, дуюсь и плаксиво одновременно. Тут она заметила Семенова, которого я быстро представил ей, немного поднялась в своей прозрачной рубашке и со слабой, еще очень заспанной улыбкой, протянула ему руку.

- Monsieur, je suis charme de faire votre connaissance.

Семенов галантно склонился к ее руке.

Это Париж, подумал я, и это также типично для моей маленькой Жаннетты.

Когда я потом лег к ней, она сразу повернулась ко мне. – Только спи, маленькая Пулет! Сегодня мы будем благовоспитанными детьми.

- Н-ннн, – ворчала она, прижавшись ко мне. – Тогда хотя бы держи меня крепко. Я мерзну уже целый вечер. Мне нужна твоя близость.

Я поцеловал ее плечо, накрыл ее.

- Тебе следовало бы уже сшить себе пижаму из фланели, маленькая птичка, а не чирикать тут просто нагишом.

- Н-ннн... Больше не будем разговаривать!

Жаннетта спала беспокойно. Ее тело стало горячим, и я отнес ее в ее кровать. Приложив щеку к ее виску, я понял, что у девушки сильный жар.

Следующим утром я вызвал врача, и когда он позвонил мне в банк, я узнал, что у Жаннетты при быстро растущей температуре снова был грипп.

Наша добрая госпожа Буш уже более двух недель тоже лежала в больнице с высокой температурой от гриппа. Директор Венк заболел так тяжело, что под угрозой была его жизнь, и еще несколько коллег по банку умерли от этой болезни.

Смертельно уставший на работе, я поздно вернулся домой. Квартира была холодной. Бедная Жаннетта лежала, закутанная до ушей, и жутко мерзла. Однако

в кухне я увидел плохо стертые следы приготовления кофе. Также несколько крошек от сухарей еще лежали неподалеку.

Я порицал Жаннетту за ее легкомыслие, напоминал ей о возможности тяжелых осложнений и советовал ей, чтобы она предпочла теплую больничную палату нашей холодной квартире. Но она отказывалась, плакала и умоляла меня, чтобы я оставил ее здесь, хотя бы еще на несколько дней.

- Пожалуйста, пожалуйста, оставь меня у себя! Ведь там я изо дня в день буду видеть вокруг себя только чужих людей. А здесь у меня есть ты, по крайней мере, вечером на один или два часа, и с тобой я могу поговорить о личном. Мои родители все еще в тюрьме. У меня есть только ты! Неужели я уже так плох? Скажи мне, может, сейчас приходит моя очередь?

- Нет, маленькая Жаннетта! Как ты только можешь думать такое. Может быть, в этот раз это только безвредная простуда. Я в этом уверен!

Я склонился над ее тонкой рукой и приложил ее к моей щеке.

В эти дни никто не поддерживал нас так, как Коко и главный швейцар Эмиль Шульц.

Иногда я мимоходом заглядывал в его швейцарскую, или он сам с нетерпением ожидал меня у входа. Тогда я тихо говорил ему пароль для действия. – Сколько? спрашивал он. – Сразу все внутрь! – отвечал я. Он подмигивал мне.

Теперь мне достаточно было позвонить, и он уже обеспечивал все для нас. Его жена заботилась о Жаннетте, так она хорошо понимала это, но после того, как и она сама и верный Коко однажды заболели, господин Шульц даже посылал к нам «Фрицхена», толкового рассыльного, который два года учился гостиничному ремеслу. Он разогревал печь, немного убирал и мыл нам посуду. Маленький карапуз был проворным и был благодарен за каждую купюру.

Мои, к сожалению, короткие посещения Коко мальчик воспринимал с сердечной благодарностью, но, когда он попал в больницу, он боязливо, как ребенок, цеплялся за меня и горько плакал. – Я вам каждый день буду сообщать о моем состоянии, месье. И если вы время от времени пошлете мне привет, я буду очень рад. Пожалуйста, сохраните для меня вашу дружбу!

Каждый вечер Жаннетта выпивала большой стакан шнапса и проваливалась в похожий на обморок сон. Но я тут же мылся с особенной тщательностью, снова глотал несколько пилюль и тоже опустошал полный стакан шнапса. После того,

как девочка два или три раза звала меня ночью, я подумал, стоит ли мне снова засыпать на короткое время, выпил второй стакан и вытер остатками шнапса руки и лицо. Забрезжило утро. Я приготовил завтрак и поставил его в досягаемой близости от ее кровати. Затем я пошел длинной дорогой к банку.

Так продолжалось несколько дней, но, когда температура у Жаннетты поднялась почти до сорока градусов, мне, все же, пришлось отвезти ее в больницу. Она плакала и плакала.

- Пулет, ma petite Chérie... Моя дорогая маленькая птичка...

Что я мог ей еще сказать, чем ее утешить?

Мне самому при прощании было очень тяжело на сердце.

Теперь я должен был разрываться: либо посещать по воскресеньям Жаннетту и Коко, либо ехать в Мекленбург, где также нуждались во мне.

Быстро приняв решение, и так как предстояли два праздничных дня, я вызвал Наташу в Берлин, чтобы доставить ей вместе с тем радость. После глубокого многочасового сна, которого мне так не хватало уже много недель, я стоял на перроне полный надежды. Уже издалека я увидел ее, сильно высунувшуюся из окна, кивающую мне. Ее обе косы развевались. Она больше не так заботится о своей внешности, подумал я при этом.

Но также и на этот раз она сорвала все ожидания.

Она с достоинством вышла из почти пустого вагона первого класса. Под ее новым шелковым плащом на ней был светлый дорожный костюм, в одной руке она держала изящно сплетенную соломенную шляпку. В другой она держала большую дорожную сумку из крокодиловой кожи. Серые, острые туфли «шимми», тончайшие шелковые чулки и далеко не доходящая до коленок юбочка заканчивали ее одежду.

Я не мог сдержать улыбки.

Наташа сразу бросилась мне на шею и бурно расцеловала меня. Она была совсем сконфуженной и сразу засунула косы под воротник плаща, подняла его и даже застегнула воротник.

- Милая! – я погладил ее по голове.

- Я могу остаться на оба праздничных дня у тебя, папочка?

Я быстро кивнул.

- Ты стала такой аристократичной, настоящая маленькая молодая дама! Ты хорошо выглядишь, красивая, так изящно одетая!

- Господин Нойманн подарил мне эти вещи. Он на своей машине был у нас в тот момент, когда поступила твоя телеграмма, и он сразу же отвез меня в Людвигслуст к скорому поезду. Он ехал в Гамбург и положил мне на этот раз несколько английских фунтов в сумочку. А принарядилась я только в купе. Ах, я должна тебе так много рассказать!

Снова она возилась со своими косами и высоким воротником плаща, решительно засунула свою руку под мою, и мы уже направились к выходу.

– А почему ты всегда засовываешь твои волосы так глубоко?

- Чтобы никто не видел, что я все еще ношу косы, и ты тоже, – ответила она упрямо. – Я больше не хочу выглядеть как школьница. Мне это и так уже достаточно надоело! Если бы ты знал, как Лони завидует мне из-за этой поездки к тебе!

- У тебя все еще есть твоя смешная губная помада?

- Конечно! Я в большой нужде! Можно мне будет купить в Берлине новую? Ты подберешь мне красивую? Но важен оттенок цвета. Только темно-красная губная помада подходит черноволосым женщинам.

- Вот! Она уже здесь!

Она удивленно и задумчиво рассматривала мою маленькую коробочку из черепахи, которая помимо пудреницы содержала также губную помаду и карандаш для бровей, как что-то очень ценное и потом подарила мне энергичный поцелуй.

- Как это ты догадался, как сильно мне не хватало и того, и другого! Но ты ведь всегда был таким: Мысли как гром среди ясного неба! Но я, конечно, должна передать тебе большой привет и, в любом случае, ты слышишь, пригласить, так говорил господин Нойманн, и позволить нам обоим провести два незабываемо прекрасных дня!

Она открыла свою дорожную сумку и дала мне банкноту в пять фунтов. – Мы должны ее прокутить! И мы ведь этого как раз и хотим!

- Да, – ответил я неопределенно и взял банкноту. При этом я подумал о моем ежемесячном заработке, моем «тонком биржевом чутье», из-за которого мне так сильно завидовали мои коллеги. Глядя на эти деньги, я чувствовал себя бедным, так как Наташа, конечно, хотя и сама не знала этого, считала совсем другими суммами.

Между тем мы пришли к главному входу. Проносящееся мимо настоящим потоком уличное движение произвело на Наташу такое сильное впечатление, что она остановилась и смотрела на поток машин довольно долго.

- Я буду спать у тебя? – спросила она тогда звонким, счастливым голосом, как будто бы это все еще было само собой разумеющимся.

- Я заказал нам два номера в отеле.

- О, здорово! А ты все еще любишь меня?

- Ну, конечно же, моя малышка!

- Мне так одиноко без тебя, дорогой. Никто другой по-настоящему не мил ко мне, пока ты не приезжаешь тогда на эти вечно короткие часы и в заботе о нас. Теперь твой папа стал таким тихим и задумчивым. Также со мной он едва ли говорит. А твоя мать... Что поделать, она такая, какая есть.

Переполненный двухэтажный автобус привез нас на запад Берлина.

В отеле я молча смотрел, как она причесывалась, немного освежилась, и воспользовалась моей коробочкой. При этом она постоянно оглядывалась на меня и болтала беспечно, как будто бы она все еще девочка, у которой нет никаких тайн от меня.

- И как идут дела у семьи Бентин? – спросил я, чтобы поддержать разговор.

- Ах да, представь себе, старые господа хотят продать свой дом и эмигрировать в Канаду, все вместе.

- Я купил бы этот дом, Наташа. Сегодня это лучшее капиталовложение!

- Также сад и всю землю?

- Конечно! Ведь у тебя есть твои 1250 швейцарских франков!

- Об этом твой папа уже говорил с господином Нойманном.

- Ну, вот видишь? Напиши мне все в подробностях, но побыстрее.

- Писать?

Она повернулась ко мне. – Это слишком много, чтобы об этом писать. Ведь ты же скоро приедешь к нам, тогда...

- Теперь давай пойдём, – ответил я несколько резко.

Берлин в то время находился под знаком наихудшей инфляции, повышения цен, восстаний и забастовок. Война уничтожила миллионы человеческих судеб, сделала сотни тысяч физическими и психическими инвалидами, которые едва ли могли вернуться обратно к нормальной жизни. Армия безработных достигала миллионов, аппарат юстиции непрерывно работал на полную катушку, число преступлений возросло до чудовищных масштабов. Из-за неудержимости, нужды и отчаяния закон и мораль больше не уважались. Кражи и укрывательство краденого, торговля наркотиками, воровство на почте и на железной дороге, разбойные нападения на открытой улице и сельских дорогах, голые ревю, проституция, игровые притоны и кабаки, все это делало Берлин и Германию ярмаркой международного порока, местом для свободных утех иностранцев с благой валютой.

Но все это Наташа вряд ли воспринимала.

Погрузившись во всегда одинаковые мысли, я стоял вечером у окна ее гостиничного номера и смотрел на улицу.

Наташа позвала меня. Она лежала в кровати и протянула ко мне обе руки, прижалась к сгибу моего локтя, темный взгляд ее прекрасных глаз непрерывно был направлен на меня.

- Я счастлива и чувствую себя в безопасности только у тебя, дорогой, и я жду только лишь тебя...

Вот так мое место занял Ганс Матьё, который в приемные часы в воскресенье проводил все это время до последней минуты у постели больной Жаннетты и после этого в подробностях рассказывал мне обо всем. Он всегда пытался обрадовать ее какой-нибудь мелочью, приободрить ее, но все же, когда я смог посетить ее в один рабочий день, то она нетерпеливо объяснила мне: «Добрый Ганс, он хороший, милый человек, но он настолько неловок во всем. Недавно он подарил мне эти шерстяные чулки, потом невозможную теплую шапку и рукавицы к ней. Все время он сидит и сидит передо мной, смотрит на меня, при этом еще

принуждает меня, чтобы я рассматривала его ужасный галстук и всегда чистый жесткий воротник. К тому же все эти его неизменные слова утешения: «Фрейлейн Жаннетта, я уверен, что вас выпишут уже в ближайшие дни. Вы только должны безусловно выполнять распоряжения врача». Этими словами он может разозлить даже покойника! Здесь девочки смеются над ним! Невозможный человек!

- Пулет, я только что говорил с врачом. Ты должна оставаться в больнице еще только одну неделю! Это действительно так! И чтобы тебе не было так одиноко... Маленький ежик..., – я склонился к ней и прошептал, – которого ты возьмешь с собой в кровать!

- Вот как! Но что это за маленький ежик? – ответила она весело и гладила иголочки своими наманикюренными пальцами.

- Здесь подарок. Духи из Парижа! Угадай, от кого! Ты удивишься. От нашей Шушу. Я встретил ее перед банком на Унтер-ден-Линден. Она ждала своего жениха. Она в следующем месяце выходит замуж за одного господина из французского дипломатического представительства.

- И она уже так быстро объяснилась в любви?

- Но только в твоей черной рубашке. Она хочет посетить тебя и взять тебя с собой в Париж.

- Ты заберешь меня через восемь дней?

- Если только у тебя дела более-менее улучшатся. И здесь...

Я поднялся, поцеловал ее на прощание в обе щеки и засунул ей конверт под подушку.

- Любовное письмо? От тебя? Этого же не может быть!

- Оно там тоже есть. Но твоя часть жалования важнее! До свидания, *petite cherie!*

У двери я еще быстро сделал ей знак, что акции, которые мы купили, подскочили снова вверх, и крикнул вдодавок: «430!»

Жаннетта всплеснула руками, и ее тонкое личико засияло.

Примерно в то же время Анри Дюкоммен, приветливый пекарь из Лезена, написал мне, что он был бы очень рад посетить меня и «его малышку». Потом он приехал, и я встретил его сразу у поезда.

Он лишь недолго оставался у двери спального вагона первого класса. Но я должен был видеть это в любом случае! На нем было совсем новое светлое пальто, без единой складки и, очевидно, купленное совсем недавно, потом еще широкополая черная фетровая шляпу, похожая на ковбойскую, которая делала его еще меньше. Маленькая эспаньолка больше не была осыпана мукой.

Он сердечно обнял меня и сразу передал мне коробочку с швейцарским шоколадом, тщательно упакованную в известную мне бумагу из его булочной.

- Ahhh, mon cher Monsieur! Переписка с вами была для меня потрясающим делом! Моя жена едва ли смогла что-то узнать об этом. Я даже купил пальто и шляпу только в немецкоязычном Базеле, чтобы не иметь неприятностей. Я не смог решиться только на новую дорожную сумку. Я же обычно никогда никуда не езжу.

- Ну, папаша Дюкоммен, это не так уж важно. Я сразу же отвезу вас в отель.

- И сколько стоит номер? – спросил он меня и стал серьезным. – Номер на двоих с ванной и все включено: два швейцарских франка.

- Фантастика!

Он покачал головой. – А за поездку из Базеля я заплатил всего девять франков. Я чувствую себя как князь, мой дорогой месье!

- Так вы и есть князь! Добро пожаловать!

Во время поездки я рассказал ему все, что он нетерпеливо хотел узнать, в особенности, однако, где можно было бы немного «побеседовать» мило и не слишком дорого.

- Вы, естественно, приглашены! Sans discussion! Ведь я же обычно никогда не выхожу из моего магазина! Нам действительно нужно развлечься и предпринять что-то интересное!

Он поменял свои первые пятьдесят франков, начал пересчитывать купюры, но не справился.

Первый его вечер стоил почти десять франков, так он подсчитывал всегда, и был чрезмерно счастлив этим, так как он позволил себе все то, о чем в Швейцарии он мог бы только мечтать. Но потом речь у него зашла о «красотке», которая уже завоевала его доброе, простодушное сердце всего лишь немногими словами на французском языке. Она потребовала за «все включено», только три франка.

- Fantastique! Fantastique, mon cher ami!

- Но было бы хорошо, патрон, чтобы вы были осторожны с этой девочкой и сначала спрятали все ваши деньги в безопасном месте. Вы не в Швейцарии.

- О... И где бы их спрятать, как вы думаете! Или..., вероятно, все же?

В гардеробе он сунул мне его франки. – Когда я вновь увижу вас? Завтра вечером около десяти часов? Parfait! Adieu et merci!

Мой пекарь Дюкоммен каждый вечер сидел с толстой сигарой в фойе роскошного отеля, откинувшись далеко назад в широкое кресло, забросив ногу за ногу. Он был в идеальном настроении и был одет в новый светлый костюм и лакированные ботинки.

- Ах, боже мой, вот, здесь, – это жизнь, свет, шутки, смех! Наконец-то, я могу хоть однажды вести себя так, как я хочу, и чтобы при этом на меня не косились какие-то соседи. Вы же знаете, мой друг, у нас ложатся спать с курами. Можно умереть со скуки в старых подтяжках. Но здесь, даже всего с парой франков в кармане, можно быть веселым и предприимчивым! Это люди, которые умеют жить! Я чувствую себя как в большой семье, которая принимает к себе любого и терпит то, что он чувствует в своей душе.

Несколько дней папаша Дюкоммен жил как в дурмане миллионов и миллиардов, абсолютно изменившийся человек, которому, как говорят русские, «море было по колено». И каждый вечер он снова влюблялся, при этом у него не так уж существенно уменьшалось количество его вожаделенных многими франков, которые я давал ему ежедневно в маленьких суммах, и за которые он всегда трогательно благодарил меня. Он больше не считал купюры.

За это время он два дня пробыл у Наташи в Мекленбурге, был в огромном восторге от нее и моих родителей, а потом опять занял большой номер на двоих с ванной в отеле «Эксельсиор». Но когда я снова приехал забрать его незадолго до его отъезда, он сидел как обычно в гигантском зале, но теперь как Золушка, в старом костюме и старых ботинках. Он был очень подавлен.

- Оля-ля, мой дорогой друг. А теперь снова в Лезен, где меня каждый знает! И там же еще моя жена! Я сойду с ума! Оля-ля, оля-ля!

Все воодушевление этого простодушного человека было уничтожено. Это большое количество денег, очень низкие для него цены, изысканные блюда, крупный город, свет и люди превратились для него в ужас, и когда я спросил на прощание, какой класс подобрать ему для пути домой, то он разочарованно сказал: – Снова третий класс.

- Ну, нет, папаша Дюкоммен, вы должны до последнего мгновения поступать по поговорке: «Мир должен погибнуть благородно!» А от вашей «беда» никто еще не умирал.

- Вы думаете? Хорошо. Тогда возьмите, пожалуйста, спальный вагон первого класса только до швейцарской границы. Париж, Берлин», он сделал пренебрежительное движение рукой. – Oh la la, la la, c'est tout la même chose. Sans discussion!

Еще долго он махал мне, и у меня было определенное впечатление, что мастер Дюкоммен своей подтянутой позой у окна международного скорого поезда восстановил свою прежнюю уверенность в себе.

Грипп свирепствовал. Люди едва ли осмеливались пожимать руку знакомому или бесчисленным клиентам у окошка кассы.

Акции с каждым часом скачкообразно лезли вверх.

Рейхсмарка с каждым часом все больше девальвировалась.

Доллар скакал вверх: 39, 56, 419, 870 миллиардов, а потом 2 биллиона и 4,8 биллиона марок за доллар!

Я с некоторого времени сам снова стал пить, так как эпидемия гриппа, которая принесла так много смертей, делала это почти необходимым; в некоторые дни у меня уже слегка повышалась температура.

Потом наступил день, когда сдался и я.

Я защищался от особенной, парализующей все во мне усталости с озабоченным ожесточением, в страхе за моего отца и Наташу, если бы они неизбежно узнали о моей болезни. С некоторого времени я страдал от головных болей, которые медленно, но постоянно становились все сильнее. Затем они мучили меня беспрерывно; я едва мог спать.

Я даже время от времени откладывал в сторону мою работу. Я поймал себя на том, что я тогда без всяких мыслей просто пристально смотрел перед собой. Ганс Матьё, сам заваленный работой, несколько раз настоятельно советовал мне, чтобы я взял отпуск. Врач с озабоченным выражением лица поставил диагноз: – Симптомы эпидемического энцефалита с сильными головными болями, который иногда может привести к осложнениям.

Я как ребенок умолял его, чтобы он, по крайней мере, на короткое время сохранил мне мою память, и он сделал мне несколько уколов. Под их воздействием я поехал в Мекленбург, купил у Бентинов их дом, сад и землю для Наташи, старательно пытался ободрить ее и моего отца. При этом я пытался шутить, тем не менее, немного, как это всегда было в моей манере.

Потом, в свой семнадцатый день рождения, Наташа сказала мне: – Представляешь, дорогой, сегодня один швейцарский франк стоит десять миллиардов рейхсмарок! И ты знаешь, у меня все еще осталось немного моей валюты! Это...

Она подсчитала это!

Но я больше не мог.

Ночью, когда все спали, я сделал список моих акций, активов и вещей, пока я еще мог хотя бы в кратких словах сделать эту запись. Следующим утром, мой отец и я были одни в жилой комнате, я подошел к нему, обнял его и в отчаянии сказал:

- Отец, прости... я больше не могу!

- Мальчик мой, дитя мое... Но ведь я же совсем ничего не должен прощать тебе! Его рука гладила мою голову.

Я почувствовал, как она дрожит, в последний раз.

По безотлагательному совету врача я быстро решился отправиться в одно местечко под Оберстдорфом. Жаннетта поехала со мной, потому что я боялся оставаться один, так как я становился немного неуверенным во всем, что я теперь делал и думал. Также зрение мое уже ухудшилось.

Это было в конце октября, все же, я не боялся даже самой плохой погоды, чтобы оставаться как можно больше на свежем воздухе, снова и снова, в надежде, что он вылечит меня, как будто бы речь шла лишь о переработке и нервном срыве.

Но уже вскоре я больше не знал точно, что происходило вокруг меня, говорила ли Жаннетта время от времени со мной, заботилась ли она обо мне. Постоянные глухие головные боли все больше мешали мне точно воспринимать мое окружение; я видел их только лишь как будто пьяный. Только если еда и питье были горячими, я еще мог это заметить.

Пелена перед моими глазами становилась все плотнее.

Когда я однажды в сверкающую зимнюю погоду гулял с девушкой и при этом упал, я сильно поранил руку о ветку. От этой боли я внезапно очнулся. Я снова стал ясно мыслить и попросил ее как можно скорее привести меня «домой».

– Но куда... Шери? Где ты чувствуешь себя дома? – спросила Жаннетта и охватила меня руками, чтобы как можно сильнее подчеркнуть значение этих своих слов.

Я понимал смысл и трагичность ее слов. У нас не было настоящего домашнего очага. Также у моих родителей и Наташи его не было.

- Тогда привези меня, пожалуйста, в клинику в Берлине, Жаннетта! Важные документы находятся в моем стальном ящике. Моя банковская доверенность у директора Венка. Я боюсь, что могу лишиться рассудка!

О последующих днях у меня осталось лишь неясное представление. Как через серую пелену тумана я видел людей, врачей, я постепенно узнавал моего отца, мать, Наташу, Коко, Жаннетту и Ганса Матьё, но я только с трудом понимал их, когда они говорили со мной, даже если я пытался сконцентрироваться изо всех сил. Я чувствовал по отношению к ним тревожный стыд человека, который теперь окончательно проиграл, который был только лишь беспомощным и достойным сожаления.

Я все еще полагал, что влачу жалкое существование, как будто в сильном алкогольном опьянении, и очень устаю. Мне казалось, будто я держал целую горсть песка, который всегда ускользал от меня между пальцами, так что я не мог формировать слова и мысли и крепко держаться на ногах. Любое соприкосновение я ощущал глухо. Только горячие жидкости, которые горели в горле, благотворно действуя, оживляли меня и производили снова и снова радость от того, что я чувствую что-то известное, хорошо знакомое.

Окружающая меня среда представлялась мне как зеркальный кабинет («комната смеха» – прим. перев.). Все лица и все предметы были не только постоянно завуалированными и нечеткими, но и причудливо искаженными. Мне нужно бы-

ло очень стараться, чтобы не смеяться над их то длинными и косыми, то снова широкими и искривленными лицами и телами.

И постепенно вокруг меня также становилось очень, очень тихо, как будто бы суровые, массивные, тяжелые руки все крепче и крепче зажимали мои уши. Я очень боялся этого. Тогда я кричал, или якобы кричал, так как при этом что-то сразу разносилось эхом внутри меня, хотя всегда глухо и далеко, однако ощущаю. Как часто я пристально смотрел на губы мужчин в белых халатах! Но эти суровые, тяжелые руки в моих ушах больше не пропускали ко мне звук.

Я был в отчаянии!

Поэтому я больше не смотрел также на медленнодвигающиеся передо мной губы, так как теперь я боялся слов, звуков, лиц, боялся двери, которая раскрывалась таинственно беззвучно и в гротескных измерениях, боялся всех людей, шагов которых я больше не слышал. И я думал, что я позже когда-то буду бояться также многих знакомых улиц и их домов, часов, маятник которых представлялся мне хитрым глазом, который подмигивал мне то справа, то снова слева.

Вероятно, улицы снова и потом навсегда сделают меня глухим?

Не разочаруют ли слова меня навсегда?

Или я теперь уже оглох навсегда?

Только в короткие мгновения удаленной ясности я чувствовал повязку на глазах. Тогда внезапно вокруг меня наступала ночь, и так как я сильно боялся ее, и у меня появлялся холодный пот на всем теле, я снова снимал ее.

Снова и снова я напрягался, чтобы увидеть, хоть что-то.

Но только серая, бледная пелена, иногда также непроницаемая чернота, вероятно, ночью, стояла передо мной, которую я пытался стереть с глаз, прогнать прочь, щупал все вокруг себя, падал, ударялся, причинял себе боль, в неясном сознании делал затем это намеренно, чтобы отчетливо почувствовать хотя бы боль.

Свет и время, будь то день или ночь, недели или месяцы, теряли свое значение.

Я больше не говорил.

Я даже больше не кричал.

Когда я касался губ, я всегда находил их твердо сомкнутыми.

Я слышал только лишь это... Молчание!

Но это молчание лежало не так, как когда-то над бесконечностью тундры у Северного полярного круга.

Тогда я видел картину с такими величественными декорациями и символикой, что я никогда больше не смог забыть ее.

Большое величие и меланхолия природы молчали в глубокой покорности перед творением, когда синий вечерний ветер как бы на прощание и тихо как дымка дул над ним, и изумрудно-темное утреннее небо, как киноплёнка, которую медленно, очень медленно проявляют, только начинало брезжить над такими же застывшими изумрудными лужами болот и силуэтами кривых низких берез и сосен.

Тогда мой взгляд настойчиво пытался разведать ту полосу, где небо касалось горизонта. Я представлял себе, подобно ребенку, что только там могла бы лежать для меня свобода.

Потом я видел стаи диких гусей. И тогда я слышал тихий шум сотен широких могучих крыльев и в этом момент знал, что я еще слышал, потому что я тогда воспринимал этот особенный шум, который производил такое сильное впечатление на меня!

Затем: птица-вожак пробовала воздух...

Вечная тоска по родине тянула птиц вниз к земле. Но меня вечная тоска по родине тянула прочь от нее. Иногда, когда постоянное давление под черепной крышкой и глухие головные боли ослабевали, у меня было одно только желание: услышать только одно единственное хорошо знакомое слово, «ты» от любимого человека.

Но я его не слышал!

Что будет, если я никого больше не смогу понимать?

Раньше пели природа, ветер, птица и даже капля воды. Музыка звучала при кошени трав, нивы. У всего был свой собственный голос и вместе с тем также свое лицо.

Сама жизнь, разве она не начиналась с криком?

Что будет, если эта глухая тишина должна будет окружать меня вечно, из улиц моего большого города, бесчисленных домов, тихого, синего ветра, из красного заката, шума берез и шелеста ночи?

Я останусь как бы окруженным плотным стеклом, и в него будет входить невидимая дверь, которую я никогда больше не найду, вероятно, даже если я когда-то увижу, как она медленно соскальзывает в окружающий меня стеклянный купол, закрывается и сливается с ним.

Все получит тогда другое лицо, немое, далекое, вероятно, также враждебное лицо.

И если я также никогда больше не смогу видеть?

Что будет тогда?

Что будет во мне еще, что останется от той бесконечности, которую я воспринимал когда-то сердцем? Вероятно, я должен буду убежать?

Но как и куда?

Проклятие привяжет меня к одному месту.

Я буду неспособен освободить самого себя. И у других будет их «сострадание» ко мне!

Только у одной единственной женщины было бы поистине человеческое сострадание ко мне, однако, она уже избежала цинизма и проклятия нашей жизни. Итак, я должен был попробовать это сам, снова и снова, пока это мне не удастся. Тогда эта одна единственная женщина привела бы меня к себе, как уже только лишь взгляд ее черных глаз тогда в приятной радости привлекал меня к ней. Снова я начинал на ощупь искать дорогу сквозь черноту и падал, снова и снова падал, мне было больно, очень больно... парил, наконец, прочь в небытие... благодарный... освобожденный и избавленный от всякой тяжести... Когда-нибудь позже, острая боль внезапно принуждала меня к «помогающему» уколу и снова обратно через стеклянный купол.

Я должен был и не мог оставаться без «сострадания».

Я мерз из-за внутреннего холода, и у меня не было никого, кого я мог бы очень крепко прижать к себе, чтобы почувствовать близость его присутствия, покоряющую близость его жизни и его любви. При этом я снова и снова думал, что

только это, только одно это могло бы избавить меня от всех этих ужасов, мыслей и неясных представлений.

Но в те дни рядом со мной не было никого, кто взял бы меня под защиту от меня самого...

Снова, снова и снова я думал, что вижу захватывающий спектакль летящих гусей в изумрудном свете сибирской тундры, трясину и лужи болот, насколько хватает взгляда и мысли, силуэты кривых низких сосен и берез, в слышимом молчании синего ветра...

И снова и снова мысли также приходили ко мне: о чем мог бы думать, например, синий ветер, и что только вечная тоска по родине тянула эти бескрайние стаи птиц к земле...

Тоска по родине...

По этой земле?

Это будет, пожалуй, другой тоской по родине!

Но какой?

Все же, мы, люди, знали только... одну тоску по родине – по вечной родине.

Но почему, спрашивал я с трезвым, ясным разумом Запада?

Все же, я знал доверенную мне улыбку Азии, улыбавшейся над жизнью и решающей все загадки человеческой жизни. Еще долго у меня не было никого, кто прижал бы меня к себе.

Однажды я страшно испугался!

Я лежал в саду клиники. Через серую пелену моих глаз я внезапно увидел мучительно-яркое сверкание света. Молния и гром ударили надо мной.

Этот оглушительный треск убрал тяжелое давление суровых рук с моих ушей, и яркий свет произвел радикальную перемену своим шоковым воздействием.

Была ночь, когда я слышал усиливающийся и ослабевающий шум, который больше не имел никакого отношения к моим прежним, парализующим головным болям. На этот раз я с самой большой осторожности начал на ощупь вставать с кровати, чтобы больше не падать и нигде не ударяться, пока я боязливо не по-

чувствовал оконную ручку. Я снова и снова двигал ее. Окно раскрылось, и внезапно шум усилился... шелест деревьев... раскаты грома... Запах мокрого ландшафта, ароматы земли устремились навстречу мне, пока спустя долгое время после этого темные, большие тени в сером цвете взгляда колебались как волны туда-сюда, становились светлее, показанные лишь намеком цвета проявлялись, зеленый цвет, красный цвет становящегося светлее неба... пока слезы безостановочно не потекли по моим щекам, и я почувствовал их на моих руках.

Боязливо я снова ощупью искал дорогу назад.

Картины вокруг меня постепенно снова становились более четкими. Я смотрел в невероятное богатство красок.

Позже я понимал даже вопросы врачей о моем самочувствии, даже если мой тяжелый язык еще не совсем повиновался мне.

Я слышал, как идут мои часы, в тиканье которых не было ничего исключительного. Но я попросил остановить их, тем не менее, так как все вокруг меня стало слишком шумным.

Перед глазами формировался большой, жирный шрифт газеты, которую я хотел схватить снова и снова, так как она была весьма отчетлива, очень черного цвета и легко запоминающаяся... для снова видящих глаз.

«Ветчина для Троицы... Цена: 1,50 марок за фунт». Но ведь Троица была в мае! думал я, но что это за цена, 1,50 за фунт? Было ли это новое сокращение для 1,5 миллиардов? «Harpener Aktiengesellschaft»: 70 марок. Следовательно, 70 миллиардов? Сколько у меня их еще осталось? Габардиновое пальто – 40 марок.

Кинотеатр: Гарри Пиль, сенсационное шоу «Самая опасная игра». «Нибелунги», партер 1 марка, отдельное сиденье 1,50. Как это считать? Что там бывает после миллиардов? Да, квадрильоны! Жаннетта и госпожа Буш однажды спросили меня об этом, когда я вернулся домой из банка.

Жаннетта... Она была маленькой и изящной, у нее были зеленоватые глаза и черная стрижка «под рамочку». «Шери», «дорогой», так она всегда называла меня...

Мой отец...

Наташа...

Мать...

«Вооруженные силы Лиги наций, которые представляют собой лишь орган полиции сильных в военном отношении государств, являются пощечиной для принципа равноправия и оставляют маленькие государства беззащитными перед политикой с позиции силы сильно вооруженных государств».

... Предпосылка немецкой политики исполнения... Страх Антанты перед немецкими тайными союзами... Согласие Бельгии на новую политику санкции и залогов Пуанкаре в Пфальце... 22 партии! Какое желание участвовать в выборах!

И я читал и читал.

... Уголок юмора: Самая вежливая рыба – это копченая сельдь. Почему лошадь не может быть портным? Потому что она питается кормом. (Игра слов. Слово «Bückling» – означает и «сельдь», и «подобострастный поклон», а слово «Futter» означает и «корм», и «подкладку». – прим. перев.)

Почему блохе вообще не нужны деньги? Так как она может совершать большие прыжки также без денег. Какие животные не могут слышать? Голуби. (Слово «Tauben» имеет два значения: «голуби» и «глухие». – прим. перев.)

Уже пару раз я ходил по саду клиники и долго стоял у высокой железной решетки, смотрел на улицу, пешеходов. Но я в основном пытался закрывать уши обеими руками. Все стало для меня слишком шумным, слишком громким.

При этом я думал об отчете главного врача, который я попросил у него, чтобы смочь лучше понимать все прежние процессы.

Теперь был конец мая 1924 года. Я был в Берлине.

Беспомощно заплаканная фрейлейн Юбер привезла меня в клинику в начале ноября прошлого года.

У меня был один единственный костюм и от новой, «стабилизированной» валюты 382 марки ренты в моем портмоне. Директор Венк перевел их после продажи моих акций и приложил точный расчет.

Мне нельзя было волноваться, я на всякий случай не должен был принимать посетителей, и должен был быть очень озабочен действительно хорошим аппетитом.

Но я снова, полный страха и забот, думал о тех, которые были доверены мне, и мой долг по отношению к ним я больше не мог выполнять на протяжении семи месяцев.

Семи месяцев!...

Была среда и время посещения в клинике.

Мое решение было твердым: я сложил свои немногочисленные вещи, надвинул глубоко на лицо шляпу, поднял воротник пальто, уверенно прошел по коридору и незаметно покинул здание.

Потерянно я довольно долго стоял с моей сумкой, в которой были только мои туалетные принадлежности и две рубашки, поблизости от широкого портала.

Жизнь, пульсирующее движение на улице, оглушительный шум...

Я видел все.

Я один разбил мой стеклянный купол!

И я пошел дальше своей дорогой.

Я думал, что я отдал бы все, что у меня было. Но и этого все еще было слишком мало: судьба требовала от меня еще больше.

Госпожа Буш открыла мне дверь и отошла назад с тихим, приглушенным криком:

- Боже мой! Это же невозможно!... Пожалуйста, входите же.

Я сразу увидел: комната Жаннетты была пуста.

Это сказало мне все!

Я вдруг почувствовал озноб.

И, тем не менее, я сел на стул, который я еще хорошо знал, и разгладил робко не менее знакомую мне скатерть, как будто бы я мог с помощью этого коснуться всего, что произошло здесь. Я ждал, пока госпожа Буш заговорит, так как я не осмеливался спросить ее.

Итак, Жаннетта исчезла!

- Я только хочу сделать вам быстро прекрасную чашечку кофе, – сказала, наконец, она.

- Нет, спасибо, госпожа Буш!

- Фрейлейн Юбер, – начала она тогда неуверенно, – уехала примерно два месяца назад в Париж, с молодой француженкой, ее зовут мадемуазель Дюваль. И еще меньше двух недель назад туда уехал также господин Матьё. Фрейлейн Юбер шьет там свое женское белье. У нее там все хорошо, пишет она. Эта француженка продает каждую ее вещь. Подождите, пожалуйста, я сейчас принесу вам адрес фрейлейн Юбер. Я пообещала ей, что сразу же дам его вам.

Комната Жаннетты была чистой и проветренной, такой же, как тогда, когда я вступил в нее впервые, но теперь чужой, потому что меня не окружало ничего, что принадлежало ей. Предметы пристально смотрели на меня, и я вдруг вспомнил о госпоже Андреевой и ее комнате.

Жаннетта исчезла!

Я боролся со слезами и хотел уйти незаметно, как можно скорее.

- Вот адрес фрейлейн Юбер. Она просила, чтобы вы сразу же связались с ней, пожалуйста!

Я кивнул.

- Вы засовываете листок в карман, даже не прочитав его? Фрейлейн Юбер оплатила вашу комнату еще на два месяца, – убедительно добавила госпожа Буш. – Она всегда надеялась, что вы вернетесь! Однако у главного врача больше не было надежды, говорили она и господин Матьё.

Я снова кивнул.

- Фрейлейн Юбер еще попросила передать вам, что она тогда после вашего заболевания отправила ваш дорожный сундук из Баварии, но он не прибыл в Берлин. К сожалению, он не был застрахован от кражи. Она была в большом ужасе от этого и очень просит вас, чтобы вы, все же, не затаили на нее обиду еще и из-за этого. Вы же не сделаете этого, правда? Это же не ее вина. Часть ее вещей тоже была там. Она совершенно потеряла голову, и все время только беспомощно плакала. Она сразу же напишет вам. Тогда мадемуазель Дюваль ежедневно приходила к ней, утешала ее, и, наконец, убедила ее поехать с ней в Париж.

- Понимаю!

Через некоторое время госпожа Буш спросила: – Вы хотите получить обратно вашу комнату? Или лучше я зарезервирую вам комнату фрейлейн Юбер? Цена та же самая, только в нашей новой валюте. Вы уже знаете, как все это было? Или вы все еще цепляетесь за ваши прекрасные воспоминания?

Я ничего не мог сказать.

- А если фрейлейн Юбер снова спросит о вас, что я могу ей о вас написать?

- Напишите, что я был у вас.

- И ничего больше? Даже никакого привета? Боже мой! Малышка была всегда так очаровательна к вам!

- Да... была... Теперь я хотел бы уйти.

Госпожа Буш, кажется, была вдруг обеспокоена моим взглядом и моими скудными словами, так как она поторопилась открыть мне дверь квартиры.

Выйдя из квартиры, я довольно долго стоял, прислонившись к стене.

Неуверенно я спустился по ступенькам, вышел на улицу. Каким ярким и громким было все вокруг меня!

Внезапно у меня появился страх, страх всего и каждого... Не лучше ли было бы мне вернуться в тихую защищенность моей больничной палаты?

... как когда-то добровольно в мою тюрьму в Сибири?

Я тогда бы так охотно взял ее в мои руки, потому что я теперь снова видел и слышал все эти многочисленные улицы и дома, и свет, и потому что я все еще так робко и боязливо противостоял всему этому, был таким же сверхчувствительным, как слепец при каждом соприкосновении.

Жаннетта определенно защитила бы меня от этого.

Но даже защищенности в руках Жаннетты я был лишен.

Я был снова только один с моим маленьким кусочком жизни.

Медленно я скомкал листочек бумаги с адресом Жаннетты, выронил из руки и пошел дальше. Я позвонил в Городскую больницу и оставил информацию о себе.

Теперь я больше не мог вернуться!

Маленькая мекленбургская узкоколейка по-прежнему, с рывками и покачиваясь, вилась сквозь великолепные леса, широкие пашни, вдоль темно-синих озер, до моей маленькой станции. Она тоже осталась неизменной. Но только никто не ждал меня.

Ведь никто не знал, что я приеду.

Было тихо вокруг дома моих родителей. В комнате не горел свет, хотя уже смеркалось. Робко я открыл дверь в гостиную. Моя мать сидела одна у окна, с книгой в руке. Раскрытые страницы и ее узкое лицо над темной блузой с маленьким белым воротничком еще немного светились в сумерках, но когда она услышала шум от открывающейся двери, она подняла голову, захлопнула книгу, и я увидел крест на ее Библии.

- Федя... Ты?... Боже мой!

Какой особенный, далекий голос был у моей матери. Она будет молиться с благоговением, так как, все же, это слово значило, что человек думал о Боге. Когда она подошла теперь ко мне, она показалась мне еще меньше. Ее руки дрожали, когда она обнимала меня и ощупывала меня с до сих пор никогда еще не знакомой поспешностью.

Внезапно она тихо и очень сдержанно заплакала на моей груди, и она впервые в жизни показалась мне беспомощной и боязливой. Я гладил ее, прижимал ее немного к себе и чувствовал себя при этом неуверенным, так как я никогда раньше этого не делал.

- Федя, мой мальчик... Наш папа... ушел от нас.

У меня остановилось дыхание.

- Он больше не хотел...

Мой отец умер! Во мне что-то окоченело!

Мой взгляд искал по комнате; я не знал что. При этом он упал на пиджак моего отца, который также теперь висел над стулом и в его кармане еще был белый носовой платок, и рядом с ним еще высовывался его кожаный портсигар. Он его всегда брал с собой и на охоту.

Значит, он вовсе не ушел?

В тишине, в которой у брэнности больше не было формы, что-то очень тихо проскользнуло мимо меня, как дымка, которая коснулась меня и затем стала недостижимо далекой... навсегда.

- И потом еще кое-что ужасное!

- Да, мать? Что же?

- Наташа...

- Что с ней?

- Она бесследно исчезла после ее последней поездки к тебе... Все полицейские розыски остались безрезультатными до сегодняшнего дня. Не за что было зацепиться, даже с помощью допросов здешних школьников. Наташа взяла с собой только большую сумочку господина Нойманна, но вряд ли хоть сколько-нибудь денег.

Я больше не спрашивал. Я только ходил по комнате туда-сюда.

Я больше не мог думать ни о чем.

Я также ничего больше не чувствовал, только что я качался туда-сюда, потом мой шаг стал нетвердым от усталости, и я повалился на диван, перед которым висел на стуле пиджак моего отца. Я взял его и твердо прижал его к себе, как будто бы я все еще был его маленьким, печальным ребенком, которого не взяли с собой для какого-то важного визита.

Далекая, последняя мысль прошла мимо, как когда-то много лет назад, когда я вступил на свой путь, путь без возвращения домой. Почему я не остался там...?

Всю вторую половину дня я провел один у могилы моего отца, на новой, маленькой кладбищенской скамейке, которую теперь поставили рядом с ней.

Как они его хоронили? думал я. Понимали ли они также все это? Подумали ли они обо всем, не забыли ли что-нибудь? Не были ли они неловкими, эти чужие руки? Моя мать даже не осмелилась коснуться руки отца в последний раз после более чем тридцати лет брака, рассказывала она мне. Он лежал на белых, вышитых подушках. Грудь его рубашки была только что накрахмалена, фрак отглажен тщательно и строго. Тонкие, желтые восковые свечи горели у его головы, и вследствие этого пространство лежало в туманных сумерках.

Мне так хотелось бы увидеть лицо. Серые как железо, коротко подстриженные усы и лохматые, мелированные брови будут выглядеть, пожалуй, очень странными. Причесали ли также осторожно его? Мне больше не было позволено искать на его лице черту, которую он взял с собой из жизни. Вероятно, это была совсем маленькая улыбка, тоска или мудрость? Это было что-то определенно совершенно замкнутое в себе, беспокойное и больше не относилось ни к чему, совсем ни к чему. Я пытался вести с ним немой диалог у его могилы, но это мне не удавалось.

Внезапно меня пронзила мысль:

Отец мертв!

Но я не понимал этого.

Над кладбищем дул легкий ветер. Он играл со светящимися светло-зеленым цветом листьями, запутывался в ветвях старых тенистых деревьев и спешил прочь над далекой землей озер в солнечном свете раннего лета. «Отец мертв!» сказал я еще раз беззвучно сам себе. Но вечно безразличная природа, земля, не давала ответа.

Воспоминания казались мне реальностью.

Мне чудилось, как будто бы мой отец стоял передо мной, жизнеутверждающий, энергичный, белокурый богатырь в его разорванном костюме из грубошерстного сукна, который всегда так великолепно пах лесом и дымом бесчисленных костров и был обожжен в нескольких местах. Он стоял в такой же бесформенной шляпе с великолепным пером глухаря в изношенной ленте. Я смотрел ему в глаза. Они так резко и ясно выглядывали из-под шляпы. Он был счастлив. Вокруг его прищуренных глаз, в крохотных маленьких складках, играла лукавая улыбка. Он был со своей испытанной трехстволкой на охоте, ни для кого больше недостижимый.

- Скажи-ка, пожалуйста, отец, – однажды спросил я. – Ты, собственно, счастлив с матерью?

Тогда он молчал довольно долго и немного выдвинул вперед нижнюю челюсть. – Ну... Мне она очень нравится. Но вот только она мало меня понимает.

- И если бы она понимала тебя, охотилась бы с тобой, и таким образом... Ведь бывают такие женщины, которые великолепно понимают мужчину!

- О, да, такие женщины есть, но на них не женятся, Федя.

- Почему?

- Ты это скоро сам увидишь.

Тогда я был еще очень молод, думал о Париже и Колеетт, о моем прощании. Мы молчали и шли дальше. Позже мы следили, чтобы не наступить ни на одну веточку, потому что она могла затрещать и спугнуть дичь.

Тогда мой отец снял трехстволку с предохранителя. Мы стояли, застыв на месте, и его лукавая улыбка снова появилась. Он вдали обнаружил что-то, что можно было взять на мушку.

Так он видел и саму жизнь и также справлялся с ней.

Тут я вздрогнул и взглянул вверх.

Деревья стояли как огромные тени в темной синеве неба.

Прошло несколько дней.

Я упрямо молчал.

Моя мать распродала хозяйство, чтобы переехать к ее младшей сестре. Они всегда были очень близки друг к другу.

Дом Наташи и земельный участок были сданы внаем к первому июлю. Мать нашла для этого платежеспособных, хороших съемщиков и открыла девочке счет в банке для внесения платы за аренду.

VII

- Разве Наташа не сделала тебе даже какого-то намека? – спросил я тогда, наконец.

- Ни одного слова, Федя. Даже нашему отцу, а ведь при этом она заботилась о нем даже больше, чем родная дочь. Сердце отказывало ему все больше. Она же еще была с ним, когда он умер. Мы как раз обедали. Отец положил салфетку на стол и сказал: «Я благодарю тебя, мать. Это было очень вкусно».

Внезапно он взглянул вверх, схватился за сердце, и Наташа уже держала его голову, когда он сделал последний вдох. Я могла только лишь подбежать и шепнуть ей: «Умер».

Мать смахнула слезы с глаз, но и на этот раз она тоже владела собой.

- А Наташа? После твоей неожиданной болезни она держалась очень смело несколько недель; также в школе. Я должна это сказать. Она посещала тебя каждую субботу, все равно, пропускали ли ее к тебе или нет. Учитель Рупнов тогда всегда освобождал ее, и он тоже всегда спрашивал о тебе. Иногда мы видели тебя, но... Наш отец не смог с этим справиться. Потом еще эта бесперспективность с Россией. Твой главный врач косвенно не вселял в нас больших надежд и говорил, что нам и в будущем нужно сохранять скромный оптимизм, так как повреждения интеллекта могли бы остаться, вероятно, из-за того, что ты во время твоего бегства из плена получил повреждение головы и здесь неделями защищался алкоголем от заболевания гриппом.

Она вздохнула.

- Да, Наташа... Она тоже осталась как бы с подбитым крылом, больше не училась, разочаровалась, и когда наш отец умер, это совсем добило ее. Она все больше замыкалась от всех; также от Лони и меня.

- А когда она в последний раз ездила ко мне?

- Завтра будет точно четыре недели с того дня.

- Но ведь к тому времени дела у меня обстояли уже несколько лучше!

- Это так! Тем таинственнее ее исчезновение. Я боюсь, Федя, что она попала в плохие руки, и это очень мучит меня.

- Я так не думаю, мать. Она отвергала всех людей и была ко всем недоверчива.

- Конечно, она была такой, но не забывай об опасностях большого города. Все же, она – красивая девочка.

Передо мной лежала газета с ее фотографией и подписью: «Бесследно пропала!» Розыскная служба просила население о помощи, чтобы оно сообщало ей также самую незначительную информацию или чтобы оно осторожно остановило пропавшую без вести.

Но все мои соображения и предположения заканчивались только одним словом: почему?

Все во мне болело.

Я помогал своей матери упаковывать вещи, как будто бы речь шла о том, чтобы упорядочить пройденный период жизни таким странным способом, отбросить его, закрыть, отдать кому-то другому, вероятно, даже на хранение в какие-то очень верные руки, чтобы потом, вероятно, все же, использовать его повторно, продолжить дальше, забрать?

Также вещи Наташи попадали мне в руки, ее платья, туфли, школьные тетради, иностранные ноты, ее кукла Акулина, маленький образ Богоматери.

Неужели он уже перестал быть ей нужен? Так быстро?

- Не хочешь взять это с собой? – осторожно спросила мать.

- Нет, что мне с этим делать? Я даже не знаю, где я сам теперь останусь. Или, вероятно, все же возьму, если вдруг она вернется!

- А если нет?

Я пожал плечами.

- Ты любишь ее?

- Почему ты об этом спрашиваешь? – ответил я и засунул деньги Наташи в конверт, на котором я записывал отдельные суммы. Иконку я тоже вложил туда. Акулину я завернул в большой кусок упаковочной бумаги.

В Берлине я с чиновником из розыскной службы обсуждал все только возможные предположения.

- В досье стоит отметка, что все посты земельной полиции и жандармерии получили описание девочки. Значит, расследования продолжаются. Допрос вашего главного врача, – полицейский указал на исписанный лист, – показал, что девочка даже обещала ему, что возвратится в следующую субботу. У нее не было намерения оставаться в Берлине.

- Тем более что у нее вряд ли были деньги.

- Вот именно! Врач объяснил пропавшей без вести дословно так: «Я убежден, что ваш господин отец может быть выписан уже через несколько недель как выздоровевший. Существенное улучшение его здоровья уже заметно». В ответ на это пропавшая очень обрадовалась, и профессор даже подчеркнул ее слова: «Боже мой! Первые хорошие новости! Тогда мне нужно очень, очень поторопиться!» Только два вопроса остались без ответа. Первый касается слова «поторопиться». Почему она должна была поторопиться? Что она хотела сделать? Что или кто принудил ее к этой необъяснимой спешке?

- Я думаю, что знаю это, – сразу ответил я. – У Наташи в свое время были обнаружены признаки туберкулеза. Из-за этого она в течение года была со мной в Швейцарии и потому отстала в учебе. Я требовал от нее сначала окончить школу, чтобы потом она могла лучше выбрать себе профессию.

- Это кажется мне действительно правдоподобным, хотя я и не могу видеть в этом причину исчезновения. Что же она хотела изучать?

- Ее желанием всегда было стать танцовщицей. Но, все же, она ведь без денег вряд ли сможет посещать балетную школу.

- А у нее не было состоятельных знакомых или родственников в Берлине?

- Единственным человеком, кто мог бы посодействовать ей в этом, является господин Нойманн. Он знал уже мать Наташи и считал своим долгом помогать девочке. Однако господин Нойманн был тогда в путешествии за границей. Я не могу представить себе, что Наташа связалась с ним еще раньше. В любом случае господин Нойманн также осознавал бы, что речь идет о несовершеннолетней.

Мы погасили наши сигареты.

- Теперь второй вопрос: зачем девочка задержалась на два дня в пансионе в Берлине, который она потом покинула к вечеру? Владелица не могла дать нам детальных сведений об этом, так как она не заметила ничего необычного в по-

ведении пропавшей. Она также в Мекленбурге в течение месяцев не получала никакой почты, не писала писем, и не получала каких-либо посылок, писем или переводов до востребования. Она даже не посетила в Берлине никого из ваших общих знакомых. Мы опросили всех, кроме лишь господина Нойманна, так как он, как вы сами говорили, уже более двух месяцев находится в отъезде. Итак, – объявил он в заключение, – расследование продолжается, как вы видите. Мы в настоящий момент не можем сделать больше, сударь. Но вам не стоит бояться из-за этого. Вы определенно еще встретитесь с девочкой! – полицейский пытался успокоить меня.

- Спустя так много недель? На что же она должна была жить все это время?

- У нас каждый месяц бывают сотни подобных случаев, и большинство из них заканчиваются счастливо. Я уже много лет в розыскной службе. Вы можете определенно положиться на наших служащих. Большинство из них опытные криминалисты, сыщики старой школы.

Я снова стоял на улице и только знал, что я испытующе рассматривал каждую девочку, которая хотя бы отдаленно напоминала Наташу. Наконец, я пошел в банк.

Главный швейцар Шульц как раз с большим удовольствием ел горячую сардельку с горчицей.

- Как такое возможно! – встретил он меня и прекратил жевать. – А ведь вас объявили умершим! Однако это значит длинную жизнь! Добро пожаловать! Почта для вас? Нет, к сожалению, нет. Вам снова нужна комната? Посредничество ничего не стоит, конечно. Впрочем, госпожа Буш, у которой вы жили с фрейлейн Юбер, снова сдает внаем.

Он вытер рот бумажной салфеткой.

- Я хотел бы спросить господина директора Венка, найдется ли у него снова работа для меня. Потом я сразу приду.

Директор Венк в его высоком, феодальном кресле показался мне еще более худым. Он рассказал мне обо всем. Когда-то большая стопка рабочих документов справа от него почти исчезла; также телефон во время нашей беседы ни разу не звонил.

- Да, – сказал он и приложил левую руку к уху, – было бы, вероятно, возможно устроить вас в том же отделе.

Мне нужно было зайти.

После своего гриппа он стал хуже слышать.

Я уже больше и не думал о господине Шульце, когда он у входа еще раз помахал мне, чтобы я зашел к нему.

- Ну, сначала присаживайтесь здесь! Вольгемут, выйдите на минутку из швейцарской, – обратился он к швейцару у окошка.

- Я должен сказать вам кое-что с глаза на глаз, но прошу вас, не поймите меня неправильно.

Его добродушная лапа уже лежала на моей руке. – Вы выглядите таким убитым. Раньше вы в этом курятнике дураков были само спокойствие. Знаете ли вы, что сейчас пришло мне в голову, что вы должны были бы делать? Отдохнуть несколько дней, заняться собой, побездельничать, прогуляться, найти симпатичное окружение. Швейцар отеля «Унтер-ден-Линден» – мой старый друг. Он «из-под полы» подберет вам там номер, один из тех, который предоставляется в распоряжение сопровождающему персоналу гостей. Вы тогда будете сидеть в зале, видеть состоятельных, знаменитых людей, даже если у вас в животе будет только гороховый суп от «Ашингера». Важность! Окружение делает это. Оно заставит вас выпрямиться, приободрит вас, придаст вам новое мужество и воодушевление.

Не дожидаясь моего ответа, он позвонил.

- Дело на мази! Вам нужно только пойти туда.

Он похлопал мне по руке и поднялся; его позвали.

Собственно, Шульц был прав, подумал я и направился к лучшему отелю Берлина. С комнатой «для сопровождающего персонала» на пятом этаже все чудесно уладилось. Оттуда я звонил всем знакомым, давал им мой адрес, в надежде на то, что Наташа однажды где-нибудь появится. У «Ашингера» я ел известный всем берлинским безработным гороховый суп с горячей сарделькой за пятьдесят пфеннигов и к нему еще бесплатно булочку.

Только телефонный звонок к моему маленькому другу Коко разочаровал меня. Его хозяйка объяснила мне, невежливо, какой она всегда была, что он вернулся снова домой в Швейцарию. Он, по ее словам, не оставил никакого сообщения.

Изю дня в день, при любой погоде, так далеко, как только могли нести меня ноги, я искал Наташу, но затем снова наступали сильные головные боли, в сопровождении только легкой пелены перед глазами, которая к вечеру становилась более плотной. Я слишком рано ушел из больницы.

И, все же, было уже слишком поздно. Потому что мой отец уже ушел от меня, а также Наташа, ребенок, о котором я должен был заботиться.

Я должен был теперь принять решение: либо продолжать и дальше искать ее без большой надежды на успех и ухудшить мое состояние до опасности рецидива, либо отказаться от поисков.

Углубившись в эти размышления, я возвращался из розыскной службы. В вестибюле гостиницы господин Шульц ждал меня. Я едва узнал его, настолько сильно он отличался от своего обычного вида своим аристократическим пальто и шляпой. Он оттянул меня в сторону и достал из сумки самую известную берлинскую полуденную газету.

- Вот, почитайте! – он указал на большое объявление: «Срочно требуются красноречивые господа с лучшими манерами и хорошей внешностью для продажи уже хорошо зарекомендовавшего себя за границей и за океаном новаторского предмета домашнего обихода; при твердом жаловании и высоких комиссионных». А теперь самое важное! «Личное собеседование в пятницу между девятью и десятью часами» в вашем отеле, номер такой-то. Так как вы живете в этом же отеле, вы можете позволить себе потребовать соответствующий оклад! – убеждая, шептал он.

При этом он слегка оттолкнул меня в сторону и прищурил глаз. – Не хотите ли вы хотя бы посмотреть, о чем идет речь? Мне хотелось, – добавил он с сердечностью, – чтобы я мог принести вам счастье.

- Я очень благодарю вас за этот совет!

- Ах, когда я уже слышу слово «благодарность» от вас! И ваши прежние биржевые советы разве не стоили ничего хорошего?

Как испанский гранд он покинул отель.

Как раз в это утро пятницы я проспал, что случилось со мной в профессиональной жизни только в очень редких случаях! Было уже за десять. Опоздав на четверть часа, я, полный надежды, вошел в гостиничный номер.

Примерно тридцать господ, прекрасно одетые, уже были там. Лучшая «дама» с Курфюрстендамм сидела, немного уставшая, за столом в стиле «ампир», постоянно курила и перелистывала в скуке журналы мод.

- Вы пришли по объявлению? – спросила она и улыбнулась соответственно ее профессии. Я подтвердил.

- Тогда вам нужно будет подождать здесь, как и другим. Генеральный директор по продажам скоро примет вас.

У толстяка Шульца, подумал я рассержено, была сумасбродная идея: здесь, похоже, ищут красивых любимцев! Вскоре после этого дверь в примыкающую комнату открылась. Господин с широким, энергичным лицом, сильного, но несколько неуклюжего телосложения, вошел в помещение. Оценивающе он осмотрел нас как товар и кратко сказал, не выпуская сигарету изо рта: – Первый. По его произношению я заметил: американец.

Спустя добрую четверть часа вызванный вернулся. Едва он закрыл дверь за собой, как «дежурная улыбка» на его лице тут же сменилась явно выраженным презрением к тому, что он только что слышал. Я подсчитал, что если так пойдет и дальше, то моя очередь придет где-то через семь часов, не считая обеденного перерыва. Второй господин вошел в примыкающую комнату, но вышел уже через едва ли пять минут с тем же самым пренебрежительным выражением лица. – Дерьмо, будь оно проклято! – проворчал он. Следовательно, у меня была надежда, что меня впустят уже через два с половиной часа.

Тут американец снова вышел и спросил рассерженно: – Из вас кто-то говорит по-английски?

- Я! – сразу ответил я.

- Заходите!

Мы уселись в маленьком салоне.

- Пылесос! Вы знаете, что это такое?

- Конечно.

- Хорошо! – На лице мужчины появилась открытая улыбка. – Сигарету?

- Спасибо, охотно! И?

- Момент!

Он взял прислоненный к стене аппарат в форме цилиндра и начал с большой сноровкой демонстрировать мне пылесос, причем он также подробно рассказывал все об его основных и запасных частях. Потом он стал с аппаратом у стены как победоносный тореро в хвастливой позе.

- Это успешный бизнес для Германии?

- Даже очень успешный! – воскликнул я, хотя и был довольно разочарован таким предложением.

- Где бы мы могли теперь быстро продать несколько экземпляров, чтобы сразу увидеть, какие успехи будет иметь этот бизнес в вашей стране?

- В самом большом банке Берлина, это отсюда только пять минут. Но только где-то через полчаса. Я очень хорошо знаю там традиции, а также руководство!

- Отлично! Тогда у меня будет время позавтракать. Вы где живете?

- В том же отеле, что и вы.

- О! Не хотите ли позавтракать со мной, сэр?

- Спасибо, с удовольствием. Я тоже еще ничего не ел.

- Проспали?

- Да.

- Я тоже, – засмеялся он. – Вы открытый человек. Ваша манера мне нравится!

Он протянул мне свою руку и еще свою большую тисненую визитную карточку. Потом он открыл дверь в приемную и крикнул: – Оставьте ваш адрес моему секретарю. Сегодня вы мне не понадобятся.

Я прочитал: «Герт Фредериксен, главный акционер и начальник организации продаж для Центральной Европы «Nordisk Aktiengesellschaft», Стокгольм. Филиалы в...»

Ниже следовал перечень филиалов. Размеры визитной карты были, судя по этому, оправданы, также ее роскошное тиснение. Блестящее настроение Фредериксена, в сопровождении неожиданного потока слов, и наш значительный

аппетит во время этого завтрака быстро сблизил нас. Уже долгое время мне не удавалось правильно наесться. Потом я оставил все мучительные мысли и часть сдерживающих меня факторов, решительно схватил элегантный кожаный чемодан с пылесосом и вместе с американцем пошел к директору Венку.

Роскошная визитная карточка с перечнем филиалов на пяти континентах и необычный титул мужчины позволили банковскому специалисту почувствовать масштабную валютную операцию, так что он принял нас сразу и с изысканной вежливостью.

После короткого вступления, не содержащего деталей цели нашего визита, вследствие чего нетерпение Венка усилилось, американец начал распаковывать свой чемодан, во время чего теперь более чем удивленный взгляд директора быстро обращался то к Фредериксену, то опять ко мне. Сначала аристократический Венк совсем ничего не понимал, только звучный голос иностранца. Только когда я недвусмысленно сказал ему, что мы непременно хотели бы продать банкирскому дому пылесос, он разочарованно вернулся в свое кресло. Не в состоянии сказать ни слова, он смотрел на показ, как на неправдоподобное и все же удачное балаганное представление, пораженной жертвой которого он стал.

- Собственно... это интересно... можно было бы сказать, – произнес он потом с неуверенностью. – Но, господа, простите меня, я совсем не готов. Все-таки...

- Не говоря уже о закупке нескольких таких практичных аппаратов для ведущего банка, господин директор Венк, – начал уже я сам справляться с ситуацией, – такая всемирная фирма не отказалась бы открыть у вас банковский счет.

- Да, да, понимаю, естественно, банковский счет всемирной фирмы нужно было бы с таким заключением..., – заикался он, сомневаясь, после порицающего взгляда.

- ... соединить, – поторопился добавить. На этот раз мой американец только весьма расплывчато понимал ситуацию.

- Я могу сообщить вам, что эта фирма уже в близком будущем планирует производство пылесосов в Берлине для всей Германии.

Я говорил о необходимости немедленного включения во все банковские транзакции Nordisk AG, о весьма простом использовании аппаратов, об уже давно доказанной отсталости прежних методов чистки, об уборке всех помещений швейцарами под руководством нашего господина Шульца и настаивал тогда на

заказе в первую очередь сначала десяти аппаратов, в то время как мистер Фредерикссен кивал с самым серьезным лицом и подтверждал свое одобрение словами: «Очень правильно! О, как правильно!». При этом у меня самого было чувство, что я попал на ярмарку, так как американец пытался все объяснить с жестами и мимикой и с удовольствием смеялся, в то время как директор Венк, увлеченный убедительностью собеседника, в аристократичной манере соглашался с этим.

Когда я потом должен был позвать еще двух директоров, а также господина Шульца, которые быстро пришли в себя от такого же испуга, и озадаченно, но и с любопытством наблюдали за второй презентацией, после чего американец с развязностью дешевого фокусника раскрыл большой рекламный проспект и высыпал на него большую кучу пыли из мешка аппарата, и тогда господа сказали почти хором: – Но это же невозможно!

Господин Шульц, который вел себя с директорами почти как равный, лапидарно высказал свое решение: – Такую штуку я себе тоже куплю! Во взгляде этого стокилограммового мужчины стоял, однако, только один вопрос, на который я не мог ответить ему в настоящий момент: «Все будет точно так, как в рекламе?»

Оценка пылесоса была очевидна. Две энергичные, неразборчивые подписи скрепили закупку первых десяти аппаратов. Последовало открытие банковского счета, на что я смотрел с понятным скепсисом. При этом также директор Венк снова глядел на меня весьма недоверчиво.

- Для начала, – сказал Фредерикссен, как бы между прочим, – 150 000 шведских крон в чеке на оплату наличными, пока мы не устроились, – и поставил свою размашистую подпись под формулярами. – О втором полномочии банка вы получите мои инструкции в ближайшие дни.

Он посмотрел на меня, улыбнулся и похлопал меня по плечу как друга. При этом он, не выбирая, взял из поданного ему маленького ящичка гаванскую сигару, сделал несколько затяжек и небрежно принял поздравления директоров с хорошим началом бизнеса. Потом он раздавил великолепную сигару в пепельнице, и уже мы оба исчезли, чтобы «удостоить» нашим визитом последующие банки.

Первый формуляр заказа был подобен заклинанию «Сезам, откройся!».

В этот день мы продали 38 пылесосов.

- Это составляет 760 марок комиссионных для вас, сэр!

Мы как раз вышли из одного банка, когда Фредерикссен положил мне руку на плечо и начал трясти меня.

- Нам обоим повезло, – произнес он на ломаном немецком, – что мы познакомились!

- Да, так вполне можно сказать! – ответил я, хоть и с невысказанными сомнениями.

Вечер привел нас к радостной, роскошной трапезе, после окончания которой сильно подвыпивший американец так же сильно хлопнул меня, к счастью, по левому плечу и сказал:

- Давайте поставим со мной на ноги всю организацию продаж в Германии! Как начальный оклад вы получаете от фирмы с этой минуты 600 марок, все накладные расходы оплачиваются дополнительно, и за каждый аппарат, который ваши представители продадут по всей Германии, еще одна марка дополнительных комиссионных. Я забыл во время завтрака сказать вам, что я принадлежу к руководителям «Nordisk». Мое согласие имеет вес. Когда наша организация работает, вы легко будете получать от трех до четырех тысяч марок в месяц!

Я согласился! Но я действительно не верил своим ушам.

Тут Фредерикссен наклонился ко мне, улыбнулся хитро и спросил без какого-либо перехода: – Как получается так, что вы побеждаете меня в выпивке, Тед?

- Это все тренировка, Герт!

Я хлопнул его по плечу так же сильно, как он меня.

- Я же швед и родился в Стокгольме, – сказал он. – Мои родители эмигрировали в США. Но когда я обнаружил там, однако, этот дурацкий «сухой закон», я как можно скорее вернулся в Швецию. Они там умеют пить! Ах, да, я как раз вспомнил один неприличный анекдот! Два индейца стоят у реки Ориноко и осторожно ковыряют друг другу глубоко в носу указательным пальцем. Тут один говорит...

- Теперь вам пора идти. Я отведу вас в кровать, так как завтра утром нам нужно...

- Нам совсем ничего не нужно, Тед! Совсем ничего! Мы оба – шефы и можем делать то, что хотим, пока это доставляет удовольствие нам обоим! Как теперь

все должно происходить дальше? Я совершенно ясно вижу? Совершенно ясно! Или вы, например, другого мнения?

- Вовсе нет! Почему ты не должен был ясно видеть?

Я успокаивал пьяного общепризнанным во всем мире средством терпения, пока мне и старшему официанту не удалось поднять тяжелого мужчину и отнести в его номер.

- Уходите, официант, – Фредерикссен снова и снова махал рукой. – В спальню меня проводит только мой друг Тед или женщина!

Он держался за дверь. – Тед... Теперь женщину в завершение!

- Мы сделаем это, Герт, в любом случае, только сначала зайди в комнату и в кровать!

Он повиновался мне, пока мы, неуверенно шатаясь, не добрались до кровати.

- Держать! Держать! – он громко смеялся и держался за кровать, как будто у него под ногами было самое бурное море. – It's a long way to Tipperary! Ха-ха!

Наконец, он мужественно бросился внутрь.

- Теперь отпустить! Отпускай, Тед! Я внутри! – командовал он беспрепятственно громко. – Good! Good!» Он стонал от удовольствия и усмехался.

- Thank you, Ted, you nice guy, – добавил он с облегчением после основательной отрыжки, закрыл глаза и больше не шевелился.

Я стоял перед этим человеком и рассматривал его. Вытянув руки вперед, вспотевший, воротник рубашки расстегнут и с наполовину разорванным галстуком, рот широко открыт, он оглушительно храпел в его роскошном гостиничном номере. При этом я думал о фантастических событиях этого дня и о том, сдержит ли этот иностранец обещание, медленно поднялся в мой номер, прочел несколько раз рекламное объявление на полстраницы, и еще довольно долго смотрел на Тиргартен, который в первом бледном свете утра лежал подо мной.

Я думал о моем отце, я видел, как мать распродает наше хозяйство в деревне, как мы прощались, расходились в разные стороны, и я думал также о маленькой Наташе и размышлял над причиной ее ухода, о том ее особенном восклицании в адрес врача: «Тогда мне нужно очень, очень поторопиться!».

Ведь для нее никогда не существовало никакой «спешки». Я намеревался стать таким, каким я был когда-то: трезвым в мыслях и поступках.

Было уже поздно, когда я проснулся. Моя первая мысль была: выполнит ли Фредерикссен свое обещание, или же он дал мне его просто под влиянием алкоголя?

Я постучал в его дверь. Она не была заперта. Из ванной гремел его громкий голос. Он пытался петь какой-то шлягер.

Спустя час мы подписали у нотариуса мое трудовое соглашение.

Свои обещания Фредерикссен подтвердил целиком и полностью!

Собственно, мне очень повезло!

Но и у этого счастья были свои теневые стороны. Фредерикссен принадлежал к тем достойным сожаления людям, которые являются отличными организаторами и имеют тонкое чутье к каждой возможности заработать деньги, но внутри они пусты и примитивны, и измучены постоянной скукой, если только им больше не нужно думать о делах. Каждый вечер, после того, как он муштровал меня во всех вариантах консультаций продавца, он только шатался в барах и ночных ресторанах, и он становился упрямым и язвительным, если я не сопровождал его, даже если глаза у меня закрывались от усталости.

К этому добавлялось то, что он был безудержным в выборе женщин и искал только тех, которые падали «с первого раза», тогда как я всегда относился к таким с отвращением, что его очень развлекало.

Но мы, тем не менее, отлично находили общий язык, даже если мы снова обращались друг к другу со словом «сэр», так как мы были как раз честны друг к другу, а также открыто выражали наше мнение по всем вопросам организации. Фредерикссен говорил: – Мы так сэкономим очень много времени, и так как вы также молчаливы, я чувствую вас «удобным» для меня в любом отношении! Окей?

Его «многоженство» отражалось в нашем бюро особенно разрушительно. Ни одну служащую не принимали на работу после четырехнедельного испытательного срока, если она не прошла через постель Фредерикссена. Во всех случаях я должен был служить громоотводом для соперниц или уже забытых и для самого шефа. Третья возможность существовала в выслушивании и в успокаивании мужчины, которого я мог лучше всего и быстрее всего утихомирить только вы-

зовом каких-то «красоток», которые сразу хотели развлекаться с ним. Все эти «горячие адреса» я записал в книжке, и так как я не мог хорошо использовать этот вид «дам» в нашем офисе, я делал выбор только лишь среди «незамеченных», так что Фредерикссен однажды со смехом объяснил мне, что я в его глазах, все же, безумный человек, так как мне тоже должно было быть боязно нагружать эти «забытые судьбой фрегаты, которые все подошли бы для кунсткамеры», еще нашей работой.

- В отличие от других, – отвечал я по-деловому, – мои «незамеченные» благодарны, верны, усердны и надежны, сэр!

Наши продажи и связанная с ними организация заметно росли, и так как Фредерикссен никогда не хотел оставаться в бюро, с обоснованием: «Все же, нельзя оставлять боязливого ребенка в такой ужасной кунсткамере одного!» – я попросил наконец-то моего «коменданта крепости» и господина Келлера, чтобы они приехали в Берлин.

После очень благотворной паузы в несколько дней, когда я ложился спать с курами, у Фредерикссена снова был его вечер с попойкой.

Рассорившись, как самые плохие враги, мы шагали молча вниз по Кайзердамм. Я отказался вести машину, и не позволил это также Фредерикссену, так как мы оба были уже несколько подвыпившими. Вблизи площади Софи-Шарлотте-Платц мы хотели сесть на метро, чтобы продолжить пить в городе.

Было около девяти часов вечера. Я смотрел вдоль ряда домов и обнаружил вывеску, которая сообщала о вакантной двухкомнатной квартире.

- Момент, – сказал я невежливо и подошел к входу. Перед большой дубовой дверью стояла девочка примерно четырнадцати лет, которая задумчиво рассматривала прекрасную широкую улицу и проезжающие машины.

- Скажите, пожалуйста, моя маленькая фрейлейн, – обратился я к изящной малышке. – Не скажете ли вы мне, могу ли я быстро осмотреть квартиру в вашем доме?

При моих словах она немного испугалась. У нее было симпатичное личико с темными глазами и туго причесанные косы с красными ленточками.

- Тогда я должна сначала спросить моего отца. Он управляющий домом.

Она уже поспешно удалилась.

- Вы хотите снять квартиру?

Я посмотрел на похотливое лицо моего шефа. Вдруг оно прояснилось.

- Ах, так!... Отличная мысль! Мы разделим все затраты.

Я рассержено качал головой, с отвращением к этому мужчине и его безудержности; чтобы не стать грубым, я достал мои сигареты. Мы курили довольно долго.

- Пожалуйста, идите за мной, сударь!

Девочка с трудом открыла тяжелую дубовую дверь и взглянула на меня с любопытством. Фредериксен последовал за нами. Мы увидели солидную двухкомнатную квартиру с ванной и маленькой электрокухней. В мыслях я уже мебелировал ее.

- И какова же плата?

- Сто марок в месяц, свет и отопление включены. Дом, сударь, всегда закрыт, – объяснял мне ребенок звонким голосом, по-деловому как взрослая. – Здесь очень, очень спокойно. Здесь также не музицируют и не нищенствуют. Штукатурка на потолке даже сделана вручную. В ванной есть разные души.

Она провела нас по квартире. – Кухня с большим холодильником. Малышка стояла перед нами серьезная и ровная.

Я не мог подавить улыбку и спросил: – А кем вы хотите однажды стать, фрейлейн?

- Я хочу сначала сдать мои экзамены на аттестат зрелости, а потом стать модельером, – ответила она уверенно.

- Всем внимание! И как же вас зовут?

- Ева Шустер! – был короткий ответ.

- Ева Шустер, – говорил я, размышляя, когда я утром вошел в мой гостиничный номер для сопровождающего персонала и еще раз прочитал адрес домовладелицы. Я снова примирился с моим шефом, тем более, что он сразу же простым жестом одобрил мне заем на сумму в несколько тысяч марок. Я еще видел его, как он на холодном осеннем ветру, не застегнув пиджак и пальто, покидал ночной ресторан, с двумя буфетчицами из бара по правую и по левую руку от него,

обе ничуть не меньше пьяные, чем он сам. Мои многократные увещевания, пойти, все же, домой со мной, он возмущенно отвергал.

На следующий день он отсутствовал в бюро, но вместо этого позвонили из полицейского участка и сообщили, что он был задержан из-за драки и сразу отправлен в больницу.

Я тут же поспешил к нему. У него был серьезный перелом носовой кости, сильно опухший глаз и воспаление легких. Он попал в руки сутенера одной из «барных девочек», который не только избил его, но и оставил его лежать на улице наполовину раздетым, под ветром и дождем. Его пальто и пиджак нашли в канале Шпрее, но не его портмоне с деньгами и документами.

- Это должно остаться между нами, Тед!

Он показал на повязку на голове и попытался улыбнуться.

- Ни в Стокгольме, ни в США никогда не должны узнать ни слова об этом.

- Окей, мистер Фредерикссен.

- Мне этого уже надолго хватит!

Теперь пришел мой черед улыбаться.

В большой спешке, в которой я уже много недель жил рядом с этим человеком, я начал приводить в исправность и меблировать мою квартиру. При этом госпожа Шустер и особенно маленькая, честолюбивая Ева, оказывали мне бесценные услуги. Ева всюду охотно засовывала свой симпатичный курносый носик. Лишь когда она иногда ставила себе на одежду пятно от краски, то робко говорила: – Ой, если это заметит моя мама, то устроит мне головомойку! Бутылка терпентина у маляров всегда спасала ее из этого затруднительного положения.

Но когда, наконец, привезли мебель, то она встречала меня сразу у двери дома.

- Ева, свари нам сразу первую чашку кофе.

- Вы будете смеяться, но я вам уже принесла еще и первые булочки, а к ним масло.

Она держала ключ от квартиры, взяла меня за руку и потащила меня на первый этаж.

- А почему у вашей мебели везде такие маленькие, кривые ножки?

- Это такой стиль. Он называется «Чиппендейл».

- И он вам нравится? Ножки не сломаются?

- Нет, нет, даже если прыгнуть на такую мебель!

Мы для пробы садились всюду, для пробы мы провели также наш первый час за кофе, причем девочка болтала весело, как маленькая птичка.

Это радовало меня. Это позволяло хоть немного забыть длинное рабочее время моих будней с его вечной гонкой.

Наступил день въезда. Я намеренно назначил его на вторую половину дня в субботу, когда внезапно Ева позвонила мне.

- Маму и я начистили все у вас до блеска! Вы можете приезжать прямо сейчас! У вас дома...

Моя рука с трубкой вдруг задрожала.

Дома! Я только что услышал эти слова: у меня дома. Что-то маленькое свое в большом городе! Наконец-то! Наконец!

- Ева! Я сейчас же приеду! И мы оба тогда пойдем за покупками, купим много красивых вещей, также для тебя.

Дальше я не мог говорить. Одним движением руки я убрал все с моего письменного стола, запер ящик, бросился в машину и поехал, так быстро, как я только мог, домой. Все же, Ева ждала.

Иногда я думал, что лишусь рассудка, так как число коробок и пакетов в машине все время увеличивалось, но радость и смех девочки, которую я всюду вел за руку, делали меня таким счастливым, озорным, как будто я был под хмельком.

Мы были, наконец, дома. Поспешно мы открывали упаковки, и теперь мы стояли посреди множества купленных радостей, два очень, очень счастливых ребенка, которые удивлялись всему, иногда от души смеялись, иногда снова стояли перед купленными вещами серьезно и задумчиво.

- Что мы сначала будем есть?

- Все сразу, Ева, и все вперемешку!

- И все без хлеба?

- Да, конечно! Мы едим, как хотим!

- О, здорово, хотя, собственно, это нельзя.

Мы ели, стоя перед коробками и набивали рот кусками с редким удовлетворением, болтали при этом с набитым ртом, пока мы больше уже не могли есть.

- Ох, – стонала Ева. – Мне кажется, будто я умру. Я даже не могу сказать слово «булочка». А ведь мне еще нужно сделать уроки.

После множества слов благодарности девочка поспешила домой.

Еще долго я ходил по моей квартире, из одного помещения в другое, и рассматривал многие новые предметы с тщательностью не верящего, сомневающегося, который, однако, в мыслях был с другим человеком, всюду искал его, теперь каждый вечер направлял напряженный взгляд через широкое окно моей жилой комнаты на улицу, и, все же, только на крохотный кусочек в море домов Берлина, только в его свет, но не в его глубокую, неизбежную тень.

Фредерикссен вернулся тихим и изменившимся.

Мы работали тогда изо всех сил. Все этажи бюро с его современными помещениями уже были обставлены, мой «комендант крепости» сидел в его новой стеклянной будке в берлинском основном здании и теперь держал здесь своей опытной рукой в повиновении штаб «его людей» и поддерживал порядок. Его жена работала как секретарь, толстый господин Келлер был справедливым начальником отдела кадров, а господин Шнелль оставался также здесь незаменимым связным между офисом и внешним миром.

Городские филиалы продавали блестяще, также крупные города Северной и Западной Германии начинали шевелиться все больше и больше, другие следовали за ними. Свои доходы я мог назвать только лишь «очень приятными».

- Я, похоже, стал излишним? – спрашивал Фредерикссен.

- Не совсем. Теперь нам нужно поехать для организации фабрики в Темпельхофе. Только тогда вы сможете покинуть нас.

Мы выехали, но Фредериксен, вероятно, не договорился правильно с будущим мастером на заводе, так что мне пришлось проехать несколько улиц дальше к его дому с садом, чтобы забрать его.

Американец хотел позволить себе «по-быстрому» несколько стаканчиков шнапса.

Я встретил мастера на заводе как раз за едой, и так как ему еще нужно было переодеться, он попросил меня посидеть в его хорошей комнате. Окно было открыто, и я увидел, как шарманщик с девочкой, которая вела его, вошел во двор. Он крутил ручку ручного органа, а девочка пела дребезжащим голосом под его музыку.

Песня также больше ничего и не требовала, но манера исполнения заставила меня прислушаться.

«У ее тяжело заболевшего ребенка,

мать тихо сидит и плачет,

Потому что ей в этой жизни

Солнце никогда еще не светило...»

Несколько окон открылись. С трудом шарманщик крутил рукоятку. Девочка была бедно одета, ее ноги болтались в широких, истоптанных и грязных ботинках, косы, кажется, уже давно не были причесаны. Дрожа от холода, она пыталась запахнуть залатанную короткую куртку на узкой груди, и согреть ладони, сильно потирая их друг о друга.

- Теперь мы можем идти, сударь. Извините, пожалуйста, за ожидание.

- Минуточку, – ответил я и стал искать в кармане мелочь. В этот момент я услышал неуверенный, заплаканный голос девочки.

- Пожалуйста, добрые люди, помогите...

- Я тоже дам несколько пфеннигов, – заметил мастер за моей спиной. – Время от времени они оба приходят.

Я бросил монету.

Девочка подняла голову, чтобы поблагодарить. Внезапно наши взгляды встретились.

- Наташа! – закричал я.

Ведь она же всегда хотела нищенствовать, промелькнуло у меня в голове.

Я видел, как она испугалась, как люди из окон посмотрели на меня.

- Мастер, пойдите как можно скорее! Мы должны поймать эту девочку! Она...

Я распахнул двери. Узкая деревянная лестница садового домика гремела под моими ногами.

Внезапно женский голос завизжал за моей спиной: – Господин Янковский! Господин Янковский! Задержите этого парня! Он что-то хочет от девочки!

На последней лестничной площадке путь мне преградил мужчина, такой тип, с которым не хочется встретиться в одиночку.

Но для меня все это значило гораздо больше! Я подставил ему ногу, он споткнулся и упал.

Я выбежал во двор.

Он был пуст...

Тут твердые пальцы схватили меня за плечо. Это был тот самый человек, которому я только что сделал подножку. Рядом с ним стоял мастер, который пытался успокоить его. – Так что же! В чем дело! Эй?... Что он все-таки хочет от девочки? Несколько женщин окружили нас, смеялись и кричали все одновременно.

- Тебя, похоже, кто-то вытряхнул из пиджака, да?

Мужчина отпустил меня, сделал презрительный жест, чтобы я убирался. – Я еще найду тебя, пижон!

- Пойдемте, сударь, – тихо сказал мастер. – Вы же видите, это не имеет смысла. Мы ушли. – Янковский – это наш староста дома, и его очень любят, он высококвалифицированный рабочий-специалист. Оставьте, все же, эту маленькую девочку...

Наконец, я нашел телефон и позвонил в розыскную службу, описал все, что я видел, и настоятельно попросил о немедленном расследовании.

Только с трудом я мог следить за продолжительными переговорами между Фредерикссеном и мастером на заводе, потом я освободился и поехал в розыскную службу, чтобы снова рассказать там обо всем, что я смог узнать. Всю вторую половину дня и вечер я крутился по местности, в которой я видел Наташу с шарманщиком, заглядывал в каждый въезд, в каждый двор.

В унынии и изможденный я вернулся домой.

Еще долго я бродил по моей квартире и снова и снова задавал себе один и тот же вопрос: Почему и с кем попрошайничала Наташа? Ведь не из-за одной только радости от этого?

Да, и была ли это вообще именно она?

Затем я почувствовал уверенность: теперь розыскная служба совершенно определенно найдет ее.

По крайней мере, она жива!

Изо дня в день я ждал звонок из отделения полицейского участка. Наконец, он последовал. Шарманщик и девочка, которых я видел, были задержаны за попрошайничество. Это были безработные.

Спустя короткое время мне пришлось ждать Фредерикссена в отеле «Унтер-ден-Линден». Швейцар сообщил мне, что мой шеф опаздывает. Я сидел в фойе и думал о случае, который соединил нас обоих в этом доме, когда посыльный позвал меня к телефону.

Это был Нойманн, и он был страшно взволнован.

- О, Боже! Я искал вас в вашей клинике, потом в Мекленбурге, у сестры вашей матери, на фирме «Nordisk»! Теперь, наконец, я вас нашел! Наша Наташа бесследно исчезла! Я узнал это вчера вечером сразу после моего прибытия! Я сейчас же буду у вас в отеле.

- Лучше я сам приду к вам.

- На Линден, угол Шадовштрассе, второй этаж.

- До скорого.

Я оставил мой адрес, пересек Унтер-ден-Линден у Бранденбургских ворот. Из французского посольства выходила дама с мальчиком. «Жак!» – кричала она возмущенно, «нельзя указывать пальцем на все!» «Но, мама, зачем же тогда нужен указательный палец? Почему его так называют?»

Я ускорил мои шаги, но имя «нашего Коко» пристало ко мне, и когда Нойманн рассказал всю нужную информацию о Наташе, я позвонил в розыскную службу. Наше удивление было велико: вопреки сообщению его всегда недружелюбной хозяйки Коко, когда выписался, отправился не в Швейцарию, а в Париж.

- Я сразу же поеду туда! – Нойманн вскочил и несколько раз прошелся по своему большому, современному кабинету. – Это мой долг перед малышкой, и так как этот Коко – единственный, кого не допрашивала розыскная служба. Между тем он передает мне адрес мальчика. Но потом – вперед через Митте на ночном поезде! Я сразу позвоню вам из Парижа и привезу Наташу. Как просто это девочка все себе представляет! Только ее предприимчивость несомненна! Что-то в таком роде мне даже почти нравится! Жаль, что у вас нет времени для меня, – сказал он потом. – Ведь я очень хочу знать, как идут у вас дела, мой дорогой! Вы выглядите хорошо и безупречно в этой элегантной одежде.

Я коротко описал ему, где я теперь работал. Потом я указал на его бюро и прилегающие помещения со служащими. – Да, вот это я называю взлет, господин Нойманн!

- Только хвастовство, чтобы через мою импортно-экспортную фирму добиваться лучших цен.

Он подмигнул мне. – Теперь я делаю в... Он сделал вид, будто вскинул винтовку. – Маленькое и большое и все, что к этому относится, – добавил он с улыбкой: – Вы по-прежнему мое доверенное лицо. Ах да, мой хороший... Как это тогда начиналось!

Нойманн погладил себе подбородок и подошел к окну, занавеску которого он немного отодвинул. – Сначала только с рюкзаком, набитым мясом, потом с корзинами, потом на грузовике. Тогда ее забрали у меня, любимую женщину, Татьяну, и я стал неудержимым, лез черту на рога, нахальный как Оскар, чтобы только не думать об этом, чтобы занять себя другими размышлениями, выдумывать новые уловки. Ведь ей же было бы так хорошо со мной. Ей даже иголку не пришлось бы поднимать с пола. Может быть, я хотя бы поэтому хоть немного понравился бы этой маленькой женщине? Вы видите, я остался прежним, даже если я и стал спекулянтом, темным дельцом, контрабандистом оружия. Да, такая игра больше не отпускает, мой хороший! У нее дьявольское обаяние!

Тогда он подошел ко мне и положил обе руки на мои плечи.

- Но скажите честно: почему же вы никогда не приходили ко мне? Я даже очень твердо рассчитывал на это!

- Я был сначала у вашего Ганса, потом в этом бюро, едва только вышел из клиники. Мне сказали, что вы были в разъездах.

- Да, хорошо, вероятно, я тогда также заехал в Испанию. Но, все же, теперь все здесь продолжается как бы автоматически. У меня есть отличные люди. Могу ли я предложить вам что-то, так, по-быстрому?

- Спасибо, господин Нойманн, но я, к сожалению, должен идти.

- Жаль. Тогда в другой раз. Я сразу сообщу вам.

Уже к полудню следующего дня он позвонил мне из Парижа. Я очень ждал этого.

- То, что я выяснил, очень разочаровывает, господин и мастер! – Нойманн был несколько рассержен. – Я только что был у вашего Коко и быстро установил следующее: Наташа позвонила ему тогда из Берлина. Он помог ей перейти границу. У девушки как русской был так называемый «нансеновский паспорт», и так как оба свободно говорят по-французски, переход границы был возможен без больших формальностей. Кроме того, мальчик предъявил свой швейцарский паспорт, документ о проживании в Париже, а Наташу представил как свою «маленькую подругу». От этого ведь смягчится даже самое жесткое сердце француза. Наташа прожила у него только два дня, а потом ушла.

- Что? И куда же?

- Коко предполагает, что она остановилась у богатых русских, которые знали еще ее мать. Оба однажды говорили об этом. В полиции она нигде не регистрировалась, однако, я предполагаю, что намеренно, потому что причину ее ухода я тоже смог узнать от мальчика: Наташа знала, что у вас после тяжелой болезни было очень мало денег, и теперь она очень хочет поторопиться заработать деньги для вас, и чтобы вы ей в этом не помешали. Это все. Что нам теперь делать?

- Совсем ничего, господин Нойманн!

- Почему нет?

- Ведь девочка могла очень хорошо представить себе, – ответил я рассерженно, – насколько сильно нас всех беспокоит ее исчезновение! Ведь так же нельзя делать! Вы знаете, что у Наташи есть дом в Мекленбурге, она получает за него арендную плату. Зачем тогда это попрошайничество у друзей? Я нахожу это смешным!

- Но нет, все же, нет, мой дорогой! Мы же не можем недооценивать ее доброе сердце! К счастью, она не похищена и не мертва. Это самое главное! Давайте теперь позволим девочке дальше действовать самостоятельно! Тогда мы посмотрим, сможет ли она удержаться в одиночку. Ведь мы даже должны были сделать это! И если у Наташи ничего не получится, то у нее все еще есть наши адреса.

- Я не возражаю. Согласен! А как идут дела у Коко?

- Очень хорошо. Он получил ангажемент, который приносит ему, на наши деньги, тысячу марок в месяц. В остальном, это симпатичный, милый парень. Теперь он встречается со своей подругой, милой, нежной девочкой. Я познакомился с ней у него. Оба очаровательно любят друг друга. Итак, тогда: вы завтра вечером придете ко мне в бюро, или...?

- Охотно. Я позвоню вам. Большое спасибо за вашу заботу!

- Ну, пока, весельчак!

Наконец-то я снова последующие вечера проводил дома; о Фредерикссене мне довольно долго больше не приходилось беспокоиться, так как он был целиком и полностью занят своим новым черноволосым «завоеванием». Я всю наслаждался спокойствием вокруг себя, иногда занимался уроками с Евой и рано шел спать.

Правая рука доставляла мне беспокойство; она болела. Тем приятнее воспринимал я близость девочки, ее звонкий, веселый голос, когда она отвечала мне на мои вопросы и при этом держала мою холодную правую руку. Ева думала, что с помощью этого она могла бы лучше концентрироваться. Каждый вечер, едва я входил в мою квартиру, я думал, что выключил, наконец, этот гремющий вентилятор, шум которого я слышал вокруг меня в течение месяцев по десять часов в день и часто еще дольше.

Мне не хотелось ничего больше, чем спокойствия и размышлений в моих собственных четырех стенах.

В это время Фредерикссен узнал о хищении денег в руководстве парижского филиала. Он несколько раз взволнованно звонил по телефону господину Ларсу Петерсону в главном здании фирмы в Стокгольме, уехал в Швецию, но вернулся уже через несколько дней с толстым портфелем, который он положил на мой рабочий стол.

- Нам нужно как можно быстрее навести порядок в этой авгиевой конюшне в Париже, иначе дела мои очень плохи!

Час за часом мы сидели над документами. Я должен был сообщить двум адвокатам о нашем прибытии и их обязательствах в Париже, к тому же еще двум присяжным ревизорам, которые, даже если это должно было происходить очень поздно вечером, должны были быть всегда готовы к работе с Фредерикссеном.

Мое великолепное спокойствие было уничтожено одним ударом. Маленькая Ева теперь напрасно ждала меня.

При этом я проклинал свою правую руку, которая теперь днем и ночью обращала на себя внимание растущими болями, так что я должен был искать спасение в сильнодействующих лекарствах, чтобы оставаться работоспособным. У меня бывали безжалостные дни, когда мне приходилось собирать всю свою волю, чтобы не капитулировать. Фредерикссена сразу же на вокзале в Париже встретили несколько элегантных дам и господ, которые очень сильно льстили ему. В своей непринужденной грубоватой манере он спрашивал их только о последних денежных оборотах, и когда он услышал лишь невнятно произнесенные цифры, его лицо стало замкнутым.

Мы сразу поехали в офис. Нас услужливо провели внутрь. Я следовал за Фредерикссеном как телохранитель. Помещения были больше похожи на частный салон, хотя в нем разумно обставили привычной здесь мебелью также комнату для «женщины из народа», в которой двум «гражданкам» как раз демонстрировали пылесос. Даже уравновешенный мужчина не мог не заметить внешний вид служащих-женщин, но к моему удивлению Фредерикссен не обратил на это ни малейшего внимания.

В слегка пахнущем духами кабинете шефа, Николя Дюпена, нам на стол сразу подали хорошее мокко и отборные сорта напитков. Мой шеф воспользовался спиртными напитками в полной мере по своему усмотрению, но его недружелюбное лицо также вследствие этого не прояснилось ни на мгновение. Потом последовал обход по всем помещениями, он задавал вопросы как фельдфебель на учебном плацу, заботился обо всем, присутствовал на презентации, ни про-

ронив ни слова, и уже только одним этим вызвал сильное смущение у красивой, стройной дамы, проводившей показ пылесоса.

- Я очень недоволен, господа! – он открыл совещание этими словами. – Вы все относитесь к организации продаж? Если нет, то я прошу вас, чтобы вы покинули офис. Ведь часовой перерыв на кофе, пожалуй, закончился?

Несколько дам и господ смущенно вышли.

- Что меня так сильно возмущает, это пыль и грязь во всех углах! Мы тут пылью торгуем или мы продаем пылесосы? Потом этот достаточно своеобразный «внешний вид» дам. И если все они так плохо владеют искусством продаж из США, как эта симпатичная маленькая птичка, то меня, поистине, не удивляет, что вы, господа, мне прямо на вокзале пролепетали такие смешные цифры. Но так как я акционер Nordisk Aktiengesellschaft, то я не потерплю такую ситуацию!

Настроение опустилось ниже точки замерзания, и даже утонченный ужин смог поднять его только на несколько градусов.

- Тед, – прошептал он бесцеремонно, и так как он назвал меня по имени, я уже знал, что это было либо что-то важное, либо намеренная искренность. – Позвоните прямо сейчас ревизорам и пригласите их обоих на завтра на семь утра... перед офисом. Мы должны быть первыми! Я прогоню уборщиц, и в случае какого-нибудь срыва я сразу позвоню вам.

Фредерикссен распрощался со своими гостями раньше, чем обычно. Николая Дюпен, шеф и совладелец главной фирмы в Париже, был поражен этим.

- Завтра я точно буду знать, на какую сумму эти братцы надули меня! Пожалуйста, оставьте наш портфель в гостиничном сейфе! Мы пойдем гулять.

Он прищурил один глаз.

Такси везло нас по ночному Парижу. Его бессмертная магия, тот флюид, который всегда манит и воодушевляет и в состоянии дать каждому то, что он желает, была похожа на тонко чувствующую любовницу, которая нежно одаривала нас тихим, услужливым шепотом.

Фредерикссен попросил остановиться. – Не пойти ли нам туда, где нас обслуживали бы голые женщины?

На этот вопрос я только покачал головой.

- Вы, все-таки, своеобразный человек.
- Может быть, – ответил я почти невежливо.
- А что же делать ночью в Париже? – В «Максим» на Рю Руайяль! – крикнул он водителю, и мы уже двигались дальше.
- Лучше всего мы встретимся завтра в вестибюле гостиницы.
- Но ведь гораздо приятнее оставаться вместе, Тед.
- Вы позволите мне сегодня вечером уйти?
- Но скажите же мне, что вы планируете?
- Ничего, господин Фредерикссен.
- Это невозможно!
- Возможно.
- Или у вас есть какое-то особое поручение? Для кого?
- Нет.
- Гм..., – произнес он задумчиво.
- Могу я идти?

Мы вышли из машины.

- Знаете, – американец положил мне руку на плечо. – С вами у меня всегда такое чувство, простите, что я говорю вам это честно, что вы иногда принимаете жизнь, как нечто навязанное. Но почему? спрашиваю я себя. Ведь у вас же есть все, что может сделать мужчину счастливым!
- Определенно.
- ?
- Могу ли я теперь уйти, не обидев вас при этом?

Он хлопнул меня по руке, улыбнулся в своей откровенной манере и поспешил большими, твердыми шагами к входу в «Максим».

Я шел и шел, как я часто делал ночью. Только когда безоблачное небо над Парижем окрасилось в светло-зеленый цвет, я вошел в отель. Я очень, очень устал. Сразу же утром я принялся искать в телефонном справочнике: Жаннетта Юбер. Ее там не было.

Ганс... Жан Матьё! У него был телефон!

Я сразу попросил соединить и чувствовал, как мое сердце бьется быстрее.

- Алло! – ответила Жаннетта через некоторое время. – Алло, скажите, пожалуйста, кто говорит?

Она ждала, и я отчетливо слышал, каким быстрым было ее дыхание.

Она только что проснулась и еще совсем заспанной поспешила к аппарату? Но ведь было уже 8.30. Раньше она всегда вставала очень рано. Все же, она хотела открыть собственный салон? Посещает ли она теперь, наконец, академию для портных?

- Алло! Кто говорит там, пожалуйста?

Напряженно я внимательно слушал ее голос.

- Мадам Матьё? – спросил я неуверенно, хрипло, неожиданно для меня самого.

- Но нет, месье! Как вам такое в голову взбрело? – сразу ответила она знакомым мне веселым и звонким голосом, как всегда, когда она удивлялась. – Я только его знакомая, которая, собственно, больше из привязанности время от времени присматривает у него за порядком. Я как раз вошла его квартиру, еще стою в шляпке и пальто, а потом собираюсь идти в академию. Господин Матьё работает в Banque Nationale и в большинстве случаев не возвращается домой до шести часов вечера.

Я еще так хорошо знал каждую модуляцию ее немного шутливого голоса...

- Могу ли я передать что-то господину Матьё, месье? Я охотно сделаю это, однако, не знаю, когда я увижу его. Если это что-то спешное, то я могу дать вам его номер телефона в банке. Алло!... Вы еще здесь, месье?... Почему вы больше не говорите? Вы поняли меня? Как странно..., – произнесла она тихо и удивленно.

- Я точно слышу, связь между нами все еще есть! Пожалуйста, почему же вы больше ничего не говорите, месье? Ведь вы же хотели что-то передать, не так ли? Или мне лично? Жаннетта Юбер – это мое имя. Пожалуйста, или это что-то для меня? – настойчиво спрашивала она. – Как странно... Гм...

Я все еще внимательно слушал. Потом я заставил себя поднять левую руку и положить трубку.

«Связь между нами обоими есть», повторил я взволнованно и подошел к окну.

Мне нужно было закурить.

Я непременно должен был держать что-то в пальцах.

Нет, я не мог пойти туда. Я вдавливал это себе в голову. Она была слишком хороша, чтобы оставаться только моей любовницей. Но большего, тем не менее, я не мог бы ей дать, и она это знала. Моя маленькая Жаннетта...!

У нее была черная стрижка «под рамочку», изумрудные глаза и гладкая, вызывающе белая кожа, и она всегда шила тонкое, нежное белье, делала, однако, всегда неловкие, маленькие узлы в шелковых нитках. Какой несчастной она была, когда я должен был привезти ее в клинику, и какой счастливой, когда я снова забрал ее! Она даже еще оплатила мою комнату, так как она надеялась. Она знала от нашей госпожи Буш, что меня выписали из больницы...

Теперь она тоже больше не надеялась.

Я все еще стоял у окна, не зная, что мне делать с самим собой. Только медленно я посмотрел вниз на текущую Сену и на уличное движение.

Образ маленькой Жаннетты...

Телефон в моей комнате зазвенел. Я издал пугливый крик.

Кто же это мог быть? Она?

Нет! Невозможно!

Тогда... тогда я пошел бы к ней, еще раз попробовал бы, попытался бы еще раз отдать то, что еще было во мне.

Я поднял трубку.

- Пожалуйста, минуточку, месье, я соединяю вас с...

... попытался бы отдать то, что еще было во мне.

- Николая Дюпенем.

- Извините, пожалуйста, что беспокою вас, месье, – звучал его слишком уж вежливый голос.

- Напротив, месье Дюпен.

- Я имею удовольствие, – издевательски произнес он, – по просьбе господина директора Фредерикссена просить вас немедленно прибыть!

Я знал: срыв!

Фредерикссен как лев ходил туда-сюда.

- Тед! Я с ума сойду! Расследование уже показало растрату в размере нескольких тысяч долларов! Вы должны сразу вмешаться, строго добиться всего! Вы владеете французским языком. Иначе я получу нагоняй из Стокгольма!

Американец, кажется, потерял голову. Взгляд его сверкал. – Во всем виноваты эти проклятые истории с женщинами в вашем Берлине!

- И что же вы предприняли?

- Ничего! Теперь вы должны начать все! Боже, дружище, как вы можете быть таким спокойным! Два адвоката должны немедленно заняться этой кражей! Я каждую минуту ожидаю телефонных переговоров с США и Стокгольмом. Цифра отправленных из Швеции в Париж пылесосов не совпадает с бухгалтерскими записями. Этот Дюпен – бандит, напомаженный, вонючий преступник! Мы вряд ли сможем так быстро вернуться в Берлин. Вы мне нужны! Вы же это видите!

- Кому же вы хотите звонить сейчас в США? Там сейчас три часа утра, все спят.

- Ах да! Конечно! Отмените звонок. Мы позвоним сегодня вечером из отеля.

Во второй половине дня мы начали только с одним адвокатом расследование мошеннической аферы, но я провел полночи с Фредерикссеном и уговаривал его, как будто бы я должен был утешить самого себя.

На следующий день после полудня я был свободен.

Я провел остаток дня в бистро, находившемся напротив дома, в котором жила Жаннетта.

Я очень думал о ней. Я хотел увидеть ее, пусть даже только издалека. Но я не видел ее.

Через несколько дней я уехал. Безнадёжно дождливым вечером.

Боли в моем правом плече все еще усиливались, и мой послеоперационный рубец горел как огонь. Все указывало на то, будто он хотел выделить костные осколки точно так, как это прогнозировал тайный советник Пайр. Я едва ли мог двигать рукой.

Фредерикссен видел, как обстояли мои дела, и он сразу ограничил всю мою работу только лишь офисом. Но потом даже это больше не получалось.

Фредерикссен на своей машине привез меня к Пайру, и так как я из-за незначительности операции отказался от наркоза, американец по моему требованию дал мне полный стакан водки и твердо держал мою руку, в то время как Пайр резал меня.

- Знаете ли вы, дорогой господин тайный советник, – пытался я шутить при этом, – что русские сделали три величайших изобретения? Водка, самовар и валенки. Благодаря этому они справились со всеми потрясениями в горе и радости!

Я видел, как Пайр скальпелем вскрыл опухоль, очистил рану и перевязал меня. Профессор оказался прав: сустав выделял осколки. Фредерикссен во время операции стал бледным как мел и, похоже, был на грани обморока.

– Вы для меня прекрасная опора, господин шеф. Но вы еще смогли бы отвезти нас обратно на машине в Берлин?

Он привез меня домой, он позаботился об опытной сестре, которая должна была ежедневно перевязывать меня, и так как вся продажа шла уже по в некоторой степени проторенным путям, механосборочные мастерские в Темпельхофе начали собирать из отдельных частей целые аппараты, обороты росли, он все чаще и дольше оставался в офисе.

По прошествии некоторого времени я снова смог продолжить мои поездки по крупным городам, чтобы создавать и инспектировать последующие филиалы. Но это доставляло мне большие хлопоты.

Незадолго до своего отъезда в США Фредериксен не без сердечности произнес:

- Как главный представитель вы вскоре очень легко справитесь со своей работой, а что касается вашего будущего, господин генерал, то вы еще в течение следующих двадцати-тридцати лет уверенно сможете бесчинствовать в метрополии. Мы же все дальше совершенствуем стандартную модель и располагаем таким большим капиталом, что пылесосы конкурентов не смогут так просто спутать наши планы. Вы можете полагаться на это. И маленький воздушный замок с винным погребом вам теперь обеспечен. Вы еще помните, как мы тогда познакомились, совсем не выпавшиеся, и продали тогда, тем не менее, 38 пылесосов за один день? За ваше здоровье, Тед, за ваше здоровье!

Через несколько дней после этой беседы я внезапно снова испытывал неистовые боли. На этот раз местного лечения было недостаточно. Пайр должен был предпринять настоящую последующую операцию и незамедлительно оставил меня в своей клинике.

Новый удар!

Я принял его безразлично, почти апатично.

Почти точно через два месяца после этого дня я вошел в мой маленький домашний очаг в Берлине.

Центральное отопление было включено. Помещения были чисты и проветрены, как будто бы я только сегодня утром ушел на работу. Ева и ее мать встретили меня у входной двери; они образцово заботились о моем хозяйстве.

Я прошел по своей квартире, внимательно рассматривая все предметы. В ванной мыло еще лежало в мыльнице, а на вешалке висело полотенце, которое я как раз вытащил из шкафа, прежде чем уехать. Теперь я снова был здесь.

Теперь я должен был «продолжать»?

Вероятно, снова начать с самого начала, как это было уже дважды?

Тогда я стоял на кухне, думал, чего я хотел там, собственно, открыл холодильник. Он был включен. Впереди стояла водка, мой любимый напиток. Я налил себе полный стакан, опустошил его одним глотком. Боли снова сильно мучили меня. Моя рука ощупывала все предметы, как будто бы я хотел поздороваться с ними как со старыми, дорогими знакомыми, которые всегда были рады мне, которых я выбрал когда-то из массы, чтобы иметь их у меня, чтобы радоваться

им, особенно, когда я был один. И они должны были также всегда быть для меня свидетельством того, что я все это постепенно заработал себе сам, добился, нахло всему.

Я был счастлив среди них и даже гордился ими и собой.

Но глядя на них, у меня было теперь чувство, как будто бы я должен буду уже скоро расстаться с ними.

Будет ли другой, который тогда будет владеть ими, любить их так же, как я?

Желание присутствия дорогого человека, тихих нежностей женщины, проснулось во мне. У меня никого не было. Но я знал, что я снова потеряюсь, не спрашивая о том, что будет после этого. Но мог ли я быть всегда только один с самим собой и с моими болями?

Я выключил торшер и подошел к широкому окну: крона липы осторожно выглядывала за ним, неподвижная, в робком сумраке нового утра. Снова во мне проснулась потребность уйти туда, где я когда-то был; таким сильным и настойчивым стало это желание, что я отдал бы все, чтобы только исполнить его.

И тогда внезапно я тоже ушел... к ним.

Я увидел перед собой призрачный, молочный свет Крайнего Севера над молчаливой тайгой, безобразным, чахнувшим девственным лесом в глубине Сибири, и там едва ли узнаваемую, заросшую и так странно тихую тропинку, по которой с давних пор никто больше не ходил. Ничто не колыхнется, ни лист, ни ветка, ни животное, ни птица, нет никакого дыхания ветра, как будто бы все заколдовано.

Но теперь! Здесь, там, действительно и ликуя в своей нежной чистоте, просыпаются тихие голоса веселых синиц. Издалека доносится дыхание ветра. Лаская, он касается верхушек и качает щебечущих птиц. Они манят и вызывают солнце. Тут оно появляется... солнце! Уже сноп тысяч сверкающих лучей ложится над бесконечным лесным морем и тихой дорогой. Все новые и новые лучи разливаются над ним, и теперь они спешат вдоль лесной просеки и разрывают клубы тумана. В блеске росы я вижу, как светятся березы со светлыми стволами, искалеченные, кривые деревья, густые кусты с вялой листвой, которая сверкает как чистое золото, скрытые грибы, красные и синие ягоды, доверчиво прислушивающиеся лесные звери в горьком аромате осеннего леса под серо-голубым небом Крайнего севера.

И, наконец, лес отступает... Еще в далекой дали крохотный островок! Это Забытое, «забытая» деревня с ее низкими деревянными избами и шахтными колодцами, посреди которых лишь чуть-чуть возвышается колокольня. Колька, моя любимая косматая лошадка прислушивается, потому что чует конюшню, и уже нетерпеливо трется ноздрями о мою спину. «Иди, все же, иди! Чего ты еще ждешь?» хочет она сказать мне.

Мне нужно предупредить скрывшихся и забытых в Забытом, думал я, полный нового беспокойства, о том, что безжалостно придет к ним. Они ждут меня, так как я много лет назад пообещал им, что вернусь.

Но потом я снова чувствовал грызущие, глухие боли еще не зажившей раны, тяжесть моей руки и еще большую тяжесть во мне.

Как же мне попасть в Забытое?

Человек рожден ползать, не летать.

Я прислонил голову к оконному переплету. Проявлялись контуры домов и крыш большого города, его зубцы и линии, башни и башенки церквей, пока они все не показали свое бледное лицо. Первые еще несколько темные фигуры пронеслись мимо них.

Дни проходили в почти полной уединенности. Только у проворной Евы Шустер был доступ к моей квартире. Малышка была трогательно осторожна, когда она приходила ко мне, убирала, приносила еду и уходила. Но если она должна была подавать или резать для меня блюда, то она садилась прямо напротив меня и тщательно разглаживала короткую юбочку над тонкими коленками. При этом она рассказывала мне о своих маленьких радостях и печалях, о своей учебе и о том, как она уже сейчас прилежно работает для своего будущего, или о том, как это было, когда я въехал в мою квартиру, и какими резвыми мы оба могли быть тогда. Так она все время старалась приободрить меня.

Когда она уходила, я часто думал о ее карих, так благотворно воздействующих живых глазах. Иногда она задавала вопросы мне, и как раз они начинали занимать меня больше, чем малышка, собственно, могла думать, так как они касались меня самого и тех, от кого я зависел профессионально.

Поэтому случилось так, что только немного позже, я, почти автоматически, и чтобы хоть вообще что-то делать, позвонил в «Nordisk». Мой «комендант крепости» был вне себя от радости. Вслед за тем он посетил меня вместе со своей женой. Они принесли мне английскую трубку, табак и корзинку с фруктами,

сделали мне хорошее мокко, и мы долго говорили друг с другом об офисе, оборотах, кадровых изменениях, о Фредерикссене и о том, что мое место пока занял директор филиала из Стокгольма, Ларс Петерсон. Но только временно. Мое трудовое соглашение было продлено без ограничений еще на четыре месяца. Я качал головой. – Мне этого больше не хочется!

- Но я прошу вас, новый начальник под честное слово был назначен только временно! Это мне определенно гарантировал Фредерикссен. Даже в письменной форме! Мы ждем вас. Вы только лишь должны приехать и получить снова ваше прежнее место.

- Но как же я смогу работать в бюро с почти парализованной правой стороной тела?

- Мы будем делать это и дальше для вас с той же самой верностью! Самое важное – это только ваша голова, согласованность многих комбинаций, которой вы владеете больше, чем другие!

Нужен ли я им на самом деле? спрашивал я себя.

Ведь незаменимых людей нет!

Они обманывают меня и самих себя.

Я вышел в ночной большой город.

С Кайзердамм я по Хеерштрассе проехал до моста Штёссензеебрюкке. Там я вышел и смотрел на вниз озеро, темная, лежащая глубоко внизу водная поверхность которого едва заметно отражала свет уличных фонарей, холодный в плотном тумане, который волнами гнали осенние ветра. Только время от времени спешащее, темное, большое чудовище грузовика гремело мимо, над ярким светом его фар порхали в сторону обрывки тумана или расплывчатые тени отдельных безликих пешеходов.

Я склонился к широким каменным перилам моста и посмотрел вниз. Глубина пятьдесят метров, думал я.

Тело сталкивается с водой... приглушенный туманом шум... Неуловимый в тишине и в молчании ночи, в стороне от шумящей, ярко освещенной метрополии.

Тогда можно было бы стать только одним из многих безвозвратно пропавших. Нет, для этого господин Нойманн одарил меня чем-то лучшим и более надеж-

ным. Эта штука выполнила бы чистую работу, во время которой человеку также не потребовалось бы много понимать.

Темная фигура неторопливо и нерешительно прошла близко от меня, оглянулась на меня и тоже склонилась, еле-еле видно, над тяжелыми перилами моста. Те же мысли? Та же самая тоска по близости человека, которого кто-то был лишен?

Тогда я ушел. Фигура осталась, все еще смотрела вниз на эту пятидесятиметровую глубину и не двигалась.

Это была женщина...

Должен ли был я обратиться к ней, успокоить ее, убедить, сыграть роль «мудрой судьбы»?

Но зачем? Не должен ли каждый человек в одиночку справляться с этим?

Сияние города все приближалось. На Хеерштрассе я видел тут и там элегантные кортежи автомобилей, из них выходили дамы и господа в шикарной одежде, светлые высотные здания окаймляли площадь Райхсканцлерплатц, пестрые рекламы вспыхивали и гасли, пешеходы, трамваи, сверкающие машины скользили мимо. У каждого была своя дорога и цель. Бесконечный ряд уличных фонарей тянулся от этой маленькой возвышенности вниз к Кайзердамм.

Приятное тепло окутало меня, едва я закрыл дубовую входную дверь за собой. Свет освещал широкую покрытую коврами лестничную клетку, в середине которой ждал лифт.

Я поднялся, захлопнул дверь лифта и приблизился к моей квартире.

В углу косяка моей двери стояла женщина в не поддающейся описанию куртке, в платке, завязанном в русской манере.

Я подошел к ней.

Она подняла голову.

- Наташа! – воскликнул я негромко.

Мурашки пробежали у меня по спине. Я больше не мог произнести ни звука.

Сложив обе руки на груди, немного наклонив голову в сторону, она подошла на шаг ко мне, посмотрела на меня робко.

- Пожалуйста, не прогоняй меня! Я умоляю тебя... Я больше не могу!

Внизу открылась входная дверь дома.

- Быстрее! Нельзя, чтобы нас увидели!

Я открыл дверь, втолкнул Наташу в мою квартиру, зажег свет.

Она стояла передо мной в коричневато-зеленой куртке, какой-то юбке, бледная, одичавшая, с тонкими, дрожащими плечами, как будто бы она замерзла, взгляд ее все еще был робко направлен на меня. Нетерпеливо я снял с нее плавок, бегло провел рукой по ее волосам.

Похожая на цыганку девочка, полная грустной красоты! Тут я прижал ее к себе. Она спрятала лицо в моем плече и тихо всхлипывала.

Тоска по близости другого нашла свое удовлетворение в прощении.

- Наташа, взгляни же хоть разок на меня!

Она качала головой.

- Мне так стыдно, что я попрошайничала. Могу ли я остаться у тебя... папочка? – робко спросила она.

- Почему ты доставляешь мне только огорчение и печаль? Почему ты ушла, не сказав никому ни слова, да еще и склонила нашего Коко ко лжи? Господин Нойманн поговорил с ним в Париже; мы знаем все! Даже если моя мать «идет как часы», как ты говорила, то она отнеслась бы к твоему намерению учиться танцам с полным пониманием. Здесь не может быть сомнений. Кроме того, ты смогла бы распорядиться всей арендной платой за твой дом и не нуждалась бы выпрашивать помощь у чужих людей. И почему ты никогда не писала нам? Ведь ты же могла себе представить, как мы все беспокоились о тебе!

- Прости меня... Ведь я все это сделала из добрых побуждений и хотела тебе помочь... своими силами. Я хотела гордиться этим. Но все вышло неловко и глупо. Я написала тебе вскоре после моего ухода. Госпожа Асагарова, у которой я жила в Париже, убедительно призывала меня к этому и даже приложила свое письмо тебе, так как ты должен был знать, как хорошо меня приняли у нее. Ты

никогда не ответил мне на это письмо. Значит, ты ничего не хотел понимать и не хотел простить меня?

- Наташа! – увещевал я ее с тихим упреком и поднял ее голову ко мне.

- Я клянусь тебе в этом, папочка! Я никогда еще не обманывала тебя, никогда еще! Разве ты тогда не получил письмо? И за последнее время? Почему ты никогда не отвечал на телефонные звонки? Это лишило меня всех надежд!

- Я снова был в клинике Пайра, а когда я вернулся, я вытащил телефонный штекер, чтобы побыть одному. Деточка! Я счастлив, что ты пришла!

Она гладила мое лицо шершавыми, огрубевшими руками, но потом она обвила руками мою шею и прижала свои губы к моим.

- Принесла ли ты мне свою маленькую улыбку?

Она настойчиво качала головой.

- Мне слишком стыдно... Ни у кого я не осмеливалась просить помощи. Муж госпожи Асагаровой так преследовал меня, что мне пришлось уйти. Его жена сама просила меня об этом. В конце концов, я выполняла в Берлине самую простую домашнюю работу, так как я, все же, ничему не научилась. Теперь мне совсем плохо. Если бы я не встретила тебя сегодня вечером, то я не знаю, что стало бы со мной... Я люблю тебя еще больше, чем раньше. Ты уже знаешь как...

Ее лицо сильно покраснело, она не отводила от меня взгляд.

- До сих пор я защищалась от всех как кошка, царапалась, кусала, и последнего даже ударила ногой, когда он грозил мне ножом и почти все сорвал с меня.

Она загладила себе волосы назад, и на ее лице появилось напряженное выражение, которое подчеркивалось глубокой складкой над переносицей.

- Потом пришла его жена. То, что произошло между нами, было ужасно. Она выгнала меня на улицу, в том виде, в каком я была, да еще и вылила мне на ноги целое ведро помоев.

Я отпустил ее. Она поникла и села на стул.

- Боже! Ты снова болен, твоя рука в черной повязке! Тебе очень больно?

Она свернулась под моим пальто, как будто она все еще была ребенком.

В этот момент я знал, что мы подходили друг другу с самого начала.

- Наташа, – тихо воскликнул я. – Я обещал тебе, что соберу все в моем сердце, чтобы сделать тебя счастливой, нас обоих!

Она взглянула вверх на меня, и в ее черных глазах сверкнула искра.

- Ты действительно простил меня? На самом деле? Полностью?

Она обняла меня с утихающим отчаянием наконец-то уверенного человека и снова посмотрела на меня.

- Папочка! Нет, ты для меня больше; ты – все, что я чувствую. Для этого нет имени... Или, все же...?

Она улыбнулась. – Солнце... да, солнце...! Вот что ты для меня. Никто, ничто не может жить без солнца...!

Я держал ее, и в голове у меня мелькнула мысль: нет, это все нереально!

Но она, все же, была здесь!

И я почувствовал что-то от той защищенности, которая была вокруг меня, когда она раньше еще приходила ко мне, голоса моих...

- Моя милая!

Это было так, как будто бы что-то расслабилось во мне.

- Теперь пойдём! Сейчас я хочу показать тебе, как я живу, все, что у меня есть... для нас двоих.

Пока Наташа купалась, я позвонил моей матери, сообщил ей о случившемся, пообещав вскоре описать ей все подробно в письме. В ресторане «Райхе» я заказал нам еду с доставкой на дом.

Потом я проинформировал Нойманна и розыскную службу. Вскоре после этого Наташа позвала меня.

- Я искупалась. Что мне теперь надеть? Я не справлюсь с феном. Я выгляжу как наполовину утонувшая кошка.

Тогда я тихо засмеялся, впервые за долгое время.

- Я принесу тебе мою самую красивую пижаму.

Я уже подобрал ее и передал ей через щель двери. – Здесь еще мои тапочки.

Она стыдливо вышла из ванной. Ее лицо пылало, глаза сверкали как черный алмаз. Она пахла моим одеколоном.

- Уф! Я буквально тону в этом.

Она закатала штанины и зашаркала ногами в шлепанцах ко мне.

- Ты высушишь мне волосы, папочка, Солнце? Где мне сесть? Дай мне только ремень с твоих брюк, чтобы я укротила эту твою пижаму.

Она теребила широкие для нее штаны, пока не перепоясалась.

- Так! Если бы я не была уже знакома с тяжелой работой, то я теперь бы уже устала.

- Ну, вот видишь, насколько полезной она была. Сиди спокойно!

Когда я потом почистил и перевязал ее рану на ноге, я держал ее тонкую ногу с высоким подъемом, и при этом ощущал такое приятное тепло, что я приложил ногу к щеке.

- Что ты делаешь? – ее голос был робким и боязливым. – Ты был таким несчастным... дорогой?

- Теперь больше нет.

Едва Наташа доела последний кусок и выпила остаток красного вина, она полностью капитулировала.

- В твоей прекрасной кровати должна я спать, чисто застеленной? А ты? На диване? Ах, да, только сегодня первую ночь.

Она с удовольствием залезла в кровать и уютно шевелилась в ней. Маленький вздох, счастливая, благодарная улыбка, немного склонившаяся в сторону головка с устало смотрящими глазами.

- Теперь я хотела бы быть нежной к тебе, благодарить тебя, всё снова и снова. Она поцеловала мою руку. Я накрыл ее одеялом, и она уже заснула.

Моя Наташа...!

Еще было слишком рано, чтобы спать. Потому я сел в свое удобное кресло под светом широкого торшера и потянулся за книгой, но я не мог остановить поток моих мыслей.

Наташа принудила к решению!

Для меня!

Мое сердце билось быстро.

Данное мною Наташе обещание собрать все во мне, чтобы сделать ее счастливой – смогу ли я сдержать его? Не было ли это сказано в аффекте и, очевидно, только потому, что я всегда был слишком одинок?

Наташа ведь не знала, что тогда каждая женщина, осознанно или также неосознанно, предается мужчине, со всеми болями и всем счастьем. Она отныне все согласовывает с ним, свои нежности, желания и мечты. Могу ли я пойти на такой риск?

И если бы я должен был признаться ей однажды, что я ошибся в себе самом, даже если сделал это из самых хороших, самых честных намерений?

Как она тогда все это воспримет?

И если она сломается из-за этого?

Я сделаю все, чтобы сделать нас обоих счастливыми.

Также меня!

Я даже еще раз пообещал бы это ей и с еще большим усердием и убеждением, так как мое чувство к ней настоящее. Я больше не хотел тосковать по тени, которую я любил, которую я по вечерам упрямо воскрешал в моей памяти.

При этом я вспомнил о моей русской кормилице, как она когда-то становилась на колени со мной в «Красном углу» перед образами и горящими свечами, мои детские пальцы складывала для молитвы, а мою крохотную руку вела к первому крестному знамени. Я вспомнил о ее последней поездке из ее деревни в Нов-

городской губернии ко мне в Петербург, без страха опасности ареста. Разбитый и опустошенный внутри, я рассказывал ей все, что так сильно волновало меня, и эта глубоко верующая, простая женщина, которой я был обязан жизнью, тогда просто сказала мне: – Феденька, ты не можешь тосковать по мертвецам. Не грехи! Пожелай им вечного покоя, так как они уже освобождены, а мы, однако, все еще нет.

Да, я хотел выполнить свое обещание Наташе! Но тогда я больше не мог воскрешать в памяти прошлое. Я должен был пожелать спокойствия мертвецам, как бы покинуть мой старый дом, чтобы занять новый, который я должен был сначала обставить.

Тихо я прокрался в мою спальню и рассматривал девочку. Она немного откинула с себя одеяло. Грудь поднималась в равномерном дыхании.

Ничто больше не должно стоять между нами, Наташа! Я всегда буду добр к тебе. Но только не разочаровывай меня! Ради нас... нас обоих! ... думал я взволнованно.

Иначе мы снова будем бедны и одиноки.

И я не знаю, смог ли бы я вынести это еще раз. Наташа еще очень крепко спала.

Я позавтракал и поехал в «Nordisk». Шнайдер, Келлер и остальные не поверили своим глазам. Фредерикссен собирался приехать через четырнадцать дней, рассказали они мне. Он подробно осведомлялся обо мне. Замещавший меня сотрудник должен был вернуться назад в Стокгольм.

Я обещал, что возобновлю работу. Они хотели помогать мне, как только могли, и так как руководитель центрального офиса также был рад этому – он сам ни в плане языка, ни в плане организации не мог справиться с трудным рынком Берлина – мы все в действительно торжественном настроении пошли в находившееся напротив кафе, чтобы позволить себе по стаканчику шнапса и хорошее мокко.

Когда я вернулся домой, Наташа еще лежала в кровати.

Она сняла пижаму и повесила ее на стул.

- Солнце! – крикнула она с радостью и протянула ко мне свои голые руки. – Я так хорошо нежусь в твоей кровати. Это так прелестно! Где ты был?

- Я пока побывал на моей прежней фирме. Я буду снова работать там с завтрашнего дня.

- А я хотела бы снова учиться танцам и вместе с тобой зарабатывать деньги. Ты согласен, дорогой?

- Конечно. Это хорошее решение!

- И что мы теперь делаем?

- Встаем, завтракаем, покупаем одежду. Я уже зарегистрировал тебя в полиции.

Я дернул за одеяло. Глаза у Наташи округлились. – Тогда вставай побыстрее.

На такси я привез ее в салон мод возле зоопарка. За самое короткое время Наташа превратилась в элегантную молодую даму.

После обеда в ресторане мы возвращались домой. Наташа сразу заползла в мою незастеленную кровать и заснула.

Она едва ли изменилась. Она почти не радовалась своим новым вещам; они лежали разбросанные вокруг. Моя маленькая квартира, которую Ева Шустер с ее матерью всегда держала в чистоте вплоть до углов, уже обнаруживала следы ненавистной мне небрежности.

Хотя Наташа выразила желание брать уроки танцев, все же, она больше не упоминала об этом ни словом, так как она, как всегда, хотела предоставить мне все последующие шаги. Я намеревался оставить ее в покое на несколько дней, но потом принять решительные меры с необходимой строгостью. Я снова поехал в «Nordisk».

- Где ты был? – спросила Наташа, когда я вернулся домой; она как раз проснулась. – Ты такой холодный. Пойдем, я тебе что-то разогрею.

Она приложила ладони к моим щекам и ушам.

- Ты не хочешь встать?

- А я должна? – спросила она нерешительно. – А тогда?

- Пойдем в кино, чтобы, по крайней мере, хоть что-то делать. Завтра я начинаю работать. Ты хотела похлопотать о танцевальной школе. Затем ты будешь заниматься нашим хозяйством, планировать наш бюджет, как ты всегда намерева-

лась, но очень точно. Ты уже многому научилась от моей матери и твоей подруги Лони. Обедать я буду поблизости от фирмы, но по вечерам ты будешь все нам хорошо готовить.

Она только кивала.

Едва вернувшись домой после кино и последующего ужина, она начала незаметно зевать. Я сразу отправил ее в кровать, подарил ей один поцелуй и сел под светом торшера, чтобы еще немного почитать.

Она спала еще следующим утром, когда я ушел.

Так это происходило и в последующие дни. Я думал о данных самому себе обещаниях и начал стыдиться этой поспешности.

Я еще не упрекал Наташу, хотя моя квартира была только едва прибрана. Она будет слишком сильно уставать, полагал я. Наташа также все еще не предприняла никаких шагов, чтобы найти танцевальную школу.

- Завтра я в любом случае сделаю это, – обещала она мне, краснея.

Снова я уходил из дома, не будя ее.

- Ну, ты уже узнала что-то о твоей школе? – такими были мои приветственные слова вечером.

- Солнце...

- Почему нет? – спросил я рассерженно.

Она пожала плечами и потупила взгляд.

- Да, не хочешь ли ты тогда работать?

- Ну, о, да...

- Ты знаешь, я не терплю ничего половинчатого. Все должны работать!

- Ты снова так строг ко мне.

Она обвила руками мою шею и поцеловала меня.

- Ты должна уже хоть немного постараться, если ты хочешь кем-то стать. Я убежден, что ты можешь достигнуть чего-то большого, если только добросовестно постараться! Или ты этого не хочешь? Разве у тебя нет честолюбия?

- Я нравлюсь тебе в новом платье? Только взгляни, какие у меня красивые ноги в этих тонких чулках! Хорошо ли подкрашены мои губы...?

- Это что, твой ответ?

- Но я же хочу нравиться тебе, мой любимый!

- Если ты чего-то достигнешь, ты будешь лучше всего нравиться мне.

Запах подгорелого мяса донесся к нам. Мы поспешили на кухню. Электроплита была перегретой, свиные отбивные котлеты уже подгорели, зато овощи все еще были еле теплыми.

- Ты можешь сама есть твою дрянь. Я пойду в «Райхе». И если ты когда-то будешь зарабатывать деньги, я просто буду удерживать их с тебя за такие твои шутки! Приятного аппетита!

Когда я вернулся домой, Наташа убрала кухню, но снова только кое-как. Одна тарелка была разбита. Я пошел спать в мою спальню и залез в кровать, так как неожиданный избыток работы в «Nordisk» очень утомлял меня. Я листал журнал, когда Наташа вошла ко мне.

- Ах, ну какая же я невезучая, – сказала она горько.

- Это вовсе не так, но ведь когда ты разговариваешь со мной, ты не можешь одновременно еще и готовить на плите.

- Я забыла об этом, прости меня, пожалуйста!

- Забывчивость – это небрежность, а я ее ненавижу. Но теперь будь хорошей! Сейчас я хочу спать. Разбуди меня завтра точно в семь утра, чтобы ты тоже свежей приступила к работе. Не забудь о справочном агентстве!

Я еще раз назвал ей имя. – Спроси там о первоклассной танцевальной школе.

- Спокойной ночи, – сказала она едва слышно и ушла.

Следующим утром загрохотал будильник, но Наташа повернулась на другой бок и продолжала спать. Быстро и решительно я стянул с нее одеяло.

- Давай, мы должны вставать!

Только на короткое мгновение мой взгляд остановился на ее фигуре. Она была почти совершенной красоты.

Наташа медлила до тех пор, пока я все приготовил, а также позавтракал в одиночку.

- Как называется справочное агентство, которое я назвал тебе?

Боязливый взгляд встретил меня и пробудил тем самым болезненный резонанс, но при этом еще и новое разочарование во мне.

Я прокричал ей название. – Запиши его сразу!

Наконец, это случилось: Наташа пошла на занятия. Спустя несколько дней я позвонил балетмейстеру. Он был полон похвал и пророчил ей большую карьеру. Если хотя бы половина из этого правда, думал я, я был бы более чем рад за эту девочку.

Приехал Фредерикссен.

Мой «комендант крепости», Келлер и я встретили его на вокзале.

Фредерикссен сразу приблизился ко мне, пожал мне руку и только спросил: – Окей?

- Perfectly, O. K.

- Good! Мне очень жаль, очень, что вы еще больны. Но вы существенно поправляетесь?

- Мне уже намного лучше.

- Прекрасно!

Затем он поприветствовал других господ.

Во время поездки в офис я позволил ему управлять машиной, и он радовался этому как мальчишка. – Берлин! Берлин!

Он бил обеими руками по рулю

Я лишь с большим усилием мог поспевать за снова установленным Фредериксеном темпом работы.

Наконец наступил оставшийся незабываемым субботний вечер. Мы договорились в моей квартире, Фредериксен, Шнайдер и Келлер, чтобы потом поехать на ужин в бар «Какаду».

Фредериксен приехал первым. Наташа еще была на уроках танцев. Мы сидели и курили.

Внезапно он спросил меня, что я знаю об автомобиле, шасси и двигателе. – Можете ли вы, например, объяснить мне дифференциал с помощью примитивного рисунка?

Я чувствовал всю серьезность его неожиданного вопроса и быстро нарисовал то, о чем он просил. После этого я сделал свой комментарий.

- Гм..., – ворчал Фредериксен и кивал задумчиво. – А знаете ли вы что-то об алюминии, его сплавах, его производстве, в таких же простых и коротких объяснениях?

- Зачем? Вам самим нужны такие сведения?

- И да, и нет, – ответил он уклончиво.

- Алюминий получают из глинозема, алюминиевого оксида, который растворяют в искусственном криолите, соли фтористоводородной кислоты натрия алюминия и затем подвергают электролизу расплавленных сред.

- При какой температуре? – спросил он.

- Приблизительно девятьсот градусов.

- Ага, а после этого?

- Алюминий осаждается на катоде, т.е. угольных дисках, потом его отрезают, выливают в железные формы и переплавляют в отражательных пламенных печах, в слитки для прокатки или прессованные болванки. Он прессуется холодным и теплым, его можно красить, покрывать гальваническим способом медью и никелем. Да, и... сплавы. Как известно, алюминиевые сплавы тверже, чем чистый алюминий. Их сопротивление коррозии повышают специальным улучшением его свойства, т.е. термической обработкой с чистым алюминием. Существуют, например, литейные сплавы, содержащие медь и содержащие марганец.

К таковым относятся немецкие и американские сплавы, таких типов как Silumin, Seewasser, Alneon. Для конструктивных сплавов используется термическая обработка с медью, марганцем, кремнием и магнием. С помощью добавки меди получают также алюминиевую бронзу. Вам достаточно этой информации?

- А что такое, собственно, «пленка на отливке»?

- Это оксидируемый верхний слой на отливках, который действует как защита от коррозии.

- А вязкость?

- Это внутреннее трение жидкостей и газов.

- Как она измеряется?

- Совсем просто: с помощью вискозиметра, который устанавливает скорость протекания.

Фредерикссен тщательно сложил мой эскиз дифференциала и спрятал его в портмоне. – Как удивительно, Тед, – произнес он мое имя сердечно, – что у вас есть такие специальные знания. Мне часто кажется, что вы не тот, за кого себя выдаете. Ваша надежность и замкнутость позволяют мне предположить это.

- Я читаю по вечерам, что доставляет мне радость.

- Чтобы больше не знать ничего о нас всех и обо всей этой суете.

В этот момент маленькая бутылка в моей спальне упала на пол и разбилась, в сопровождении разочарованного протяжного «Ооох...!»

Фредерикссен взглянул на меня и хитро улыбнулся.

- Хорошо... Я поверю вам, откуда у вас все эти ваши знания, – сказал он заинтересованно. – Я постарался в США исправить мои бестактности по отношению к вам. Теперь я достиг этого: примерно через два года самый большой автомобильный концерн США будет иметь в Берлине свой филиал, склады материала со всем хламом. Я выйду из «Nordisk», чтобы до последнего цента участвовать в другом предприятии, сэр! Когда до этого дойдет, вы перейдете туда. К тому времени мы будем производить около четырехсот тысяч машин в год, и будем работать с капиталом примерно в полмиллиарда долларов. И тогда вы станете правой рукой директора по продажам. Его зовут Слоун и он мой дальний род-

ственник. Он уже пообещал это мне, а это практически значит: подписанный договор, если...

Тут позвонили в дверь. Наташа поспешила туда.

- ... если у вас есть эти специальные знания, сказал Слоун. Я сообщу ему теперь об этом. Окей, Тед?

- Я с очень большим трудом справляюсь с собой, чтобы не броситься вам на шею, и не нанести в придачу еще и заботливый удар в подбородок.

- Окей, Тед!

Шнайдер и Келлер вошли в комнату и поздоровались с нами.

Мы все уже стояли в наших пальто, когда Наташа открыла спешно дверь, сунула мне в руку таблетки и неожиданно прошептала по-русски: – Я люблю тебя.

Шнайдер благовоспитанно улыбнулся, и она страшно покраснела.

- Это единственные слова из России в моем лексиконе, – признался он.

- Могу я представить господам?

Я пытался спасти позицию Наташи.

- Мы только точно можем сказать, – сразу ответил Фредерикссен, – что это ни в коем случае не может быть ваша бабушка. Не так ли, господа? Можем ли мы пригласить эту даму на ужин?

Американец повернулся ко мне. Моя Наташа зажгла в нем искру.

- Можно, Солнце? – спросила она неуверенно.

- Давай, но только очень быстро!

- Идите с нами просто такой, какая вы есть; о прочем я позабочусь после показа мод.

Фредерикссен взял ее пальто из гардероба. – Русская? – спросил он меня при этом. – Так, так.

Спокойно он управлял машиной. Наташа сидела рядом с ним. Это явно отражалось на его лице, но он молчал.

Заказанный столик стоял очень близко от круглой, теперь пестро освещенной танцплощадки. Директор ресторана и старшие официанты занимались обслуживанием. Оркестр начал играть песню о бананах.

- O, we have much bananas today! – пародировал Фредерикссен шлягер, немного станцевал чечетку и сел за стол после пригласительного жеста. Мы немного осмотрелись в баре, закурили и заказали еду.

- Я думаю, – объявил он с деланной серьезностью, – что мы должны были бы выпить сильный глоток за нашу единственную даму, и так она очень красивая русская, то мы должны выпить такую же хорошую водку, и много!

- И лучше всего в баре, – предложил я.

Мы направились туда. Наташа держала меня за руку. Два старших официанта начали накрывать наш стол с привычным шумом и принесли два ведерка со льдом.

- Что я могла бы предложить господам? – спрашивает буфетчица, роскошная блондинка.

- Шесть огромных порций водки, но ледяной.

Наташа все еще держалась за меня.

- Но ведь я же не пью водку, Солнце. Что мне делать?

Она села очень близко со мной на высокую барную табуретку. – Только держи меня крепко, иначе я упаду.

- Тогда как раз хорошей «водички из-под крана» в этот стакан.

- Сколько стоит мой стаканчик воды? Ведь можно же так?

- Точно столько же, что и большой стакан водки с градусами, – ответил я, и «комендант крепости» и Келлер кивали и пытались сохранить серьезное лицо. Мы беседовали в самом лучшем настроении.

Фредерикссен, который между тем еще успел быстро поговорить по телефону, вернулся и выпил за наше здоровье. Наташа первой быстро проглотила свою воду просто из чистого любопытства.

- Черт побери, девочка!

Фредерикссен громко засмеялся, уперся кулаками в бедра и повернулся к нам. – Однако, у нашей малышки действительно хороший глоток! Мое самое глубокое почтение! Эй, красавица, еще один такой же большой!

- Я думаю, мы можем уже идти есть, – отвлекал я внимание. – Наши закуски уже на подходе.

В торжественном настроении мы хорошо и обильно ели и пили. Фредерикссен увивался вокруг Наташи, и все время накладывал ей на тарелку новые лакомства. Девочка была немного подвыпившей и весело смеялась над шутливым коверканьем американца. Ее щеки пылали, глаза сверкали. Она была действительно прекрасна.

- Я еще сегодня вечером сделаю вас настоящей дамой, Наташа! Самое прекрасное платье будет принадлежать вам, и тогда мы оба будем танцевать, пока у нас не закружится голова. Как жаль, что я должен завтра уезжать в США! Вы не расскажете мне, кем вы хотите стать? Вы такая робкая, и как раз это нравится мне в вас, маленькая, черная Наташа! Не налить ли вам мокко, бросить туда кусочек сахара и перемешать? Хотите ли вы съесть к этому еще немного пирога или торта? Любите ли вы лакомства? Да? Какая сладость для вас самая лучшая из всех?

Туш оркестра: директор ресторана стоял в середине танцплощадки и патетически объявил о начинающемся показе мод.

Мы заинтересованно взглянули туда и продолжили пить.

- Ну, какое платье вы желаете себе? – спросил Фредерикссен. – Чешуйчатое платье! – закричала Наташа воодушевленно. – И я хотела бы надеть его прямо сейчас, и к нему золотые туфли. Если это, конечно, можно?

- Хорошо. Мы прямо сейчас займемся этим.

Когда он вернулся один, он был серьезен, потянул меня за рукав и положил руку на мое плечо.

- Я не мог бы уехать!... Шампанское для нас всех! Тед, – шептал он взволнованно, – я должен вам сказать, пока еще не поздно.

Все же, не дожидаясь моего ответа, он подошел к оркестру, перебросился парой слов со скрипачом и уселся за ударный инструмент. Посетители обратили на него внимание, смотрели в его сторону, ждали.

Абсолютно изменившийся человек задавал вызывающий ритм маленькому оркестру. Затем последовало второе произведение, исполненное с такой же смелостью.

Но вдруг он так же неожиданно прекратил, и со словами: «Играйте, играйте!» поспешил к нашему столу.

Наташа стояла перед нами в новом платье. Уже Фредерикссен подхватил ее снизу, и прежде чем девочка опомнилась, он вошел с ней на сверкающую танцплощадку.

Но он довел ее только до центра площадки. Немного подняв обе руки, он снова задал такт оркестру, увеличивал его все больше и... танцевал.

Все взгляды были направлены на него, и я снова и снова спрашивал себя, был ли это тот же самый трезвый бизнесмен, или же танцор, который мог бы выступать не раздумывая. Кувыркнувшись несколько раз с отличной точностью, причем его карманные деньги рассыпались по всей танцплощадке, и со своей гротескной гримасой он закончил свое сольное выступление.

Он стоял, сияющий и счастливый.

Аплодисменты всех гостей, вскочивших со своих мест, как прибой понеслись навстречу ему.

Я еще видел, как Наташа взяла его за руку и что-то убедительно нашептывала ему, после чего Фредерикссен громким голосом крикнул оркестру:

- Танго «Brasiliano» для дамы!

Наташа танцевала...

Я видел это впервые.

И я больше не воспринимал ее как незначительную маленькую девочку, которая как птица с подбитым крылом искала убежище у меня, а как очень моло-

дую, захватывающую женщину, которая только одна могла одарить меня своей красотой.

Я был, пожалуй, единственным, кто не хлопал ей. Но она этого вовсе не заметила.

Фредерикссен спешил навстречу ей, легко поднял ее к себе на плечо и крикнул:

- Ее зовут Наташа!

- Наташа! – кричали также посетители воодушевленно.

И Наташа снова танцевала.

Но еще в опьянении постепенно завершающегося воодушевления тень летала над ее лицом, почти боязливый взгляд над толпой, который искал, нашел меня и сверкнул, как на ее первом выступлении в Лезене.

Она спешила навстречу мне.

- Ах, Солнце!

- Милая!

Ее губы заперли мой рот. Веселые, озорные голоса звали ее имя. Наташа обернулась. Благодарно и стыдливо она принимала цветы и осторожно прижимала их к себе.

Потом мы сели за стол, она держала мою руку, не в состоянии сказать ни слова.

Фредерикссен исчез. Только, чтобы дать какой-либо смысл движению руки, я налил всем по бокалу шампанского, чокнулся с Наташей.

Мы выпили все одним глотком, смотрели друг на друга.

- Пойдемте-ка со мной, вы оба! – голос Фредерикссена прозвучал за нами.

- Я составил первый договор ангажемента для Наташи. Директор ожидает вас в своем кабинете. Тридцать марок за выступление, три раза в неделю. Поездка туда и обратно на такси оплачивается. Что вы на это скажете, Наташа? Согласны?

- Что ты думаешь, Солнце? Этого достаточно?

- Это хорошее начало!

- Тогда иди и читай договор!

Она взяла меня под руку. – Господин Фредерикссен, я очень благодарю вас за это посредничество. Я должна признаться вам... в каком восторге я была от вашего танцевального искусства. Вы так захватили меня этим, и я почти не знала, что я делала.

- Я позже буду протезировать вас в США! – ответил он просто и искренне. – Мы платим за каждое мастерство, как известно, фантастические деньги. И я могу признаться вам, что вы очень, очень красивы, Наташа! Даже опасно красивы, от корней волос до пальчиков ног.

- Что он все же мне говорит, – шептала она стыдливо. – А вы учились танцевать?

- Я уже маленьким мальчиком сэкономил каждый цент для этого, даже крал у моего отца деньги, получал порку за поркой. Вот, посмотрите, здесь шрам в основании уха? Сегодня...

Он налил себе бокал шампанского и выпил его. – Я не могу сберегать деньги, Наташа. Ну... Еще один бокал шампанского за ваш первый договор!

Директор прочитал проект и пододвинул его Наташе. Она тоже прочла.

- Нет, – объявила она к нашему всеобщему удивлению. – Я хочу получать свое жалование каждый вечер, и если я только однажды не получу его, то я сразу же перестану выступать.

- Правильно, Наташа!

Фредерикссен крепко поцеловал девочку в щеку и засмеялся.

Но она оставалась серьезной и морщила лоб. – И тогда, Солнце, – добавила она энергично, – я не хочу никаких бесед и сопровождения с мужчинами. Исключено! Ты привозишь меня, и ты ждешь, пока я не закончу с танцами.

- Да, милая, я хочу так делать!

Вот так Наташа подписала свой первый договор.

Мы вернулись к нашему столу, но веселое настроение больше не появлялось, как ни странно, и так как Наташа прислонилась ко мне и даже пару раз закрыла глаза от усталости, Фредерикссен, наш хозяин, дал знак к отъезду.

У входа в гардероб мы на минутку отстали.

- Пожалуйста, завтра за час до моего отъезда приезжайте ко мне в отель! – сказал он поспешно. – Я должен с вами поговорить, Тед.

Он вдруг показался мне уставшим, но его голос сразу снова стал громким и важным, когда он вызвал мне такси и прощался с Наташей.

- Я буду нести ваш образ в сердце как старшеклассник, – и тихо добавил: – Прощайте, Наташа!

Во время поездки она прижималась ко мне.

- Ты не гордишься своим первым ангажементом?

- Я больше не могу говорить, – отвечала она слабым голосом. – Если бы ты мог, все же, накрыть меня своим пальто. Я вовсе не чувствую себя взрослой. Они все настолько чужды мне, все эти люди, ты знаешь, Солнце.

В приемной квартиры она бросила пальто на стул, подошла к высокому зеркалу и распустила волосы. Я положил руки ей на плечи, прислонил ее ко мне. Наташа откинула назад голову, закрыла глаза и нежно прильнула к моей щеке. Ее аромат окутал меня, близкий и хорошо знакомый.

- Мне так жарко! – прошептала она в легком опьянении от шампанского. Я расстегнул ее платье глубоко вниз на спине, смахнул его вниз с плеч.

Тут она освободилась, обвила меня руками и целовала меня, мягко и преданно...

Когда я проснулся утром, Наташа спала совсем рядом, сбоку от меня. Бледный свет нового дня и шум метрополии парили над нами.

Я рассматривал ее довольно долго.

Ты должна изгнать прочь тени моего прошлого! Потому что ты и только ты смогла бы это сделать.

Затем я расстался с нею.

Обязанность трудиться принуждала меня к этому.

С особенной тщательностью я закрыл дверь в мою квартиру и подумал осласливлено, что все, что находилось в ней, принадлежало мне.

В предвечерний час Фредерикссен ждал меня в вестибюле гостиницы. Мы за предыдущие дни кратко установили рабочую программу на следующие шесть месяцев. Я только что вместе со Шнайдером разработал эту программу в деталях, чтобы представить этот многостраничный документ шефу на подпись. Еще раз мы подробно обсудили его, потом он спросил нетерпеливо:

- Вы не будете против, если мы немного пройдемся на холодном зимнем воздухе по перрону?

Руки за спиной, мы тогда прошлись рядом из одного конца перрона в другой.

Свет на перроне вспыхнул, и скоро после этого международный поезд со спальными вагонами «Хук-ван-Холланд – Лондон» прибыл на вокзал.

- Зайдете со мной еще на сигаретку в вагон-ресторан?

Фредерикссен передал багаж кондуктору, и мы зашли.

- Ну... «Nordisk»... У вас, впрочем, была исключительно счастливая рука в выборе Шнайдера и Келлера. Оба очень подходящие люди в любом отношении. Вы еще помните нашу эскападу к Дюпену в Париж? Выпьете стаканчик водки?

Старший официант стоял перед нами. – Немного замерзли.

- Нет, спасибо, но чашка кофе.

- А я охотно выпил бы двойное виски.

- Прошу, господа.

- За ваше здоровье, дорогой Тед! Я опишу вам в письме все подробности относительно вашей должности в автомобильном концерне и, надо надеяться, однажды вернусь.

Он опустошил стакан и заказал себе новый.

- Все-таки... It is a long way to Tipperary..., сэр. Езжайте, все же, со мной до вокзала Шарлоттенбург, оттуда вам ближе до Кайзердамм.

- Да, хорошо!

- Наташа... чудесный человек... Смотрите, теперь мы уже едем, – сказал он задумчиво и потянулся к стакану виски. – И если она... Но это не так важно... It is a long way to go.

Фредерикссен махал мне, пока поезд не покинул зал вокзала. Нетерпеливо я поспешил к Наташе.

Моя квартира была не заперта. Свет горел во всех помещениях. Два шкафа были открыты, подушки на диване были в беспорядке, на темном столе времен Конвента, на кожаной папке для документов, лежал надъеденный, крепкий ломоть ливерной колбасы, которая уже оставила широкое жирное пятно. Рядом с ним я увидел письмо Наташи. Оно было направлено к ее подруге Лони, и в нем были ошибки. Тяжелая хрустальная пепельница была полна апельсиновых корок. Моя постель не была застелена, на ночном столике лежали ключи от квартиры.

Я сел в кресло и ждал. Наконец, прозвучал короткий звонок.

- Извини, что тебе пришлось открыть мне дверь. Я забыла ключи.

Наташа потупила взгляд и робко переступила порог.

Она подарила мне маленький поцелуй и скинула пальто. – Я сразу же все приведу тебе в порядок. Я только ненадолго вышла купить почтовую марку.

- В папке для документов полно марок.

- Да? Ах!

- И больше ты ничего не хочешь мне сказать?

Она бросилась мне на шею. – Мне очень стыдно..., но не знаю, что я еще должна сказать тебе, любимый!

- И это все?

Я был разочарован. – Ты была на занятии?

Она покачала головой. – Я очень долго купалась, немного поела и снова осмотрела все новые вещи, ждала тебя.

Я быстро погладил ее волосы и принес ее пальто. – Мы пойдем гулять? – спросила она весело.

- Нет. Мы идем есть в «Райхе».

- Когда мы вернемся домой, я застелю тебе твою постель, и ты будешь спать. Неужели ты совсем не устает? Ты же почти не спал.

- Я должен снова говорить с тобой о той обязанности, которую ты так и не хочешь признавать?

Она ела с беззаветным спокойствием беспечного молодого человека.

- Ты, конечно, прочитал мое письмо Лони. Ты не думаешь, что было бы хорошо, если бы она вела наше домашнее хозяйство? Тогда мы оба могли бы спокойно работать. Она определенно будет согласна, так как ей было бы хорошо с нами. Бедняжка зарабатывает так мало в ее конторе в Шверине.

- Мне это тоже кажется лучшим решением для нас обоих.

- Я ведь так неловка в хозяйстве.

- Зато ты зарабатываешь больше денег, чем Лони. То и другое совмещается редко, как известно.

- У нее был друг, но он покинул ее уже давно. Теперь она чувствует себя одинокой, она писала мне, и это ей вовсе не нравится.

- Гм, – проворчал я.

- Мы можем надежно полагаться на Лони. Она нас не подведет!

- Мы уже можем идти домой?

- Могу я еще поесть сбитых сливок, или это будет слишком дорого для тебя, Солнце?

- Нет... ешь спокойно; теперь я зарабатываю много и легко.

Мы вместе застелили мою постель, немного прибрались.

Я долго не мог заснуть. Мои мысли уходили в пустоту...

В течение следующих дней я был перегружен работой, так как нужно было в первую очередь расширить маленький механосборочный завод в Темпельхофе. Также было необходимо мешать развиваться догоняющим конкурентам. Так я часто носился между Темпельхофом и офисом и обычно возвращался домой поздно вечером.

Каждое утро я срывал с Наташи пуховое одеяло, в то время как я громко, как фельдфебель в казарме, командовал ей «Подъем!», и так как девочка снова манкировала уроками танцев, так как она предпочитала гулять при сияющей зимней погоде по городу и делать «безотлагательные маленькие покупки», на ее голову угрожала обрушиться уже едва ли предотвратимая катастрофа.

К этому добавилось то, что ее усердие к танцам в баре постепенно ослабевало, так что она могла приписывать свой успех только лишь своему прекрасному телу. Мужчины сначала заваливали ее подарками самого разного вида, по потом вели себя как похотливые павианы с обыкновенными вывихами всех конечностей и избитыми комплиментами, иногда уже пьяные и задиристые, потом грубые и дерзкие, так что девочка все больше чувствовала к ним отвращение.

Приходящую в бар почту, от достойных уважения предложений о браке до действительно странных предложений, мы оба читали только первые дни. Позже мы осчастливливали этим четырех буфетчиц, которые конкурировали между собой за это.

Наташа чувствовала, как приближается катастрофа, так как она с давних пор знала мою решительность, но она, все же, пребывала в своей привычной нерешительности и пассивности.

Она убегала от моих повторных призывов, потом от громких слов и, наконец, также от вспышек гнева в самый отдаленный угол, как когда-то в нашей примитивной квартире в Швейцарии. Все же, потом я постепенно оставлял ее в покое.

Она интересовала меня все меньше, пока она не попыталась приковать меня к себе только лишь примитивным способом. Вечерами она сама приходила ко мне, красивая, вызывающая желание любоваться ею, благородное творение, ценный сосуд, из которого хочется наслаждаться страждущему, чтобы потом вновь отставить его в сторону, разочарованным, отрезвленным, но потом опять требовать этой ценности до тех пор, пока каждое ощущение не развеется в пустоте.

Однажды вечером в субботу в баре была драка между пьяными мужчинами из-за Наташи. Стойку разгромили, стаканы и бутылки были разбиты, буфетчицы визжали, и несколько гостей уже собирались покинуть кафе.

Вызванный полицейский патруль смог восстановить спокойствие.

Я просил владельца, чтобы он больше не позволял Наташе выступать некоторое время. В такси она сунула мне, как всегда, ее деньги, и теперь она, подавленная, сидела рядом со мной.

Мы хотели еще перекусить в «Райхе». Ни одно слово не прозвучало между нами, даже тогда, когда она искала украдкой мою руку. Господин Райхе быстро подал на стол и задернул занавес нашей ниши.

- Наташа, – начал я, – ты помнишь мои слова, которые я сразу же в первый вечер сказал в моей квартире, что я обещал тебе при этом?

- Да, Солнце, несомненно.

- Знаешь ли ты также, что это значит для меня?

Она посмотрела на меня и была очень серьезна. – Да, конечно!

- И как же ты тогда отнеслась ко мне?

Она молчала.

- И почему?

Она подняла плечи и опустила взгляд, как будто бы она могла скрыть свое лицо от меня под волной ее волос. – Солнце, я обещаю тебе...

- Я тебе больше не верю! Это всегда оставались одни и те же слова и не больше. Теперь я хочу окончательного объяснения между нами обоим, и в дальнейшем я не желаю, чтобы между нами все и дальше продолжалось так. Мое решение уже твердое.

Мы взглянули друг на друга.

- Либо ты примиряешься с тем, что требуют от тебя будни и их безусловные потребности, либо ты уходишь.

Ее глаза стали большими и насыщенно черными; лицо побледнело.

- Я готов снимать тебе комнату за мой счет, из которой ты тогда можешь вести такой образ жизни, который не знает упреков и ни одного злого слова от меня. Однако я больше не в силах выносить твою инертность, нерешительность и

небрежность; они уже лишают меня времени и нервов, бессмысленно и напрасно, с тех пор как я знаю тебя. Пожалуйста, прими свое решение!

- Ты это всерьез, что я должна уйти...?

- Да!

Она вскочила и выбежала без пальто. Я не последовал за нею. Мне уже было безразлично, какие последствия это повлечет за собой.

Не торопясь, я пошел домой.

Наташа стояла в углу моей входной двери и дрожала от холода. Когда я приблизился к ней, она сильно нагнулась.

Я открыл дверь. Беззвучно она последовала за мной.

- Не делай вид, будто бы я хотел ударить тебя!

Мы были в жилой комнате. – Здесь, перед столиком, ты сейчас встанешь на колени, опустишь голову, закроешь глаза и будешь ждать.

Безмолвно и безвольно она повиновалась.

Я пошел к шкафу и взял из выдвижного ящика маленький предмет, который я поставил на стеклянный столик.

- Узнаешь ли ты эту освященную икону?

- Да, – еле слышно прошептала она.

- Она висела над твоей кроватью, когда ты была еще маленьким ребенком. В узелке из дерюги твоя мать спасла ее для тебя, когда вы покинули родину, и у тебя она постоянно была с собой, когда мы вместе молились. Теперь поклянись, памятью твоих родителей, что ты сделаешь все, чтобы удержаться в жизни! Никогда не забывай, что твоя бедная, несчастная мать умоляла меня, чтобы я всегда напоминал тебе об этом!

- Я клянусь!

Голос отказывал ей. Дрожащими руками она схватила маленький образ, покрыла его поцелуями, прижала к себе, и разразилась горькими слезами.

Я позволил ей выплакаться.

Потом она медленно поднялась и неуверенной походкой подошла ко мне, села рядом со мной, прислонившись головой к моему плечу, и всхлипывала еще довольно долго. Заплаканный рот касался моей щеки, я целовал ее робко. Ее ладонь медленно, упрашивая, двигалась в мою.

- Даже если ты ударишь меня..., но не прогоняй меня от себя. Я хочу делать все, что ты требуешь от меня, слушаться тебя...

- Но, милая, дело же не в том, чего я хочу. Ради меня ты не должна это делать, только ради себя самой, и я никогда не требовал бы этого от тебя, если бы твоя жизнь и твое будущее не выставляли бы тебе такие же требования. Если я однажды уйду, если меня больше не будет рядом с тобой, что тогда с тобой будет? Тогда ты снова будешь стоять здесь, неспособная найти свое место в жизни, справиться с буднями.

Она взяла мою голову в обе руки и повернула ее. Я увидел над основанием ее бровей ту глубокую складку, которая выражала печаль.

- Ты хочешь уйти? – спросила она боязливо. – Куда?

Но когда я не ответил, она добавила: – Туда, где ты однажды был?

- Да.

- Почему? У тебя такой холодный взгляд.

- Я попробовал дать тебе все, что еще было во мне. Тем не менее, ошибка во мне. Я не должен был решаться на это так быстро. Вероятно, во мне было слишком мало. Но у меня не было больше. Однако даже это немного тебе не нужно. Теперь это также стало неважным, Наташа.

Мы расстались без прощальных слов, как два чужих человека.

Утром я увидел, как она спит на ковре перед моей кроватью.

Я перешагнул через нее, и не стал ее будить.

С работы я сразу позвонил Лони. Она очень этому обрадовалась, так как Наташа, естественно, больше не отвечала ей, так что у нее едва ли была надежда приехать к нам в Берлин. Тогда она переключила меня на ее шефа, который гарантировал мне ее быстрое увольнение.

Так Лони Эмке приехала к нам в Берлин, с большой, уже не новой дорожной корзинкой с двумя широкими ремнями, в простой провинциальной шляпке и невзыскательном платье, которую в деревне носят «для хорошего дела», чтобы ходить в нем по воскресеньям в церковь и показывать себя соседям. Пораженная множеством пешеходов, машин, городской электричкой и метро, шумом, суматохой, выставленными в витринах товарами, она стояла передо мной, немного смущенно улыбаясь, незаметная, голубоглазая девочка, среднего роста, белокурая и чистая, с сильно покрасневшими щеками и светящимся взглядом.

- Здравствуйте! – сказала она, наконец, и оставила свой багаж в прихожей. Ветерок Мекленбурга, родины моих отцов, которую они покинули больше ста лет назад, когда они со смелыми надеждами двинулись на Восток, подул навстречу мне от этой девочки.

- Лони, добро пожаловать!

Я подал ей руку. Она протянула мне свою правую руку, которая лежала в моей руке без давления, так просто протянутая, как это делают многие люди в деревне, не зная, насколько решающим часто может быть первое соприкосновение.

- Тебе, наверное, немного холодно?

Я потер руку, которая на ощупь была ледяной как сосулька. – Ты не взяла с собой перчатки?

- Нет, нет, взяла, но когда ты вдруг видишь так много вокруг себя, то забываешь их надеть! Они даже с шерстяной подкладкой.

При этом она осторожно вытащила из кармана пару рукавиц, в которых с уверенностью можно было бы отправиться даже на Северный полюс.

- И вы живете в прекрасном, большом доме, и так близко от метро! У вас в прихожей высокое, узкое зеркало, два подсвечника с кораблями. Это не ли «Санта Мария», корабль Колумба?

- Может быть, – ответил я, улыбаясь, и когда она расстегнула пальто, я хотел повесить его на крючок вешалки.

- О, нет, этого вы не можете. Я же не дама.

Мы провели ее по квартире. Время от времени Лони трогала тот или другой предмет, но ничего не говорила, как будто у нее было почтение перед всем этим.

- А в этом шкафе висят мои костюмы, внизу стоят ботинки, здесь белье, и здесь шляпы, носки и носовые платки.

- Кто же заботится о вашей одежде?

- У меня есть портной, который ее чистит и...

- Вы позволите мне это делать. Мой папаша был очень строг, вы это знаете. Это, пожалуй, самое подходящее время, что я приехала?

- Да, Лони! – я засмеялся.

- Ну, моя дорогая, ты же всегда была немного небрежной – Девочка погладила Наташу по ее густо покрасневшим щекам. – Но у тебя все здорово, Наташа, или не так?

- Прежде чем мы продолжим разговор, я должен на час покинуть вас из-за новой квартиры. А вы сделайте пока кофе, достаньте пирог и сбитые сливки! Позже мы проводим Лони в ее комнату.

Когда я вернулся, мои дамы сидели за тщательно накрытым столом, выдававшим сноровку Лони.

- Я возьму эту четырехкомнатную квартиру, которую я как раз посмотрел! Она находится на пятом этаже, в доме есть лифт, веранда и чудесный вид на маленькое озеро Литцензее. Тогда у каждого из нас будет своя комната.

Спустя пять недель моя новая квартира была отремонтирована сверху донизу. Мой «комендант крепости» руководил переездом с предусмотрительностью важной передислокации войск. Он был явно в своей стихии, хвалил, порицал, активно занимался всем и вмешивался во все до последнего мгновения. Лони позаботилась о праздничном украшении для торжественного переезда, Наташа по возможности сторонилась всего, господин Келлер заботился о банкете, так что я должен был отдавать только лишь последние распоряжения. Когда мои дорогие гости покинули квартиру, она была торжественно открыта и полностью прокурена, но зато я получил от гостей множество подарков и добрых пожеланий.

С Лони мне очень повезло, так как она великолепно вела домашнее хозяйство.

О Наташе я заботился мало, хотя и следил за каждым ее шагом. Я чувствовал себя по отношению к ней как трезвый шахматный игрок, который при каждом необдуманном ходе своего противника кричал ему свой непреклонный «Gardez!».

- Солнце, я больше не получаю радости от моей профессии, – объявила она мне однажды вечером. Лони и я удивленно переглянулись.

- Каждый день, снова и снова, одно и то же: поездка туда, танцевальное занятие, поездка домой, дома упражняться и упражняться, потом поесть, пойти спать, время от времени выйти погулять.

- Но зато у тебя после окончания твоих уроков танца будут все шансы для большого будущего! Ты поедешь в турне за границу, увидишь, возможно, полмира...

- Все равно ничего не изменится! – сказала она сердито.

- Да, может быть, ты тогда хочешь заниматься какой-то другой работой, учиться?

Она пожала плечами и продолжала при этом есть какое-то лакомство.

- Но чем заниматься? Снова чему-то учиться с самого начала?

- Ты, к сожалению, оставила классические танцы, но твой учитель, тем не менее, доволен тобой.

- Ну да. Я сама должна принуждать себя ко всему, так как ты тоже снова и снова принуждаешь и принуждаешь меня. Ведь я же вижу, как ты наблюдаешь за каждым моим шагом. Уже несколько дней я часто думаю о моем отце. Насколько я могу вспомнить, он тоже только танцевал и упражнялся, бичевал себя, мучил, и все это только для того, чтобы стать знаменитым!

- Но неужели большая карьера вовсе не манит тебя?

- Каждое утро ты стаскивал с меня одеяло и ждал, пока я не умылась, чтобы я снова не пошла спать, иногда даже угрожал мне, если я не слушалась. Ты был иногда даже очень, очень строг со мной. И теперь у меня почти нет своей собственной воли. Я чувствую себя так, будто я твоя покорная рабыня, которую выгонят из дома, если она больше не повинуется. Да и кто все же, вообще говорит, что я однажды смогу сделать карьеру?

- Эта мудрость исходит от твоего нынешнего, достаточно известного учителя, и еще от того балетмейстера, которого еще тогда пригласил господин Морозов. Их приговор многое значит, так как они признанные специалисты! Короче: если ты не будешь ни танцевать, ни заниматься какой-то другой работой, то тебе остается только один выход: выйти замуж за настоящего богача. Но на основе моего собственного жизненного опыта и знания людей, я не верю, что твой муж долго сможет выносить тебя как жену. Ты принимаешь все, любовь, подарки, но при этом сама ты внутренне, в душе, не отдаешь ничего. Но такой расчет никогда и ни у кого не оправдывался!

Ее беспокойный взгляд был направлен на меня. – Будь, все же, благоразумна! Мы все должны работать! Это закон жизни. Поверь мне в этом, наконец! Ты за несколько месяцев познакомилась с тяжелыми лишениями, так будь все же благодарна судьбе за свой талант!

– Я также бесконечно благодарна тебе за все...

- Не мне, Наташа, не мне! – убедительно отвечал я. – Ведь я в твоей жизни только как прочная балка, которую та же слепая судьба принесла к тебе своим потоком, не больше. И это что-то ничего здесь не может изменить, так как его самого тоже только принесло течением.

Она все время молчала и потерянно смотрела в одну точку. – Ты знаешь... Во мне есть какая-то особенная тоска.

- Тоска по чему? Ты можешь мне это сказать? Расскажи же!

- Я не знаю, по чему, но она парализует во мне каждое движение и каждое желание вообще делать хоть что-то. Особенно если я лежу в кровати и закрываю глаза, она охватывает меня полностью, и у меня тогда есть только одно желание погибнуть от этой тоски. Тебе это не знакомо?

- О, нет, знакомо... Может, это у тебя тоска по кому-то, которого ты хотела бы искренне любить?

- Нет! Тогда ты меня как раз не понимаешь!

Она встала, ушла в свою комнату и твердо захлопнула дверь.

Через полчаса, перед тем как идти спать, я зашел в комнату Наташи. Свет лампы на ночном столике горел. Наташа очень крепко спала. При этом я подумал о том дне, когда я с нею договорился об уроках танца в танцевальной школе. Но раньше я попросил тщательно обследовать ее известного специалиста по ле-

гочным болезням. Я обосновывал это ссылкой на трудную работу во время занятий. Профессор позже показал мне рентгенограммы и снова подтвердил, что Наташа была полностью здорова и потому могла бы посвящать себя своей профессии без ограничений.

Я рассматривал ее лицо, которое могло очаровывать столь многих. Окруженное толстыми волнами черных волос, оно покоилось на белой, широкой подушке. Я видел ее обнаженное плечо, основание маленькой груди и тонкую ногу с красными ногтями, ее высокий подъем, нежные, синевато просвечивающие артерии. Я однажды приложил ее ногу к моей щеке, от неожиданного счастья из-за близости этой девочки. При этом я вспомнил казавшиеся мне детскими слова ученика пекаря Коко, когда он увидел Наташу в первый раз и, потеряв голову от восторга, очень серьезно спросил меня: «Абсолютно ли вы уверены, месье, что это бедная малышка – не принцесса?»

Также я принадлежал к тем, которые хотели дать ей все. Но она уже слишком часто разочаровала меня.

В ней была особенная тоска, однако, как она сказала, это была не тоска по какому-то человеку и по его любви.

Тоска?

Да...

Тогда все другое не имело значения.

Заснуть... чтобы больше не существовать.

Об этом она впервые заговорила в своей светлой комнате на чердаке и потом также в Берлине.

Тоска... Но у кого ее не бывало? Все же, при этом каждый должен был выдержать свой экзамен перед самим собой и перед жизнью.

Я выключил свет лампы.

Прекрасная картина исчезла в темноте новой ночи, как будто тяжелый, черный занавес опустился на нее.

Однако в бледном рассвете я увидел что-то иное. Это была с некоторого времени изящная, даже несколько светская, симпатичная Лони.

- К сожалению, ночь прошла, – сказала она тихо и торопилась застегнуть отвороты утреннего халата. – Но вы можете еще немного полежать, пока я приготовлю кофе. Но только не засыпайте. Ах, иначе я приду посмотреть еще раз.

Злоба Наташи ко мне усиливалась в течение следующих дней, и так как я никогда не любил невыясненные ситуации, я после ужина притащил ее к себе.

- Наташенька, твой мрачный лоб вовсе не нравится мне. Ты не думаешь, что снова следует основательно выговориться?

- Я пришла к решению.

- Это мне очень нравится в тебе! И какое же решение?

Она крепко держала меня.

- Я..., – начала она, – сняла меблированную комнату недалеко от тебя.

Она ждала моего ответа.

- Да, и?

- Я хочу попытаться пробыть... почти в одиночку...

- Ты все больше нравишься мне!

- И если ты также поможешь мне словом и делом, я думаю, что стану счастливой и довольной. Ты же охотно обещаешь мне это, Солнце? Тогда у меня всегда будет успокоительное чувство, когда я буду знать, что ты близко, если я вдруг однажды больше не смогу.

- В любое время я буду для тебя там.

- Тебе будет жаль, если я не буду с тобой?

- Всегда вызывает уважение, если кто-то пытается стоять на собственных ногах.

- Потому что тогда все видят совсем другими глазами. Ах, Солнце!

Она положила мою руку на свою щеку, провела по ней и глядела вперед задумчиво. – Когда я снова пришла к тебе, тогда ты хотел, все же... Мог ли бы ты еще раз попробовать это со мной?

- Нет... Не хочется. У меня есть одно плохое или, вероятно, также хорошее качество никогда больше не воспринимать целым что-то разбитое. Я еще никогда в жизни не совершал дважды одну и ту же ошибку. Ты остаешься неопределенной в твоих решениях и твоих чувствах... также как когда ты была со мной, в те немногие вечера и ночи. Ты понимаешь, как я об этом думаю?

Она кивнула пару раз и взглянула на меня.

- Но не в моей любви к тебе, Солнце! – сказала она чуть громче.

Я ничего на это не ответил, и потому она добавила упавшим голосом: – Ты думаешь? И в ней... тоже?

Я встал, зажег мою трубку и прошелся по комнате вперед и назад.

- Я не знаю, способна ли ты на большую любовь. Я надеюсь и желаю этого тебе, так как все остальное можно назвать изысканным десертом или пусть даже невзыскательным десертом, без которого каждый в своей манере не любит обходиться.

Тут открылась дверь квартиры. Лони вернулась домой.

- Да, вы еще...

Ее веселый голос наполнил комнату, все же, когда она увидела наши серьезные лица, она только покачала головой и ушла.

Время проходило в вихре будней и работы.

Однажды Наташа очень горько объяснила мне: – Я ненавижу тот образ жизни, который я веду, мою профессию, и я боюсь «поклонников», которые постоянно преследуют меня, хотят от меня только одного и видят во мне только одно. Только с тобой, Солнце, я чувствую себя в безопасности, и когда я, полная нетерпения, прихожу к тебе, я знаю, что я живу только лишь твоими нежностями. Когда я примеряю мои танцевальные костюмы и рассматриваю себя в зеркале, то я нравлюсь самой себе, я радостная и счастливая, влюбленная в себя для тебя. Но иногда я даже ненавижу мою внешность и всегда думаю, насколько великолепно могло бы быть, если бы я была незаметной для всех других, и была бы безобразной. Вчера один богатый англичанин, который подарил мне шубу из оцелота, заявил мне разочарованно и зло: «Oh, you are good for nothing!». Знаешь... Тогда мне внутри становится так жутко холодно, и эта вечная тоска во мне настолько усиливается, что я сразу же хочу убежать только к тебе. Скажи, почему это так? Ведь ты же так много знаешь и мог бы объяснить это мне. Ино-

гда мне даже хочется, чтобы эта тоска во мне стала настолько бесконечно тяжелой, что я могла бы умереть от нее.

Мы лежали бок о бок.

- А когда ты со мной, тогда у тебя тоже есть эта тоска?

- Да... Прости меня, но и тогда тоже... Как раз с тобой она так сильна, что я чувствую эту боль как благодеяние. Сегодня ночью ко мне пришла мысль, что я должна попросить тебя, чтобы ты дал мне что-то, чтобы я в твоих руках...

- Но, милая! – ответил я испуганно и прижал ее к себе, гладил ее и смотрел в ее глаза.

- Да... Так... И больше не существовать, без боли, совсем... Исполнишь ли ты однажды для меня это желание?

Я покачал головой.

- И если я тебя очень, очень попрошу об этом?... Приложи свою щеку к моей. Теперь ты должен только лишь шептать, так тихо, что я едва пойму это.

Она ждала.

- Нет, Солнце? Ты не хочешь? Только одно единственное, маленькое «да». Тогда я знаю, что ты все же снова любишь меня, как тогда, когда я подарила себя тебе. Ты был так нежен ко мне.

Она освободилась из моих объятий и отбросила одеяло. – Посмотри же, как я красива!

Вызывающе она двигала своим обнаженным телом, направив взгляд на меня, и снова шептала приглушенным голосом: – Ну, возьми же меня! Схвати, заставь меня,... как ты только хочешь! Я выполню любое твое требование... Я люблю только тебя одного! Только тебя, дорогой!

Она прижималась ко мне...

- Солнце!... Ах, теперь! Смог ли бы ты дать мне это тогда?

Но она не перехитрила меня; даже в момент мимолетного счастья, нет.

Но когда мы тогда лежали рядом, сильно дыша, когда она снова целовала и гладила меня, тут она спросила изменившимся голосом:

- И мы оба... вместе... когда мы много выпили... в опьянении... и счастливые...?

- Милая, почему ты требуешь это от меня?

- Потому что ты ведь скоро уйдешь. Оттуда ты никогда больше не вернешься, как моя мамочка, а также мой отец остались там.

Она говорила тихо, медленно, иногда подбирая слова. – Возьми меня с собой!.. У нас ведь одна и та же тоска. Свет твоей бескрайней, молчаливой тундры. Или ты думаешь, что я не вижу, что и для тебя жизнь тоже ничего больше не значит?

Она открыла глаза. Они были тихи и смотрели в далекую даль. Она улыбалась болезненно. Я закрыл ее улыбку моими губами. Неподвижно мы отдыхали рядом, пока она снова не склонилась надо мной. Ее открытый рот медленно опускался над моим. Ее руки скользили навстречу мне.

- Да, – звучал ее теперь несколько более звонкий голос. – Я приду к тебе... Обещай мне это, все же... что мы... вместе...

Надо мной был светлый изгиб ее тонких плеч, ее рот в безудержно-отчаянной преданности, пока ощущения почти не исчезли у меня. – Обещай это... Обещай же..., – шептала она при каждой ласке, пока она не рухнула, ослабевшая.

- Я хочу это сделать!

Я думал, что мое обещание осталось не услышанным.

Все же, тут я обнаружил, что она изучала мое лицо с тщательностью счастливой женщины, которая, однако, не решалась задать волнующий ее, решающий вопрос и хотела, все же, иметь в этом полную уверенность: любишь ли ты меня?

Я отчетливо видел это, но я молчал, потому что не хотел портить это мгновение банальной ложью. Наташа встала и немного потянулась, не отводя от меня глаз. Каждое движение ее мальчишеского тела было полно обдуманного спокойствия, даже когда она подошла к окантованному черной рамкой узкому зеркалу, гибкая, дурманящая.

Внезапно она поспешила ко мне и встала возле меня на колени.

- Вот такой, какая я стояла перед тобой, ты должен видеть меня всегда. Я хочу принадлежать только тебе, Солнце, уйти только с тобой и только тогда, когда ты определишь это. В счастье и в опьянении тогда не так сильна боль. Ты знаешь?

Когда я чуть позже вошел в жилую комнату, она принесла сбитые сливки с охлажденными на льду калифорнийскими фруктами.

- Сегодня ты приглашен. Sans discussion!

Она села рядом со мной, наклонила мою голову к себе и целовала меня нежными, мягкими губами, как будто бы между нами не произошло ничего решающего.

- Наташа, через один год я хочу сделать тебя киноактрисой! Чуть больше, чем через год у меня будет должность в одном из самых больших американских автомобильных концернов. Фредерикссен гарантировал мне свое посредничество, тем более что он сам тоже переходит туда. Я буду посредником между фирмой и немецкой клиентурой в Берлине. Первые, с которых я начну, это беззаботные люди из киноиндустрии.

- Как просто ты это говоришь, Солнце, – ответила она все еще недоверчиво.

- Но ты должна посещать уроки актерского мастерства и приступить к этому как можно раньше. Ты хочешь этого?

Наташа отложила ложку и села напротив меня.

- Так быстро, как ты, я вовсе не могу думать. Ты это знаешь. Подожди... Как ты там говорил? Объясни мне это очень точно.

Она внимательно выслушала меня.

- Но до этого... я хочу уехать.

- И как долго ты там останешься?

- Примерно один год. Я должен приехать к тем, которые очень давно ждут меня, предупредить их о том, что скоро случится с ними. Там подвергаются опасности люди, которые любят меня, которые безоговорочно разделяли со мной даже самые большие трудности, и которых я тоже никогда не забуду. Они остались наивными и едва ли знают хоть что-то о последних событиях на свете. И тогда я хочу посетить еще тех, кто когда-то были для меня миром, в который они при-

няли меня, сделали меня таким, каким я больше не могу быть сегодня. Я хочу в последний раз встать на колени перед их могилами и пообещать им, что больше не буду тосковать по их теням. Я все еще тоскую по ним. У меня все еще есть потребность сказать им, каким я стал теперь без них.

- Я знаю, кто они, дорогой... Но если ты больше не вернешься, останешься где-нибудь там пропавшим?

- Тогда это тоже человеческая доля... умереть.

- Следовательно, я ничего не значу для тебя? И моя любовь, мой образ, который я только что хотела, чтобы ты запомнил?

- Наташу, ты знаешь, что я с тобой...

- Солнце! – она закрыла мне рот. – Я готова доказать тебе, что я буду отныне делать все, действительно все, чтобы ты только остался со мной! Но не уходи от меня!

- Я должен уйти! Я обещал, что вернусь. Это слово означает клятву, но теперь в особенности.

- А данное мне обещание для тебя ничего больше не значит? Ведь ты знаешь, что я не могу оставаться без тебя!

- Пока я еще должен думать о прошлом, теперь снова, после того, как ты не справилась, я не могу оставаться у тебя. И твоя мать тоже ушла, с той же самой тоской по другому человеку, и тебе самой понадобилось много времени, чтобы понять ее, сочувствовать ей, смириться с тем, что у тебя больше не было ее.

- Наверное, я еще была слишком молода, чтобы понимать, и у меня тогда уже был ты! Ты! Я любила тебя с детской наивностью, и ты вел меня при каждом моем шаге, увереннее, чем моя мать или мой отец!

- Но почему ты думаешь, что я больше никогда не вернусь?

- Потому что ты, все же, не любишь меня! И... вероятно другие люди... оставят тебя там?

Она поднялась и большими, твердыми шагами несколько раз обошла комнату.

Ее лицо было напряженным.

Над переносицей снова возникла глубокая складка.

- Скажи, действует ли между нами следующее?

Она стояла передо мной со сверкающим взглядом и сжатыми в кулак пальцами, как будто бы она сама себе хотела внушить каждое слово с большой энергией: – Я хочу доказать тебе. Нет, нет, даже больше! Я хочу привести тебе множество доказательств, насколько для меня серьезно снова привлечь тебя ко мне, тем, что я знаю только лишь работу, усердие и выносливость и готовлюсь к тому, что ты предложил мне. И ты... Солнце, – она села возле меня и твердо сцепила пальцы, и я видел, что у нее были слезы в глазах, – ты приедешь снова... безусловно и в любом случае!

- Да! – ответил я громко. – В той степени, в какой это зависит от меня, да!

- И если мы, тем не менее, тогда оба захотим уйти?

- Тогда только лишь вместе, моя милая.

- Как в русской сказке о двух несчастных царских детях, которые так крепко держали друг друга за руки, что они никогда больше не смогли разъединиться. Я тогда буду снова и снова молиться за тебя: «Не задерживайте его, горы, не утопите его, реки, помогите ему, облака на небе!» Ты это еще знаешь, Солнце?

- Тогда ты была еще вот такой маленькой.

Я показал высоту стола, и мы оба даже немного улыбнулись. – Но уже тогда ты ревновала меня к каждому ребенку и хотела оставаться только со мной.

- «Неизменный в перемене времен» – тема сочинения с прежним рекордным количеством ошибок у старого старшего учителя Рупнова. Любимый!

Она уютно прильнула ко мне своей щекой как ребенок.

Она, все же, так и осталась бедной сиротой.

Она была очень красива, но у нее не было никого, кто действительно любил ее, даже если она очень просила об этом.

О моих намерениях я сообщил только матери и Шнайдеру, так как я был уверен в их молчании. Моя мать вообще говорила мало; это никогда не было в ее стиле тратить лишние слова. Она всегда была замкнута и держала все свои мысли при себе. На прощание она сказала только: «Если только ты думаешь, что это пра-

вильно. Однако будет ужасно, если ты не вернешься, Федя. В мыслях я всегда буду с тобой». Она встала и перекрестила меня по русскому обычаю, немного стыдливо смахнула слезы с глаз и прижала меня к себе в последний раз.

Медленно захлопнулась входная дверь, как видимый знак нашего нового расставания.

Шнайдер выслушал мой короткий рассказ с напряженным лицом и не сказал почти ни слова. Под его надзор я передал обеих девочек, мою квартиру и все, чем я владел в Берлине.

Наташа держалась очень смело. Уроками актерского ремесла она занималась с никогда прежде не существовавшим у нее усердием, наряду с этим продолжались уроки танцев, усердные упражнения дома и ее только лишь случайные выступления.

Но руководитель актерской школы не возлагал больших надежд на ее достижения. Конфиденциально он объяснял мне: «Андреева не воздействует убедительно!» Он горячился и причесывал волосы всеми десятью пальцами.

- Ей тяжело дается вживаться в определенную роль, как будто бы у нее есть лишь небольшая фантазия, а также темперамент. Я никак не могу ее понять. И, тем не менее, она сделает карьеру, но не за счет актерских способностей, а больше благодаря ее внешности, ее фигуре и танцевальному таланту. Я присутствовал на ее выступлении. Она выглядит захватывающе!

Наташа снова занимала свою прежнюю комнату.

Однажды вечером я под незаметным предлогом отослал обеих девочек, сел на стул и долго пребывал в глубокой концентрации. Только тогда я покинул мою квартиру, закрыл ее в последний раз и бросил оба ключа в почтовый ящик.

Я расставался со всем. Также с самим собой.

Огни Штеттинской гавани расплывались вдали все больше и больше.

Затем звездное весеннее небо простиралось над кораблем.

Он, качаясь на волнах, шел на восток.

VIII

Санкт-Петербург.

Петроград.

Ленинград.

Три больших, исторических понятия.

Под бледно-серым северным небом восседает по правую руку от широкой набережной на реке Неве построенный в расточительном великолепии из гранита и мрамора Исаакиевский собор с монументальным позолоченным куполом. Это самый большой и самый великолепный собор в бывшей царской метрополии. Только лишь Собор Святого Петра в Риме может соревноваться с ним. Рядом с ним поднимается простирающееся почти больше чем на полкилометра коричнево-желтое Адмиралтейство с бесконечным рядом колонн и тонким позолоченным шпилем высотой почти сто метров. Напротив него лежат серые темные стены Петропавловской крепости, с очень острой позолоченной колокольней тоже высотой свыше ста метров, одной из самых высоких в России.

Три старых символа города, видимые уже из далекой дали. Но их прежнее сияние, все же, поблекло.

В памяти проходят мимо образы прежней родины, детства, молодости, воспоминания о бегстве, прощании, прошлом.

И теперь новая встреча!

Мое сердце стучит быстро и возбужденно.

Напротив меня сидит татарин Ахмед, мой бывший слуга. Мы молчим уже довольно долго, хотя и смотрим друг на друга. Время от времени наши руки с легким нажатием лежат одна в другой, как будто бы мы могли объяснить себе без слов долгие годы разлуки и сделать их теперь несуществующими, чтобы снова стать такими, какими мы оба были когда-то.

Но мы чувствуем, что это невозможно.

Азиат улыбается тихо, непроницаемо, таинственно, но, все же, я чувствую его прежнюю сердечность, которая связывала нас друг с другом даже в самые тя-

желые дни. Круглое, полное лицо с миндалевидными, несколько задумчивыми черными глазами почти не изменилось. Только вокруг рта у него глубокое выражение презрения и с давних пор жестоко навязанного ему молчания. На протяжении уже десяти лет.

Мы сидим в бывшем салоне моей матери в стиле бидермейер, и Ахмед указывает легким движением головы на полкамина, который теперь посередине разрезает перегородка. Потом он прикладывает указательный палец ко рту. Мы киваем, и он указывает на пол. В подвале он тогда с моим отцом замуровал ценные предметы. – Всё еще там, – тихо говорит он. – Но до сих пор это было невозможно... Сорок шесть человек населяют ваш дом, барин, вплоть до мансарды; двое из них связаны с тайной полицией.

Подъезжает старый гремющий грузовик, и в то же самое мгновение по моей спине как бы льется давно забытый, но теперь еще более парализующий, ледяной ливень страха, воспоминания о жутких часах и бессонных ночах, прежде чем я покинул этот же дом десять лет назад. Время произвольных массовых арестов и казней возникает в моей памяти с пугающей отчетливостью.

Мы ждем, напряженно прислушиваемся.

Тяжелые шаги идут в коридоре мимо нашей двери. Другая дверь открывается.

«Бубнов! – гремит в то же самое мгновение суровый голос в примыкающей комнате. – Послушайте! – добавляет он предостерегающим, авторитарным приказным тоном. – Как директор отдела расчета зарплаты в Ленинградском тресте я требую, чтобы вы до завтрашнего вечера подготовили согласование нового циркуляра плановой комиссии с циркуляром Центрального комитета от восьмого февраля! При этом вы должны учитывать последнее решение конференции нашего текстильного треста. Вы меня поняли?»

- Бывший рабочий, – шепчет Ахмед. – Используется тайной полицией для контроля персонала и рабочих.

- В доверии и из добродушия, тихо говорит теперь голос, – так как вы лучше всего из всех служащих знаете этот циркуляр и – поэтому вы мой заместитель, без которого я не хотел бы обходиться, позаботьтесь поскорее о безупречных характеристиках! Вы знаете, что будет новая чистка среди служащих. Комиссия будет очень строга! Я разузнал, что ваш отец был офицером. Поэтому даже как моего заместителя вас никогда не утвердят на этом посту в нашем учреждении, и также не примут в партию. От вашей деятельности вас, таким образом, могут отстранить путем ареста или смерти! Только ваши специальные знания еще за-

щищают вас от этого! Вы это знаете! Да, и в дальнейшем... Написали ли вы мне то, что я хотел, для моего выступления? – добавляет авторитарный голос, как будто бы речь шла о какой-то мелочи.

- Да, товарищ директор. Здесь, на листке, – отвечает другой боязливо.

- Зачитайте.

- Я, по сути, знаю двенадцать категорий зарплат и жалованья, – звучал монотонный, неуверенный голос, – включая восемь видов льгот для соответствующей сдельной работы, затем компенсацию основной зарплаты и нормативно дифференцированных производственных премий, в дальнейшем все новые распределения и номинальные улучшения. Как доказано, однако, они ни в коем случае не обременяют весь бюджет зарплат Ленинградского треста готового платья.

- Правильно! Как раз это я имел в виду. Отдайте мне это прямо сейчас. Кстати... Вы верующий, гражданин Бубнов?

- Нет. Я – много лет член Союза безбожников.

- Платите взносы?

- Всегда точно платил.

- Понятно? Я желаю, чтобы вы до завтрашнего вечера представили мне в учреждении согласование нового циркуляра плановой комиссии».

Уверенные шаги удаляются. Затем робкие шаги в боковой комнате идут туда-сюда. Тихий вздох становится слышимым, рыдание и беспомощный, испуганный стон.

- Я больше не могу!... Я больше не могу!... Боже мой!

- Вздор, гражданин, вздор! – говорит в коридоре мимоходом другой голос, – вы просто должны совокупляться минимум дважды в месяц, тогда у вас больше не будет депрессий! Это пережиток, буржуазная истерия! Остерегайтесь этого!

- Но, господин доктор...

Позже со скрипом открывается дверь, жужжание швейной машинки доносится оттуда, и шаркающие ногами шлепанцы двигаются по коридору.

- Больной кишечным заболеванием идет в туалет. Нельзя использовать, уже много недель.

Люди приходят и уходят. – Вот там, слышите, барин, как мужчина ссорится со своей женой? Он сейчас снова будет тяжелой рукой медленно выдирать ей волосы. Она стоит перед ним на коленях. А позже он всегда бьет ее короткими ударами тыльной стороной ладони по губам, если она не уступает ему. Но никто не доносит о них властям, так как они вечерами совокупаются как животные. Но люди у двери охотно слушают и становятся от этого дикими.

Ахмед сидит передо мной в старой вязаной куртке, она потертая на воротнике, сильно залатанная на талии и грязная. Он догадался о моих мыслях.

- Я не только ежедневно стряхивал эти лохмотья, но и стирал их уже пару раз, пусть даже и без мыла. У нас просто нет ни одного куска мыла. Но тут определенно нет пота больного тифом, также никаких паразитов, никаких блох. Мы боимся этого как самого страшного пожара. Он приходит отовсюду, из деревень, из тюрем, из трудовых лагерей, а также из бедствующих районов Евразии с железнодорожными поездами.

- У тебя нет ничего лучшего из одежды? Тебе чего-то не хватает? Могу ли я как-нибудь помочь тебе, приобрести тебе что-то?

- Я также не могу иметь больше, чем другие, барин, чтобы оставаться незаметным. И вы тоже. Это наш наивысший, святой закон.

У благоговения его слов есть тот смысл, который можно сравнить с самой глубокой верой людей в евангелие. Я глажу его по коротко подстриженным волосами, как будто бы мы оба все еще те маленькие мальчики, которые когда-то играли друг с другом или где-нибудь за границей убегали от надзора моей матери, чтобы придумать какую-нибудь проделку и позже вернуться домой как безмятежные невинные ангелочки. Тогда я гладил его таким же образом, так как он никогда не предавал меня и так как его отчим отдал его, все же, только за несколько сребреников моей матери, и мы после этого видели в нем члена нашей собственной семьи.

Мы также некоторое время учились вместе, и ему пришлось добросовестно потрудиться, чтобы правильно высказываться на русском и на немецком языке.

Однако Ахмед умел прясть невидимые, часто кажущиеся таинственными нити к его землякам вплоть до глубокой Сибири для меня, которые спасли мне жизнь и сделали возможным мое возвращение. Он много лет назад со своей невероят-

ной верностью и преданностью помог мне в самые тяжелые часы моих допросов в Петербурге, безусловно поставив ради меня на карту свою собственную жизнь, и только улыбался над этим, как это обычно делают азиаты, тихо, задумчиво, как будто он хотел при этом немного посмеяться над самим собой и доказать, что человек должен только улыбаться над всей своей жизнью и всем этим жеманством.

- Тебе, по крайней мере, хватает еды, Ахмед? Можешь ли ты поменять одну банкноту, также несколько?

Теперь он смеется тихо и с видом знатока.

- Я хожу на черный рынок. За счет этого я и некоторые из моих единоверцев живем помимо работы. Но должно стемнеть.

- Ты пойдешь со мной и в город тоже? Но сначала я хотел бы увидеть, как спустя десять лет выглядит все в нашем доме.

- Вы должны это увидеть. Тогда многое будет вам понятно. Вы также совсем не привлечете к себе внимание. Здесь у нас как в голубятне, дни и ночи, с сорока шестью жителями.

Тяжелые двустворчатые входные двери отсутствуют. Только железные крючки остались. Вся деревянная внутренняя обшивка стен вместительного вестибюля вырвана, вероятно, сожжена. Бассейн фонтана, который когда-то был окружен декоративными растениями, полон мусора и трудноопределимых лохмотьев, дубовые перила лестницы заменены на забитые, кривые железные стержни, двери частично заменены едва строгаными досками, так что любопытный обычно может увидеть, что делает каждый отдельный человек.

Где-то режут дети, мать порицает усталым, апатичным голосом, отовсюду доносится запах более чем невзыскательной еды, смешанный со зловонием запущенного жилья для массы людей. Да, даже на чердаке, за перегородкой из досок, в почти полной темноте и на постоянном сквозняке, живет какая-то семья.

Но то здесь, то там я узнаю маленькие воспоминания, угол с выцветшими обоями, в котором я когда-то играл, прятался, остаток отштукатуренного потолка, лестница, в которой еще можно видеть порезы от моего перочинного ножика.

Люди проходят мимо меня, и они кажутся мне серыми, тихими, покорившимися судьбе, боязливymi, настороженными, совсем не такими, как раньше, когда люди открыто смотрели друг другу в глаза, не отворачиваясь робко.

Снаружи, перед домом моих родителей, весь парк спилен или выкорчеван, и на месте, где когда-то стояла широкая, удобная скамейка, с незабываемым видом на Финский залив, сооружено отхожее место, как будто бы как раз этим хотели выразить все неуважение к прошлому, к настоящему, к пейзажу, к земле: как будто все это лишь только одно дерьмо.

Только вид на море остался и широкий соединенный из могущественных камней мол, в конце которого раньше стоял березовый садовый домик. Там часто принимали гостей из-за границы и гостеприимно их угощали. Вделанные в бетон железные кольца, к которым мы привязывали канаты якорных буюв, пусты.

К ним когда-то была пришвартована маленькая, пузатая парусная лодка, которая никогда не опрокидывалась даже при самой бурной погоде, чем мой отец особенно гордился. Рядом с ней качалась блестящая моторная лодка из красного дерева и моя весельная лодка, с которой часто обращались неласково.

Маленькая гавань обмелела, плакучие ивы спилены. Но в вечной размеренности крохотные волны набегают на песок. На этом месте, так писала мать мне в Сибирь, мой отец во время его интернирования в годы войны беспокойно ходил взад-вперед и ждал, ждал...

Теперь его больше не было.

Немного в стороне, когда-то окруженная широкими, тенистыми березами, стояла как и прежде наша маленькая «избушка», сруб из неотесанных стволов размером четыре на четыре метра, с великолепной резной выступающей частью и входом, как это было у состоятельных крестьян в деревне. Там я играл с Ахмедом, туда мы возили одну детскую тележку за другой с просеянным песком из гавани. Там мы болтали с нашими русскими товарищами по играм и одноклассниками из разных стран как толпа дерзких, громко чирикавших воробьев, пока верный слуга Павел, уже тогда немного сгорбившийся и сильно поседевший, самый старший брат моей кормилицы, приносил нам послеполуденный чай с горой бутербродов с маслом, как знак того, что мы скоро должны прощаться, чтобы идти делать уроки, вспотевшие и все в песке, но все же, счастливые от игры.

На немного более светлой площадке, которая не была так сильно покрыта разросшейся травой, как другие, когда-то окруженной бревенчатыми стенами моей избушки, я наклоняюсь и хватаю рукой мелкий морской песок, как будто бы я мог коснуться чего-то очень красивого, неповторимого, все же, непрерывно развеянного, остановить безжалостный ход времени и вечное безразличие при-

роды только на один вдох, чтобы попрощаться с этим в последний, самый последний раз и тогда уже навсегда.

- Барин, – тихо зовет меня Ахмед. Он наклоняется вниз ко мне, тоже берет себе горстку песка и показывает ее мне с грустной улыбкой.

Он делает это с такой сердечностью, что у меня слезы появляются на глазах.

- Не думайте об этом! Это нехорошо.

И внезапно он добавляет угрожающе: – Мы должны жить в борьбе, барин!

Мы поднимаемся одновременно.

Передо мной стоит человек, который тоже в высшей степени мог ненавидеть свою слабость. Но у него ее больше нет. Ахмед, мой товарищ по играм.

Уходя, я оборачиваюсь; я не могу расстаться с картинами прошлого. Вечерние тени проносятся прочь... Я так хотел бы задержаться здесь дольше, гораздо дольше.

- Не нужно оборачиваться к теням. Им нужно их спокойствие, чтобы уйти. Иначе они мешают нам создать нашу собственную справедливость.

Его голос холоден. – С мышлением приходит понимание: было бы плохо, если бы мы должны были умирать в несправедливости!

Татарин держит меня за рукав. – Но кто же виноват во всем этом?

Его глаза очень сузились, и он жадно ждет мой ответ.

- Только самый могущественный, Ахмед!

- Да, барин! – восклицает он сдержанно, с облегчением и снова с большой ненавистью. – Самый могущественный! И если бы Бог существовал?

- Тогда как раз Бог!

- Но его нет! Итак!

- Я понимаю тебя!

- Ему важна... наша борьба! И он теперь знает это... повсюду, что он не ускользнет от нас, также другие не ускользнут... ведь мы сеем страх, самое ужасное, что только может быть! Этот страх приходит как ночь, и кто знает, остановится ли он навсегда у западной границы нашей страны.

Я снова вхожу в дом моих родителей.

Медленно мы поднимаемся по бетонной лестнице и останавливаемся перед дверью в комнату Ахмеда. Темный коридор лежит перед нами, и хоть я и знаю здесь каждый уголок, я вдруг чувствую страх перед этой темнотой, в которой где-то говорят, живут люди, и, все же, она воздействует зловеще. Что таит в себе эта темнота? Кто невидимый стоит совсем рядом с нами?

Подслушивает ли он каждое из наших слов?

И тогда, что делать?

Мы сеем страх, самое ужасное, что только может быть, как раз только что сказал мне Ахмед.

Значит, страх перед каждым, кто противится кому-то! Страх перед всем этим, что окружает кого-то, днем или особенно ночью, когда звучат те странные шумы, происхождение которых не знает никто, и которые, все же, всегда есть там.

Теперь Ахмед стучит в дверь и делано кашляет, по-видимому, условный знак. Только по сквозняку я замечаю, что дверь открывается. Он вводит меня, и тот же самый сквозняк за моей спиной указывает на закрытие двери. Он что-то тихо и сердечно говорит по-татарски.

Я слышу шелест, ничего больше.

Вспыхивает спичка. В ее беспокойной глубокой тени я вижу молодое девичье лицо с глубокой складкой надо лбом и две маленькие руки. Свеча горит. Татарка поднимается, ее полный беспокойства взгляд охватывает сначала Ахмеда, потом меня, останавливается, испытующе, на моем лице, как будто она должна узнать там что-то. Только тогда на ее лице появляется неуверенная улыбка, которая придает почти лишенным контура чертам девушки что-то мягкое и сердечное, то, что осталось для меня незабываемым. Ее лицо успокаивается еще больше, и ее сверкающие черные глаза рассматривают меня частично с любопытством, частично с удовольствием.

- Кто это, Фатме? – тихо спрашивает он.

- Твой... барин...! Да, я тоже представляла его таким! Добро пожаловать, барин!

Она наклоняет голову немного в сторону и подает мне руку.

- Спасибо, Фатме! – отвечаю я очень неуверенно. Я чувствую, как взволнованно бьется мое сердце. Мне внезапно перехватило дыхание.

- Дорогой! Татарка гладит Ахмеда по щеке и дарит ему стыдливый поцелуй. – Ты приходишь так поздно. Я боялась за тебя.

Она указывает на неясные контуры комнаты величиной три на четыре метра и добавляет: – Больше у нас нет. Вы должны уже простить, барин. Жаль, что у нас нет электрического света. Уже больше месяца сообщают, что там что-то ремонтируют. Зато во мраке бедность проявляется не так сильно.

Я достаю иностранную купюру, разворачиваю ее и подаю ее татарке. Неуверенно она поднимает обе руки и осторожно берет ее, так как восточный обычай учит видеть ценность в подарке гостя, даже если не знают его ценность. При этом она держит мою левую руку, и я смотрю на это, чувствую это как заботливое грустное соприкосновение с прошлым, которое в этот момент причиняет мне желанное горе. Хотя ее руки грязны, ногти короткие, сломанные от тяжелой работы, но манера подавать руку, осталась прежней.

На Западе этой манеры не знали.

Тогда ее руки скользят назад и прижимают банкноту к груди.

- Фатме, это для вас!

Я больше не могу говорить.

- Для меня? Что это? Деньги? Иностранные?

Как звонко и счастливо вдруг звучит ее тихий голосок! При этом она нерешительно смотрит на Ахмеда, как будто она хочет спросить у него разрешение сохранить этот никогда еще не виденный ею предмет.

- Вероятно, у вас есть какое-то желание, Фатме?

- О, Аллах! Наестся, барин! Только одно желание, только это единственное!

Мимолетное счастье исчезло с ее лица. Слезы стоят в ее глазах.

- Вы видите, больше нет дома. Ничего больше нет, только голод, и снова и снова голод!

Она поднимает ко мне свое молодое лицо. Слезы каплют вниз. Рот приобрел строгое, жесткое выражение. Ее пальцы проводят по лбу, который разглаживается, по иссиня-черным волосам, как будто бы она с напряжением внимательно слушала что-то далекое, не издавая больше ни звука, ожесточенно, и, все же, с тем особенным, достойным удивления самообладанием, которое не находит подобного себе.

Так плакала когда-то моя жена, татарка, когда надежда убежать домой через тысячи километров, становилась все меньше и неуверенней. Но при этом никакой звук не покидал ее уста, никогда, даже в тот час, когда я бросил ей поводья моей косматой лошадки Кольки, которая затем мужественной рысью унесла ее с двумя другими женщинами и их детьми прочь от меня в безнадежную даль.

И побежденная этими воспоминаниями, моя рука скользит по волосам татарки, и мои губы робко касаются ее влажной щеки.

- Барин, почему все это стало так? Ведь мы же не сделали никакого зла!

Я прижимаю ее к себе, снова глажу ее по голове, смотрю на Ахмеда и протягиваю к нему руку. Он хватает ее. Я держу их обоих очень крепко.

- Я заберу вас с собой! Вы больше не должны оставаться здесь! Вам не нужно! Там у меня нет страха! – шепчу я, как другие.

- Нет, барин, мы останемся. Если кто-то любит свою родину, он не покидает ее в беде!

Это говорит татарка с тихим торжеством, которое заставляет меня прислушаться, маленькая, нежная девочка, полуголодная и жалкая. Ее слова глубоко стыдят меня, так как они такие естественные, такие однозначные и убедительные.

- Если один человек любит другого, то он следует за ним, пока это только возможно, и не спрашивает о страхах и лишениях. И нас много, кто думает так и упорно ждет.

- Да, нас много, – подтвердил Ахмед, – даже если мы едва ли знакомы и почти не разговариваем друг с другом. И будет все больше и больше. Они только не видны, барин. Сегодня ночью мы поговорим об этом и расскажем вам все, какими мы стали.

Я снова прижимаю их к себе, потому что мне так хотелось бы доказать им, все же, что они принадлежат ко мне, что я думаю и чувствую вместе с ними. Но уже в то же самое мгновение я ощущаю непреодолимую стену, что я больше не принадлежу к ним, так как я ушел от них слишком далеко, и с тех дней, которые лишили меня всего, должен был жить теперь снова в трезвом мышлении и действии, как много лет назад. Пристыженно я отпускаю их обоих.

Фатме передает Ахмеду банкноту.

- Этого хватит на много дней!

Его голос вибрирует от радости. – У наших братьев есть все. Черный рынок начинается задолго до рассвета и продолжается до поздней ночи.

- Тогда давай поспешим!

- Да, дорогой, я подожду вас.

- Лучше я пойду один, барин. Вы знаете, почему.

Мы остаемся.

Я наблюдаю за Фатме, как она добросовестно собирает самые маленькие сальные остатки свечи вокруг фитиля и слепляет их вместе. Я счастлив, что могу долго рассматривать ее молчащую. На ней черное, плохо сидящее ситцевое платье, рукава которого сильно набиты. Тогда она достает из угла старую спиртовую горелку, деревянную солонку с какими-то приправами и бумажный мешок с рисом.

- Ахмед определенно принесет баранину, – снова начинает тихо говорить она. – Наши братья по вере жарят ее далеко за городом. Иначе это слишком привлечет внимание, если вдруг в нашей комнате запахнет этим. Так, однако, я просто положу мясо в сваренный рис и подогрею. Нет, все же лучше, я пока уберу все. Никогда не знаешь, кто придет.

Она прячет горелку и возвращается с маленькой, красивой коробочкой.

- Она лакированная и раскрашенная. Вам нравится эта картинка на крышке?

Она садится ко мне на матрас, на котором она спит с Ахмедом.

- Очень! Это аристократическая татарка, жена, которая имеет детей, и является матерью рода.

- Правильно! Вы же были женаты на татарской девушке. Ахмед рассказывал мне все, и еще о том, как он вырос с вами. Моя мать, моя оставшаяся незабываемой мать, такая добрая женщина... была сослана... – Фатме целует картинку с большим усердием и гладит ее, наклонив головку – на северную Лену, пожизненно, вместе со многими другими. Мы говорим о них только тогда, когда мы однажды встречаемся незаметно. Кто-то едет к ним, ищет их, передает издалека наш привет, с опасностью для жизни, нищенствуя, возвращается назад.

Ее взгляд все еще остановился на картинке, ее пальцы все еще скользят по ней.

- Массовые высылки... Но моя мать знает...

Она трет картинку, как будто она должна исчезнуть.

Тогда она открывает коробку. – Прессованный чай из кооператива ГПУ, – говорит она по-деловому. – Настоящий китайский чай, его редко удастся достать. Я продаю его на черном рынке. Люди берут его нарасхват. Ведь у них всех ничего нет.

Подняв ко мне взгляд, она добавляет измененным голосом: – Знаете ли вы, что такое ГПУ? Там я работаю, в Иностранном отделе.

(Иностраный отдел ГПУ (ИНО) – внешняя разведка. – прим. перев.)

- Да, Фатме.

- А знаете ли вы, кто такой верховный комиссар тайной полиции при народном комиссариате внутренних дел? Нет? Верховный прокурор, который стоит почти в звании маршала, – шепчет она с большой ненавистью. – Он руководит обвинениями против тысяч и тысяч людей, отвечает также за массовые высылки, смертные приговоры, за каждый вид меры наказания гнусным предателям достижений большевистской революции. Вы можете говорить со мной также по-немецки, барин. Почему вы так удивились, если я обращаюсь к вам на вашем родном языке? Или английский язык более знаком вам, например? You think certainly: what a foolish girl, don't you? Am I right, Sir? Как хорошо, что Ахмед мог сопровождать вас во всех поездках, ваши родители разрешили учить его. Долгие месяцы я сидела над моими книгами! Как же мне нужно это теперь, барин!

Она неясно улыбается.

(Разумеется, никакого «верховного комиссара тайной полиции при народном комиссариате внутренних дел», который был бы при этом еще и «верховным прокурором» (видимо, имелся в виду прокурор Верховного суда), не существовало. – прим. перев.)

Мы молчим.

Фатме глядит вперед с потерянным видом.

- Мне рассказать вам что-то о загранице? – спрашиваю я тогда.

Девушка качает головой. – Нет, прошу вас, нет! – отвечает она страстно. – Я знаю все из газет и картин в учреждении. То, что что-то такое существует, и даже недалеко, всего в каких-то двухстах километрах отсюда, совсем другой мир, сказочная страна,.. о, Аллах, такая прекрасная!... У нас, напротив, ничего нет. Поэтому мы также не можем иметь детей, так как они не должны рождаться под знаком проклятия и проклятых!

Безжалостно, жестко она произнесла эти слова и села за стол. На мои последующие вопросы она отвечает либо уклончиво, либо вовсе не отвечает. Кажется, что все свое внимание она должна посвятить горящей свече, воск которой она снова и снова тщательно лепит вокруг фитиля.

В доме жители входят и выходят, спотыкаются в темноте, ругаются и проклинают самыми последними словами.

Где-то долго орет ребенок, пока не умолкает после тихого стога. Больной кишечным заболеванием шаркает ногами мимо, покашливает и бормочет.

- Мой Ахмед ушел целый час назад. Я вижу это по сгоранию свечи.

Тогда он приходит. Но в руках он не несет ничего. Он все спрятал под своей утепленной ватой курткой: поджаренная баранина, хлеб, масло, сахар, маленькая склянка для лекарств, полная водки, сигареты и несколько свечек.

Фатме ставит кастрюльку на спиртовую горелку, насыпает в нее, взвешивая, рис и измельчает мясные кусочки с большой тщательностью, солит и приправляет их. Ни крошки не остается лежать незамеченной, ни одно движение руки не должно быть необдуманым или даже излишним, чтобы приготовить такую ценность. Это выглядит так, как будто бы она молилась при этом с мучительной благодарностью: Хлеб наш насущный даждь нам днесь...

В глубоком молчании и с тем же самым благоговением мы едим. Наши движения размерены, когда мы ложку за ложкой подносим ко рту.

Взвешивая, ломтик за ломтиком, мы ломаем наш хлеб насущный. Сегодня он был дан нам!

- Ну, мы, все же, встретились, барин, – говорит тогда Ахмед. – Эта одна ночь, как быстро она пройдет! Что принесет нам утро? Ведь мы же все только обреченные на смерть, ждущие, пока нас вызовут. Но это неважно.

Я объясняю ему причину моей поездки, так как я ничего не должен утаивать от него.

Мы долго беседуем об этом. Он знает очень много. Позже он гладит мою руку, как будто он на много лет старше меня, и улыбается как мудрец, задумчиво глядя при этом вперед.

- Давайте будем играть в бесстрастных наблюдателей, барин, так как только так мы можем честно отвечать на все наши вопросы. И, в конце концов, все дело в честности, в том, что можно увидеть на самом деле, а не в том, что нам так сильно хотелось бы видеть.

Мы зажгли новую сигарету.

- Как часто мы читаем в газетах о знаменитых гостях из-за границы, о приемах в Кремле, когда столы гнутся под разнообразием деликатесов. Они все приезжают, чтобы совершать сделки. Как они улыбаются при этом, как братья, связанные сердечностью.

Но... дольше всего и громче всего до сих пор обычно смеются большевики уже через несколько коротких лет. Русские – это отличные шахматные игроки. Самый высший все еще имеет преимущество над Западом на два или три хода. Это был бы царь! Он превратил бы всю географическую карту только в одно единственное государство! А другие? Они даже в мелочах не могут прийти к единому мнению. Только мы едины, как никогда прежде до сих пор, как воздух нашей родины. Только мы сами можем помочь нам. У нас даже нет оружия, только голые руки и, все же, нас боятся. Днем и ночью, час за часом, при каждой мысли, при каждом самом маленьком слове, которое может быть роковым, вплоть до большого товарища начальника. Охрана убивает охрану. Мы достигли этого!

Татарин улыбается цинично.

С неподвижным лицом Фатме сидит рядом с нами.

- Но когда этого требует время, как в случае с Ершовым, человеком из Центрального комитета... Он отвечал за массовые высылки в Украине! Тогда был вечер. Он приехал на своей большой, тяжелой машине, вышел, перешел тротуар, чтобы посетить свою любовницу, когда кто-то вышел ему навстречу. Выстрел прозвучал с минимальной дистанции... Ершов повалился на землю, большой фаворит большого товарища начальника!

- А убийца? – спрашиваю я и рассматриваю Ахмеда. На его лице видны смелость и презрение.

- Убийца ускользнул.

Фатме приближается к нему. Ее маленькая рука гладит его короткие волосы. Ее взгляд холоден и, все же, наполнен тайной нежности к любимому мужчине.

- Так много хороших людей уже умерли, поэтому одного плохого не жаль.

Я вижу в ней мою жену, татарку. В тот вечер, когда я сел за стол ее семьи и сообщил о самоубийстве коменданта лагеря, от которого я как раз тогда пришел, она рассматривала меня точно таким же образом. Все пораженно молчали. Однако я чувствовал, как ее глаза смотрят на меня. Она и я, мы были одинаковы. Только мы оба знали это. И тогда она сказала: «Наверное, это должно было быть так». И я ответил ей: «Да, это должно было быть так!» Когда она потом наполнила мой стакан красным вином, я рассматривал мои руки. Но они были чисты.

Ахмед небрежно держит свою сигарету.

Он продолжает рассказ: – После Ершова уже два человека занимали этот пост. Первый умер спустя всего несколько недель после так называемого «жесткого допроса» в подвалах его ГПУ. Большой товарищ начальник не был доволен мерой наказания и тем, как он руководил процессом Ершова. Его преемник, ваш прежний школьный приятель, был одним его подчиненным – он принадлежал к нам – по той же самой причине был заведен в безвыходное положение и арестован. Следующий удачный выбор еще не сделан.

Медленно он гасит свою сигарету, выпивает глоток чая, и снова закуривает. – Да вы же сами слышали, как тут угрожали моему соседу: «Достаньте себе характеристики, комиссия будет очень строга!».

- Да.

- Партия чистит себя.

Его лицо становится непроницаемым. – В Москве начался тяжелый ледоход, барин, и он продолжится долго.

Он выпивает еще глоток чая и медленно ставит стакан в сторону. – Счет с Ершовым свели. Он прожил еще восемь мучительных дней. Как там можно оплатить справедливый счет? Как?

Он делает пренебрежительный жест. – Но цель была достигнута: страх перед каждой только возможной ответственностью, постоянно усиливающийся страх перед этим неизвестным часом.

На рассвете я незаметно покидаю дом.

Я иду и иду.

Фасады поблекли... всюду.

Фасады...

Я стою на Дворцовом мосту, прислонившись к мощным тесаным камням стены, смотрю вниз на Неву.

Ледоход... Могущественные льдины, похожие на разделенные звезды, громоздятся друг на друга, трескаются, разбиваются с глухим треском, тяжеломерно, медленно, непрерывно, и они берут, рвут, разрывают каждую преграду, скребются, сталкиваются, уничтожают друг друга, уходят все дальше к открытому морю, пока они не исчезают в туманной дали нового утра. Тяжелый ледоход, барин...

Справа лежит вытянувшийся массив Петропавловской крепости. Я приближаюсь к ней с уже давно забытым чувством заранее назначенных часов...

Я даже стою перед ее могущественными воротами с маленькой боковой дверью. Мое дыхание останавливается.

- Наверное, хочешь в крепость, товарищ?

Часовой, солдат Красной армии, разве у него не знакомое мне, круглое крестьянское лицо, как у большинства из них? Разве у него нет добродушных, светлых глаз и сильного телосложения мужчин из Центральной России?

- Так ты хочешь внутрь, гражданин?

- Я уже был в крепости!

- Тогда ты должен знать, насколько там уютно.

Бледно-голубое северное небо постепенно все больше теряет цвет. Становится прохладно, и легкий бриз дует от близкого моря. Тут и там вспыхивают уличные фонари. Фасады домов тонут в сером цвете. Начинает распространяться особенная тишина, которая несет в себе что-то бодрствующее, прячущееся, скрытое и поэтому пугающее.

Деревья в бывших парках вырублены. Только лишь несколько скамеек из грязного бетона стоят на покрытых разросшейся травой дорожках. Я сажусь, чтобы подождать Ахмеда, как было условлено. Украдкой я смотрю на часы. Еще слишком рано. Мне нужно набраться терпения.

С Невы время от времени доносятся гудки маленьких паровозиков, точно тех же, на которых я когда-то плавал полный детской радости, но к ужасу моей кормилицы, которая всегда крепко держала меня за руку и лишь редко разрешала мне заходить на палубу, так как, по ее мнению, волнение было слишком высоким для таких маленьких скорлупок. Мы в то время платили по две копейки за билет, тяжелые медные монеты с двуглавым царским орлом. Однако особенно охотно я ездил зимой на маленьком электрическом трамвае по льду Невы. Остановка была на набережной Зимнего дворца. Я засовывал монетку под оконным стеклом деревянной билетной кассы всегда с новым, зудящим ожиданием. Я всегда стоял на передней платформе, чтобы видеть все лучше, и спрашивал каждый раз вагоновожатого: «Не мог ли бы ты ехать быстрее?» Бородач поворачивался и добродушно замечал: «Разве это для тебя недостаточно быстро?» «Но если ехать еще быстрее, это приносило бы больше удовольствия, ты не думаешь?» Он тер себя толстыми рукавицами по покрытой инеем бороде, улыбался и говорил: «Хорошо. Я добавляю еще чуть-чуть скорости, на один зубчик, но это уже точно последний. Вот так... Быстрее теперь уже не может быть, малыш».

При этом я точно видел, что «зубчик», о котором он говорил, вовсе не существовал, так как рычаг скорости давно уже стоял до упора. И, тем не менее, я говорил: «Вот видишь, как это теперь здорово!» «Да, совсем другая поездка!» «А если вдруг лед сломается?» «Нет! Как ты можешь так думать! Он держит наш трамвай и вдобавок больше тридцати человек! Его толщина больше метра. Ты же знаешь, сколько это?» «Да, приблизительно так», показывал я обеими руками.

Тогда мой взгляд перешел к Исаакиевскому собору. Там я когда-то с моей кормилицей стоял посреди большой толпы перед монументальным входом, добросовестно прикрывая горящие свечи от холодного весеннего ветра. Священник в тяжелом облачении постучал по этой двери, которая тогда раскрылась перед нами. Была Пасха, и мы смотрели из ночи в сияние сотен свечей, хлынувшее на нас из собора. Звучный голос епископа объявил нам радостно: «Христос воскрес!» и шепот верующих как глубокая, мощная волна зазвучал ему навстречу: «Воистину, воскрес!» Начавшись с самого глубокого баса самого большого колокола собора, звон колоколов звучал теперь со всех церквей, и этот мощный звук парил в чистой как кристалл, холодной ночи. Мы стояли на коленях и молились, и приятное чувство овладело нами: Христос воскрес! И теперь больше нет?

Я зажигаю сигарету, смотрю вперед и жду.

- Дорогой! У тебя найдется сигаретка еще и для меня? Подари же мне одну. Ты хочешь? У тебя есть немного времени для меня?

Дерзкая, бедно одетая девушка садится ко мне на скамейку и берет мою руку. Она пахнет духами пачули, у нее аккуратно подстриженные, красные ногти, и когда я держу спичку у ее сигареты, она говорит уверенно:

- Только посмотри, как красиво я выгляжу. У меня никого еще не было сегодня, я только что из дома.

Жадно она вдыхает дым и с шумом его выпускает. Тогда она делает еще несколько поспешных затяжек.

- Ты хорошо выбрал скамейку, немного в стороне от уличного фонаря. Это моя скамейка. Давай, я поцелую тебя. Ведь ты же должен знать, что я умею, дорогой!

- Нет... Девочка!

- Откуда же ты приехал, что говоришь мне «девочка»?

- Почему? – спрашиваю я, сразу насторожившись.

- Теперь все говорят нам «барышня». Ах, да у тебя седые виски. И поэтому тоже. Бывший офицер? – шепчет она. – Я не выдам тебя. У меня самой был офицер. На Морской улице у меня была маленькая квартира. Я была так счастлива с Валерием! Она прижимается ко мне, гладит меня по рукаву и забрасывает ногу на ногу.

Темная фигура проходит и смотрит на нас. Девушка прижимается ближе ко мне и хватает мою руку. Вдали нетерпеливо гудит пароход. Холодный бриза дует над нами.

- Боишься? – спрашиваю я.

- Да... очень! Как все мы, – снова шепчет она. – Теперь пойдём ко мне, – добавляет она нетерпеливо. – Я могу закрыть свою комнату на широкий засов. Четыре стены все лучше, чем здесь, и моя мать тогда выйдет. Ребенок не мешает нам; он спит. Он еще от него.

Она назначает мне цену и замечает: – Потому что ты другой и не пьяный. Боже, как они мне противны! Они иногда набрасываются просто как животные. Ну, пошли уже, дорогой! Там я совсем разденусь. Здесь, естественно, дешевле, однако не так красиво. Пошли!

Она встает и тянет меня с собой.

Я следую за ней, даже не зная, почему я это делаю.

Высоко подняв воротник пальто, низко надвинув фуражку на лоб, руки в карманах, мрачный тип подходит к нам. Шмыгающий мимо взгляд встречает нас. Девушка даже не поднимает глаз. Тихое давление ее руки просит меня, чтобы я шел быстрее.

Нам не пришлось далеко идти. Темная лестница, быстрое нащупывание дверной ручки, и мы входим в маленькую комнату, каморку, беднее которой трудно себе представить. Старая женщина поднимается, но керосиновая лампа горит настолько тускло, что я едва ли могу видеть ее лицо под свисающими прядями волосами. Молча она выходит. Только широкий шерстяной платок она более плотно завязывает вокруг мерзнувших плеч. Девушка достает темное одеяло и раскладывает его на полу.

- Мать даже еще кое-что обогрела. Моя Соня кашляет уже год. Врач говорил...

Поспешно она начинает снимать с себя одежду. – Только ты сначала должен дать мне мои деньги. Обычно я всегда требую оплаты еще на улице, так как...

У нее вялая, бесцветная кожа, красные ногти теперь подобны черным пятнам, которые еще дальше расстегивают платье на груди, обнажают костлявые плечи. Она смотрит на купюру, которую я протягиваю ей.

- Только тихо, ради ребенка!

Я подхожу к кровати, склоняюсь над спящим ребенком, девочкой со светлыми волосами, и пытаюсь немного разглядеть ее лицо.

- Принеси-ка лампу!

- Зачем? Чего ты хочешь? Кто ты все же такой? – ужас звучит в ее голосе.

- Только посмотреть. Я ничего не сделаю малышке.

У девочки красивое, нежное лицо. На ее щеках видны красные пятна, маленькие руки горячие, лоб немного влажный. Больные легкие...

- Ты должна поехать со своим ребенком в Крым, так как там гораздо лучше, чем в Ленинграде. В мягком климате ее кашель пройдет. Партия построила там санатории.

- Но не для нас! Не для нас! – шипит она зло, останавливается и сразу добавляет снова спокойно: – Это все только для партии, а меня не примут, потому что Валерий был офицер, и из-за этого я считаюсь подозрительной.

- Но ты, все же, должна попробовать все ради твоего ребенка.

- Да? Почему же, только, из-за того, что Соня кашляет?

- Потому что этот кашель никогда не пройдет. Она может от этого умереть.

- Врач тоже это говорил! Тогда я должна продать последнюю память о нем! Ну, давай уже, – говорит она сердито.

Я качаю головой.

- Ты извращенец? Что я должна сделать, чтобы тебе понравиться?

- Держи деньги. Выведи меня.

Она не говорит ни слова, застегивает платье, но ее пальцы не совсем слушаются ее, когда она быстро приглаживает свои волосы. Только когда мы стоим за дверью, она шепчет: – Все же, ты барин. Ты еще знаешь это слово? Он тоже был таким.

Тихо мы идем к входной двери.

Внезапно мы вздрагиваем.

Луна выглядывает из быстро уносимых ветром обрывков облаков, так что выход лежит в светлой тени. Там, однако, стоит какой-то мужчина, воротник поднят, фуражка глубоко надвинута на лоб, руки засунуты в карманы пальто. Девушка уже переступила за порог. Мужчина быстро приближается к ней. – Люба? – кричит он хрипло; все кажется мне зловещим. – Валерий! Боже! Ты?

Два силуэта на короткое мгновение обвивают друг друга.

- Вы арестованы! Следуйте за мной!

Тяжелая лапа ложится на рот девушки.

Уже они теряются в темноте.

Прочь уносится машина.

Снаружи ничто не двигается.

Осторожно я выглядываю наружу.

Маленькая, согнувшаяся женщина в шерстяном платке, мать девочки, огибает угол:

- Товарищ, не забывай старую мать! У тебя она тоже будет.

Я бросаю ей одну скомканную купюру и поспешно удаляюсь. Моя скамейка пуста.

Нетерпеливо я жду Ахмеда, и все время смотрю на путешествующие облака, как они уносятся на запад.

Пара проходит, крепко обнявшись. Совсем недалеко в стороне от меня они целуются долго и преданно, оглядываются и снова целуются. Потом они садятся на скамейку. Она тихо смеется, лукаво, и мужчина добродушно убеждает ее.

Полный нетерпения, я думаю о далекой дороге в Сибирь. Я спешу с Ахмедом домой. По дороге он радостно рассказывает мне, что он приобрел для нас на черном рынке; даже круглый карманный фонарь с новой батареей, которой определенно хватит на несколько часов.

Взгляд Фатме, полный нежности, долго останавливается на нем.

- Хвала Аллаху, что ты снова со мной, дорогой! – говорит она с облегчением и гладит его по волосам.

Мужчина смотрит на нее тихо и растроганно и обнимает ее. Как они любят друг друга, я думаю, от какого страха они оба снова избавились!

Но надолго ли?

Затем взгляд молодой женщины проясняется, когда она видит, что мы купили, но она не выдает свою радость ни единым звуком.

- Барин!

Она хватается мою руку. Полные губы дрожат немного. – Вы остались точно таким, каким вас описывал мой Ахмед.

- Только вот наш масштаб стал теперь меньше, намного меньше.

- Да.

Она опускает голову и кивает. – Стал меньше... Но мы тем более благодарны.

В глубоком молчании и с тем же благоговением, как прошлым вечером, мы садимся за стол, смотрим на Фатме, как она готовит нашу еду, едим ее медленно, ложку за ложкой, и делим наш хлеб.

И снова мы рассказываем друг другу обо всем, как два брата, которые ничего не должны утаивать друг от друга.

Затем забрезжило новое утро, и я снова тайком ушел от них прочь.

Мы хотели встретиться через несколько месяцев.

Мой путь вел меня в многомесячном путешествии до Сибири, через города Челябинск, Свердловск, Тюмень и через реки Тура, Тобол, Иртыш и Обь. Это был ставший историческим для России путь первых завоевателей Сибири, Ермака и его дружины, в шестнадцатом веке.

На краю последнего города, где отдельные избы уже теряются в близкой девственной тайге, я начал искать одного молчаливого человека. Я нашел его на низком песчаном берегу реки, сидящего возле своей старой лодки. Там лежала выдавшая виды сеть и на ней лишь горсть рыб, которых плотно обсели мухи.

Он, погрузившись в свои мысли, смотрел на широкую водную гладь, которая простиралась почти до горизонта.

- Немного для сегодняшнего вечера.

Я показал на улов и опустил рядом с ним.

Человек немного раздвинул рукой рыбу. – Да, – сказал он тогда, – немного для сегодняшнего вечера.

- Здесь стало слишком шумно. Больше не так, как когда-то, – ответил я. Он кивал, но ничего не говорил. – Вниз по течению должен быть еще хороший улов, особенно в рукавах Оби... так говорят.

Мы долго молчали и смотрели на лениво скользящий мимо поток и маленькие волны, которые проворно накатывались на берег в вечной размеренности. Время от времени ветер доносил нам гудки речных пароходов с далекой пристани. Рой мух танцевал и переливался красками в ставшем звукопроницаемым воздухе приближающейся осени.

Где-то грустно завывала собака. Медленно смеркалось.

- Не хочешь щепотку махорки? – спросил, наконец, я. Молчаливый человек поднял глаза. Заходящее солнце бросило маленькую, светящуюся искру в его серо-голубые глаза. Там таились меланхолия его сердца и тишина его бескрайней страны, где никто не спрашивает другого о его дороге, так как здесь это было и остается несущественным.

Я дал ему клочок газетной бумаги, порылся в раздутом кармане моей уже не поддающейся определению куртки, и подал ему между тремя пальцами щепотку табака. Мы оторвали от бумаги полоску, скрутили ее в маленький конус, защемили его острый конец, а в более широкий насыпали табак.

Безмолвно мы курили эти крохотные бумажные трубки.

- Да... Да... Вниз по течению должен еще быть хороший улов. Но, что теперь значит «много», и что значит «мало», – произнес мужчина тихо и безучастно. – Из мертвого дома у нас обычно выпускают только лишь мертвых. Ты это знаешь. Я был политическим, отсидел из двадцати пяти лет двадцать. Четыре зимы за все это время я прожил с шестью единомышленниками в тайге как дикие звери. Красные освободили нас, прославляли нас как героев их революции. Собственно, у нас все есть, только для меня, знаешь, понятие «много» и «мало» становится таким второстепенным.

- Тогда больше всего любишь широту горизонтов.

- Да, брат!

Благосклонная улыбка осветила его спокойное лицо. – Тогда давай поедem, все же, скорее! Больше не нужно ждать! – настаивал я с энергией.

- Да и чего ждать? Чего?

- Поедем туда на моей лодке! Тогда мы недалеко дойдем. Обь дальше внизу становится все шире. Зимой, когда она блестит на морозном солнце, она там широка как замерзшее море, необозримая, чтобы переехать ее, понадобится полдня. Мы когда-то переходили ее с песней: «Братья, к солнцу, к свободе!». Ах!

Он махнул рукой, осмотрел остаток сигареты и тщательно раздавил пальцами крохотный огонек. – Любой окуроч напоминает мне о самом большом ужасе в моей жизни: лесные пожары в Сибири! Пожары бескрайней тайги! Великий Боже!

Николай не разочаровал меня. Он был молчалив, и когда свет на западе опустился во второй раз, мы вытащили нашу новую лодку из укрытия под свисающими ивами и поплыли дальше. Высоко в бледно-голубом небе летели гуси. Ветер шелестел в листьях осин. Один лист за другим отделялся от веток, кружился, качался, падал на поверхность воды, клубы тумана, первые предвестники приближающейся осени, ловили нас своими разлетающимися по воздуху руками, надевали на нас желанную шапку-невидимку, и когда они спустя много часов растворялись, я смотрел на Обь, воды которой перекачивались волнами как черная, густая нефть между угрюмыми берегами.

Реки Сибири! думал я. Обь в период разлива достигает в своем устье ширины в сорок километров и даже больше. Лена становится еще сильнее, так же Енисей! Везер или Эльба в сравнении с ними – маленькие реки.

Эта беспредельная Сибирь! Все там растягивается до неизвестного. Европейские понятия здесь совершенно не подходят. Дикая страна, волшебная страна!

Начиналось утро.

Еще очень бледный, едва узнаваемый зеленый свет ложится над лесом на востоке. Силуэты деревьев робко проявляются. Тишина... Далеко в бескрайнем болоте кричит ястребиная сова. Прямо надо мной, в лохматой верхушке европейского кедра, сидит первый глухарь, бормочет и сразу умолкает.

Тогда снова не остается ничего, кроме тишины. Тихий шелест становится внятным. Глухарь устраивается поудобнее и медленно начинает есть хвою. Его черный силуэт отчетливо выделяется на фоне только начинающей проявляться красной утренней зари. Он ходит по толстой ветке туда-сюда, сгибает длинную шею, щелкает клювом.

Теперь глухари взвиваются один за другим. Они кажутся черными комками. Потом они пасутся. Зеленые грудки светятся, на их оперении появляется пурпурный оттенок. Один из них шумит и токует, как будто сейчас милое весеннее время, поворачивается, кувырывается.

В камыше крякают утки, собираются в стайки, ныряют, гогочут, снова прячутся. Черная казарка движется, треща и крича, длинными, вибрирующими линиями, и ворон приветствует первый луч солнца своим глубоким спокойным карканьем. В этой кажущейся священной утренней заре также движутся кричащие эскадры северных гусей. Сойки шумят, черный дятел бьет по сухому стволу, так, что кора и щепки разлетаются во все стороны.

Только немного дальше среди болота и болотистых лугов выскакивает старый сосновый лесок, и дальше блестит как золото широкая поверхность просторного озера, камыш немного шелестит на ветру, кедр кивает сонно на берегу.

Паутинки летят от куста к кусту, порхают, мерцают. Но уже многие журавли кричат на прощание, собираясь улететь на юг.

Это симфония сибирской осени.

- Славное море, священный Байкал! – вдруг начинает петь Николай неопытным, хриплым голосом, и я немедленно присоединяюсь к этой песне, взволнованный прошлым, так же хрипло, медлительно и медленно. Воспоминания о тюрьме у озера Байкал живо возникают передо мной. Воспоминания... какой странный подарок.

Так скользила наша лодка-однодеревка изо дня в день все дальше, из одного укрытия в другое. Как только вечерние клубы тумана лежали над водой, мы покидали наше убежище. Только когда бледный свет нового утра поднимался над камышом и ложился над широкой, тихой серебряной лентой Оби, мы искали новое убежище.

Мы должны были оставаться незаметными.

Облака стали свинцово-серыми и черными. Большие тяжелые капли падают в море реки и начинают настойчиво, предостерегающе барабанить по парусному полотну нашей лодки. Мы гребем, наши лица вспотели. Только бы выбраться из низкого, искалеченного березового леса, только добраться быстрее к «черному урману», сибирскому кедровому лесу с могущественными, плотными кронами, чтобы найти под ними защиту. С жестким толчком лодка наталкивается на берег, мы хватаемся за нее, вытаскиваем, переворачиваем вверх дном, размещаем под ней припасы, с большой быстротой укрепляем парусину на деревьях, быстро разжигаем костер.

Тут разверзается небо!

Уже дождь льется вниз с такой могущественной силой, которую знают только сибирская тайга и тропики. Если бы не эти старые, сильные кедры над нами, если бы их тяжелые, темные ветви не защищали нас, и если бы между нами еще не стоял могущественный сциадопитис, то наше палаточное полотно никогда не смогло бы сдержать такой поток.

Теперь мы сидим у костра, из мокрой одежды выходит пар. Николай уже вешает наш чайник над огнем. Один порыв ветра за другим проносится по урману. Камыш на берегу зло шипит в буре. Мы слышим треск и хлопки ливня, как он подавляет, сметает все.

Мгновенно стемнело, как будто наступил вечер. В мраке гром и молния теперь сверкают все ярче, гремят все более дико. Гром грохочет непрерывно, и сильнее, еще сильнее шумит дождь. Снова, снова и снова сверкает молния! Дикие декорации закутаны в таинственный желтый свет. Внезапно оглушительный треск... Запах серы...

Я моментально подскакиваю.

- Прочь отсюда! Сейчас ударит молния! – громко кричу я.

- Ты дурак. Ты большой дурак, – отвечает Николай и мудро улыбается. – Ведь то, чего хочет Бог, все равно произойдет! Разве ты этого не знаешь? Там, где-нибудь в другом месте, ты хочешь быть в безопасности?

При этом он скручивает сигарету, и снова дружелюбно улыбается мне. – Недавно ты говорил мне, как мало для тебя значит твой кусочек жизни. А теперь? Вы, западные люди, все же, жалкие болтуны!

Тут мне становится стыдно перед человеком, который так спокойно курит свой табак и подбрасывает деревянные в огонь, и я сажусь поближе к нему.

Вокруг нас продолжает трещать и разлетаться вдребезги в гремящих, резких ударах. Только временами мы обмениваемся между собой редким словом, на которое мы оба отвечаем без желания.

Затем гроза заканчивается. Только лишь вдали гремит она в неослабной мощи. Водяной пар поднимается над рекой – лесные духи проходят мимо. С промокших ветвей громко падают капли, и стоит лишь ветру потрясти их, то настоящие ливни с шумом льются вниз с веток елей и кедров. Наконец, и вдали небо синет. Бело-золотые облака двигаются, и над верхушками «черного урмана» в редкой уединенности пылает глубокий красный цвет заходящего солнца. Сегодня ни один лось не издаст свой звучный крик. Лоси не любят дождь и сырость, я думаю. В похожей местности я много лет назад охотился с трапперами... Сонные мы сидим у огня и хлебаем горячий чай. В пустоши филин кричит таким же низким голосом, как басистый колокол. Рассвет подкрадывается из кустов и под стволами деревьев. Мы смотрим на огонь и помешиваем чай в наших кружках. Время от времени падает оборванное слово, короткая фраза. Потом Николай засыпает, положив голову на жесткую деревянную колоду. Дыхание его спокойное, открытое лицо немного улыбается во сне, и затухающий огонь бросает красные и желтые блики на его загоревшие на открытом воздухе щеки и его сильно тронутую сединой бороду.

Шелестение в подлеске! На реке! Тяжелые шаги! Такое же тяжелое тело бредет через кусты. Но потом что-то громко гроыхает, ветки трещат и ломаются, вода плещется глухо. Грохот и шум. Крик звучит пронзительно, все же выше, более пронизывающее, резко, почти как ржание лошадей. Одним прыжком я оказываюсь снаружи. Николай уже тоже рядом со мной.

- Это лоси! – говорю я, затаив дыхание.

Непроницаемый мрак. Все тихо, как раньше. Только дождь монотонно капает с кустов в прибрежном камыше. Но там, где я днем видел молодые березы и ивы, окружающие «черный урман», еще раз слышен грохот и треск. Это был крик, с которым лось покрывает самку, но я никогда еще не слышал его так отчетливо, так резко.

- Вот видишь, Федя, Господь не причинил нам горя своей молнией. Он также не хотел, чтобы мы причинили горе лосю. Раньше у тебя уже точно была бы твоя готовая к стрельбе трехстволка в руке. А теперь спи. Завтра тоже будет день.

Однажды ночью я в испуге просыпаюсь! Какой-то шум или звук разбудил меня. Я прислушиваюсь все время. Костер почти совсем догорел.

«Ууууу... уууу... уууууу...»

- Волки! – говорит Николай, – а у нас нет ружья! Но ты же хотел ехать без винтовки! Твой пистолет против этих бестий нам ничем не поможет!

- Если ты прожил четыре года в сибирской тайге, ты должен был знать, что волки никогда еще не нападали на способного защищаться, сильного человека.

- Может быть, но этой банде никогда нельзя доверять. Это особенное чувство. Не трусость, но, все же, мороз по коже.

Мы быстро бросаем поленья, смолистую древесину, колоды на угли. Высоко разлетаются искры. Адское красное каление ложится над лесом. И снова начинается в глубоком басы «Ууууу... уууу... уууу!» Тогда следует тявканье, лай и резкое звучание, как будто бы в лесу было сущее пекло: «Гав! Гав! Ууууу! Ууууу! Уууууу!»

- Эти твари могут быть не дальше чем в пятидесяти шагах! Не смейся, если я возьму дубину. Это старые и молодые – и их, пожалуй, штук пятьдесят, по меньшей мере. Проклятая чума! – ругается Николай еще довольно долго и озабоченно качает головой.

- Из-за них у нас не будет спокойного часа до раннего утра.

Наконец, вой стихает. Волки исчезают. Но мы все равно всю ночь беседуем и разжигаем огромный костер. – Этой банде никогда нельзя доверять. Они могут тут же вернуться. Почему они всегда так воют?

- От этого они становятся сытыми, – ответил я саркастично.

- Ты думаешь? – отвечает русский и напряженно вслушивается в темную ночь.

Наконец, мы оказались поблизости от деревни Видное. Она лежала на небольшом возвышении, неизменившаяся и точно такая, какой я ее запомнил. Это было дальше всего выдвинувшееся поселение на реке, так как эта местность ежегодно страдает от сильных наводнений.

Там я оставил молчуна и двигался дальше в одиночку. Он согласился подождать меня, если я должен буду вернуться.

День за днем моя однодеревка скользила по течению, мне едва ли требовалось указывать ей направление байдарочным веслом. Все вокруг меня было лишь одним возвышенным молчанием: река, лес, поле под паром, густой кустарник, болото, меланхолическая, сонная ширь, свободные, веселые стаи птиц, движущиеся облака, сияющее, знойное солнце, трещащий дождь на моем брезенте, широкие просторы когда-то так хорошо знакомой мне тайги на берегу одного из многочисленных рукавов Оби.

Вокруг тебя только молчание.

Оно настолько велико, что одинокий человек может его испугаться...

Внезапно останавливается сердце, искусственно соединенные конечности движутся в почти судорожной, незнакомой поспешности, полные болью хватают весло.

Я выхожу на берегу, вытягиваю мою лодку на сушу. Знакомая местность лежит передо мной спустя десять лет.

Я нахожу маленький зеленый луг. На нем стоят мои березы со светлыми стволами, как будто бы они все кивали мне издалека, простые пестрые цветочки вокруг них.

Здесь я часто сидел с Фаиме. Здесь мы иногда лежали в тени блестящих березовых листьев, сцепив руки под головой, и глядели вверх в облака и в бесконечность бледно-голубого неба, которое мы сравнивали с величием Бога.

Тогда я склонялся над нею, смотрел в ее лицо, искал на нем со странным напряжением и со счастливо бьющимся сердцем смех и сияющие нежности. Я склонялся над ее рукой, прикладывал ее к моей щеке, и когда я снова поднимал взгляд и осмыслял ее экзотическое своеобразие и красоту, вокруг ее губ мерцала маленькая улыбка, которая должна была показывать мне, как она понимала меня.

Я любил ее! Я любил ее маленькие руки и ноги, которые были так соблазнительно ухоженными по восточному обычаю, ее походку, когда она подходила ко мне и рассматривала меня, в сознании того, что она принадлежала мне; ее голос днем, когда она говорила со мной, который звучал совсем не так, когда она беседовала с другими, ночью, когда она звала меня и нежно-стыдливо искала моей близости. Я любил в ней все.

Часто я брал ее голову, ее черные волосы падали на мою согнутую руку, и я снова смотрел на нее, гладил брови, которые двумя четкими высокими дугами стояли над ее ресницами. Они чувствовали губы. Тугая кожа на ее щеках с бледно-золотым мерцанием была тепла и полна. Больше всего я любил ее рот. Он был знаком мне при каждом слове, во сне, в нежностях и каждом маленьком настроении, и, если он молчал. Иногда луна освещала ее лицо, ее рот обрамлял белые сверкающие зубы. Она наклоняла голову ко мне, прикасалась своими волосами к моему лицу и смотрела на меня. Я мог проникнуть в суть вопроса, который стоял там, и как будто бы она хотела сказать мне, что я догадался о ее мыслях. Ее щека скользила по моей, и ее аромат, горький, как аромат трав тундры, охватывал меня, приятно близкий и такой приятно знакомый.

- Фаиме...!

Но она не знала, что я ночами, когда она спала, вставал, пробирался из комнаты и подходил к горячей лампаде. Долго я смотрел на бородатое, спокойное лицо святого. Тихо и благосклонно его живые глаза смотрели на меня, как будто они хотели дать ответ на мой немой вопрос. Я беспокоился о моем большом счастье, я боялся снова стать одиноким, боялся будущего.

- Не бойся, я с тобой! Бородатый святой любезно улыбался мне.

Я становился на колени... Я боялся...

Не ждала ли нас в бессмертии даль холодной бесконечности?

Маленький могильный холмик Фаиме зарос травой и цветами. От креста осталась только лишь горсть гнилой, частично уже унесенной ветром древесины... могила моей жены и нашего ребенка... и мои нерасторопные, сонные руки пытаются сплести венок из полевых цветов и травы.

Привет от возвратившегося домой.

На этом маленьком острове я больше не одинок, потому что я разговариваю с ними совсем тихо, как если бы они еще стояли передо мной, и я откровенно говорю им все, также то, каким я стал теперь.

И они понимают меня.

Потому что они безгранично любили меня.

Уже часто заходило солнце. Так довольно часто мочил меня дождь, и, все же, я остаюсь с моей женой и моим ребенком. Я один в бесконечном, меланхолическом просторе, и мне кажется, как будто бы теперь я, наконец, вернулся домой.

Потом я ищу просеку. Я тогда прорубил ее сильными, веселыми ударами топора, отведя от главной дороги, до этого острова, а через тонкий рукав реки перебросил бревенчатый мостик. Когда я уходил, я разрушил его, и бросил бревна в реку, чтобы они уплыли вдаль, для того, чтобы никто не смог добраться до этого маленького клочка земли.

Наконец, я нахожу эту просеку, а также прежнюю лесную дорогу. Но теперь она полностью заросла, доказательство, что по ней больше никто не ходил.

Почему нет? Ведь она была главной связующей дорогой на север!

Только с трудом ведет она меня через растрепанный кустарник, молодые сосны, кедры и березы с белыми стволами, в Никитино. Никитино...

Широкая поверхность...

И больше ничего, кроме заросших... груд пепла...

Много лет назад лесной пожар бушевал здесь и сжег все; ничего не осталось от маленького городка. Я могу узнать прежние ряды домов только по равномерным грудам пепла, широкую рыночную площадь, на которой встречались многие крестьяне с их маленькими, косматыми лошадками из далеких окрестностей, чтобы продать свои шкурки, и чтобы немного повеселиться.

Обломки каменных административных зданий, развалины тюрьмы возвышаются, черные и обрушившиеся. Все это покрыто диким густым кустарником и молодыми деревьями.

Я взбираюсь то на один, то на другой холм, подтягиваюсь на тонких ветвях, смотрю с возвышения на сожженную землю, как будто пришедший из потустороннего мира, я хочу обнаружить еще какого-то дорогого человека, того, кто еще знает меня, с которым я провел здесь долгие годы своего плена.

Здесь стоял когда-то мой дом.

Здесь жил тот, другой.

Здесь должны были находиться могилы моих товарищей.

Здесь... там... когда-то...

Новой встречи не будет.

Где остались они все?

Сгорели?... Уведены прочь?... Пропали?... Погибли?...

Все мертво...

Тайга тянется в безжалостную даль, и ее непроницаемый густой кустарник своими бесчисленными ветвями навсегда удерживает кого-то в своем плену. Она примет также этот маленький клочок земли в свою молчаливую середину; она уже начала свою работу. Следы бывшего стираются все больше и больше.

Только маленькие птицы, веселые проворные синицы, прыгают беспечно с ветки на ветку и щебечут бодро, и река движется как когда-то, как всегда, своей ленивой дорогой, куда-то в никогда не виданую ширину.

Маленький остров, луга, машущие березы, обласканные материнской рукой ветра, в их тень я снова вернулся. Среди них я долго сидел и снова внимательно слушал шум деревьев, тишину.

И, все же, однажды рука схватила весло, песок под однодеревкой звонко закрипел, и уже я был посреди течения. Лодка скользила все дальше и дальше, дни и ночи. Слева и справа известные изгибы и пейзажи, неизменившиеся после моего ухода.

Я искал пропавших, которые, как я думал, еще были живы.

Все же, вокруг меня все оставалось немым, хотя я с напряжением искал и искал в знакомых мне уголках и убежищах дальнейший путь к ним. Я еще точно знал его, так как очень часто мои сны с открытыми глазами приносили меня сюда, даже если мне казалось невероятным сохранить эту местность в глубине Сибири так хорошо в памяти.

Наконец, я схватил свое оружие, выстрел громко и далеко загредел в молчаливую тайгу, пока он не спрятался где-то в лесу и умолк.

Снова внимательно слушало мое неопытное ухо, но ничего не слышало. Все вокруг меня молчало, как раньше.

Сомнения появлялись во мне.

Страх начал рисовать картины гибели пропавших.

Там!

Узкая как стрела, низкая лодка внезапно несется стремительно ко мне из-под кустарника на берегу, на корме умело гребет белокурый парень, два стрелка лежат на носу с ружьями наизготовку. Лодки уже рядом.

Светлые соколиные глаза молодых мужчин напряженно осматривают меня.

Молча и так же напряженно мой взгляд тоже осматривает мальчика на корме. Теперь он поднялся в полный рост. Он широкоплечий, у него тонкий нос и лазурные, несколько печальные глаза, взгляд, который остается незабываемым. Он – копия его матери Маруси.

- Кто ты? – спрашивает он меня.

- Я немец, друг твоего отца!

- Федя! Великий Боже! Это же невозможно! Я Алеша, его сын! Мы все так часто говорили о тебе. Ведь ты обещал, что вернешься, всегда говорил мой отец. Ты принес нам хорошие вести?

И уже юноша схватил мою изувеченную руку и поцеловал мою руку с затаенным дыханием, потом легко прыгает в мою лодку, хватая весло и ведет однодеревку к берегу.

Крохотное, маленькое место в плотном береговом кустарнике, несколько коротких ударов веслом, и передо мной лежит известный, спрятанный фарватер, ведущий в Забытое. Плотный навес из ветвей некоторое время нависает над нами, потом внезапно остается позади. Мы в гавани.

Знакомая дорога по колосющимся полям, по которой я когда-то ступал, издали слышны человеческие голоса, между ними звенят лениво бубенчики. Тесно сжатая деревня, в высоком, массивном заборе амбразуры, тяжелые ворота открыты, маленькие, низкие избы, узкая улица, площадь, в центре ее старая, обвитая церковь. У подножия ее лежит могильный холм маленького Мити и рядом могила нашего товарища Зальцера.

Теперь люди, которые не знают спешки, подбегают к нам. Мы уже окружены ими, и один голос протяжно кричит другому:

- Федя, немец, приехал...!

Я посреди радостных людей, и одиночество покидает меня, как тьма, изгоняемая светом.

Мой друг Илья, староста Забытого, пробивается с трудом через толпу, мой друг Степан, бывший каторжник, следует за ним. Мужчины останавливают дыхание, складывают руки, сначала ощупывают меня и не верят своим глазам. Их волосы растрепаны, воротники рубашек расстегнуты, теперь грудь их дышит тяжело и быстро, глаза становятся мягкими и счастливыми.

Они целуют нас обоих в щеки и лоб, они снова и снова смотрят на меня, шепчут непонятные слова, хватают меня, целуют меня опять. Они такие большие, такие сильные, и они пахнут здоровым телом, своим потом и землей, которую они обрабатывали.

Мои бывшие товарищи напирают на меня, те немногие, которые добровольно остались в Сибири. В их глазах стоит немой вопрос о родине.

Толпа расступается, освобождая мне дорогу. Передо мной лежит моя маленькая изба... она осталась пустой... и в ней все сохранилось еще точно так, как я когда-то покинул. – Наверное, ты когда-то приедешь... так думали мы все... ты же обещал это нам..., говорит один голос возле меня.

Да, я приехал. Теперь жгучая тоска многих лет стояла передо мной осуществленная.

Я приехал... один.

Еще тем же самым вечером они все в близком, плотном полукруге сидели напротив меня, мои друзья и товарищи, их жены и много взрослых детей, справа и слева от меня Илья и Степан. Они не отводили от меня взглядов, и в этих взглядах был только единственный, но также и самый жестокий вопрос, который так сильно волновал тогда также моего отца, который всегда показывал, что все остальное в нашей жизни неважно: вопрос о нашем общем будущем.

Мы все чувствовали только лишь его безнадежность.

Теперь пришел мой черед держать ответ перед жителями деревни Забытое, так как они не принадлежали, как я до сих пор предполагал, к тем наивным людям, которые ничего не знали, или знали лишь очень мало о внешнем мире и о последних событиях.

Они описали мне все, так, как мы до сих пор всегда стояли друг за друга, в искренней, непреложной откровенности. Мог ли я лишиться их той небольшой

надежды, которую усвоил каждый откровенный с самим собой человек на Западе, который непредвзято следил за политикой и ее воздействиями и обсуждал их?

Я чувствовал, как мне перехватило дыхание, и не мог произнести ни слова. Тут рука Ильи тяжело легла на мою руку.

- Федя... когда ты впервые приехал в Забытое, чтобы купить у нас шкурки, мы увидели в тебе больше, чем друга. Тот вечер в «Красном углу» и многие другие, которые последовали за ним, останутся для нас незабываемыми. Мы встречались с открытыми руками. До сегодняшнего дня мы чувствовали себя связанными с тобой большой откровенностью. Мне больно делать тебе сегодня горький упрек в неискренности. Тебе больше не хватает мужества, чтобы сказать нам, как когда-то, всю правду.

- Да. У меня больше нет мужества! Я не могу вам, да, как раз вам... доставить боль! Когда я приехал к вам, тогда судьба потребовала от меня, чтобы я помогал вам. Сегодня, однако, я больше не тот, который жил когда-то среди вас. Я снова лишь только маленький человек снова ставшей маленькой вокруг него жизни.

И я подчеркивал каждое слово:

- Я больше не могу помочь вам.

Голова опустилась на грудь.

- Я больше шести месяцев ездил по Россию и всюду видел – я не хочу быть неискренним с вами – что неизбежное надвигается на нас всех. Это знают многие из вас, кто долго бродил по миру, и все же возвратился домой в Забытое.

- Да, Федя, это они говорили.

Каждый вечер мы говорили об этом, думали о каждом возможном запасном выходе, который я только мог указать им, так как я ориентировался в далекой местности. Все же, в конце всегда следовали обескураживающие слова: «Но все триста душ не могут ускользнуть!» Никто не хотел расставаться с другими.

- Тогда уже лучше все умрем!

Над Забытым опускалось покрывало тишины.

Больше не звенел смех, не звучала песня, было так, будто каждый снаряжал себя для ухода, хотя никто не знал, когда и куда, но знал только то, что они все... должны были уйти. Лес, луга и пашни, самые низкие избы, бледно-голубое небо казались оттолкнутыми, маленькие церковные колокола больше не звенели, так как больше нельзя было слышать их. Этого больше не могло быть.

Тягостная тишина лежала также над головами молящихся, медлительно поднималась рука, чтобы сделать крестное знамение.

Но сердце человеческое, тем не менее, надеялось.

Осень заканчивалась.

Очень богатый урожай продуктов полей, рыбной ловли и охотничьей добычи наполнял кладовые. Приходила зима с ее плачущими, воющими бурями, жутким холодом и подавляющими массами снега.

Я знал все это, так как когда-то это стало моей второй родиной.

Забывая обо всем, я стою здесь.

Ледяное стрекотание ветра, жужжащее шелестение холода под стеклянной яркостью неба.

Над крышей моего дома лежит сибирская ночь. Огонь северного сияния распространяется над ночью. Светящиеся пестрые змейки приобретают таинственный фиолетовый цвет, к ним присоединяются все новые и еще более сильные, постепенно разворачиваются, скользя, как гигантское полотнище огромных знамен.

Над северным сиянием стоит вечность.

Я вижу моих диких гусей! Они двигаются над пугающей тишиной и широтой тундры, одна стая за другой, машут крыльями, далеко вытягивают вперед шеи.

Тогда сильная птица-вожак пробует весенний воздух. Борей, божество северного ветра, также на этот раз указывает им дорогу.

Весна пришла на затерянный клочок земли, к пропавшим людям и в их деревню.

В последний раз мы сидели на деревенской площади, близко друг к другу, в роковом молчании.

Я даже не мог указать им дорогу к бегству. Затем наступило прощание.

Еще раз я увидел зеленеющий луг с его кудрявыми березами, маленькими цветами, щебечущими птицами, окруженный рекой, которая посреди испепеленной местности охраняла могилу моей жены и нашего ребенка. Я уходил от них навсегда.

Непроницаемый мрак окружает меня, так что я едва могу воспринимать медленное разворачивание непрерывной лесной стены по обе стороны узкой реки.

Тишина...

Я испытываю страх в этой уединенности. Никакой ветерок не дует в невыносимой жаре, как будто бы сияние дней никогда не может пройти. Все чувства напряжены.

Внезапно сердце замирает от давно забытого страха. Только жители сибирских девственных лесов знают его.

Пахнет дымом!

Или это только галлюцинация?

Лодка скользит дальше и с трудом лавирует между валежником. Водная дорожка становится все тоньше. Голые ветки задевают меня и лодку, мешают продолжать путь, как будто сам шайтан, злой древний лесной дух тайги, ополчился на меня.

Едва узнаваемое дыхание ветра приносит уверенность: где-то горит лес!

Сибирские пожары! Это стихийные бедствия, которые ничто не в состоянии остановить!

Лес, наконец-то, становится чуть реже, но все равно тайга еще слишком густа, чтобы я мог увидеть что-то вдали. Холмы здесь встречаются редко.

Один изгиб реки за другим скользит мимо, медленно лодка описывает большие и маленькие петли, ее постоянно, снова и снова останавливает валежник.

Каким же нетерпеливым я стал!

Сверкающая как пекло жара уже долгое время снова стоит надо мной. Рой комаров штурмует и мучит меня с сатанинским наслаждением.

Там, крутой берег, высотой примерно двадцать метров! Быстро я ударяюсь лодкой в берег, выскакиваю, ползу наверх, цепляясь за ветки и сучья, спешу на холм. Внезапно все вокруг меня забыто.

На горизонте дикая, бушующая дымчатая стена, время от времени ее озаряют вспышки огня.

На многие мили горит тайга!

Оцепенев от ужаса, я пристально смотрю в небо.

С неистовой скоростью мчатся прочь птицы, канюки, соколы. В беззвучных стаях с боязливо взмахивающими крыльями дикие гуси, лебеди и утки спешат позади, за ними следуют их порхающие маленькие сородичи. Как ужасно звучит шум тысяч и, тысяч этих птиц! Они летят, чтобы спасти свою жизнь! Но сколько из них уже сгорели.

Где-нибудь через эту реку в ужасе поплывут также медведи, лоси, обезумевшие от ужаса зайцы-беляки, рыси и другие животные. Их общая беда заставила забыть их обо всем остальном.

Красные языки взвиваются над кустами, ползут вверх по коре деревьев. Гром раздаётся как далекая гроза. Сильный ветер разносит и разжигает жар как в пламенном подсосе.

Но я не могу понять, в каком направлении мчится пожар.

Где лежит Забытое, этот остров в лесном море?

Все более едким становится дым. Дышать все тяжелее. Низко склонившись к воде, я лежу на лодке. Горло горит. Грудь болит.

Страх за забытых снова охватывает меня.

Во время поездки на пароходе в Тюмень я листал газету и нашел точные сведения об одном произошедшем лесном пожаре. В конце статьи приводилось трезвое сравнение, согласно которому площадь уничтоженной огнем территории была сравнима с общей площадью Голландии, этого маленького государства на Западе.

«Забытое!»

Молчаливый, опустившийся человек ждал меня. Он мог бы ждать меня и дольше, потому что он не знал времени. Его родиной была вся огромная страна.

Молча он греб вверх по течению, молча и безразлично взглянул он на свою плату, подарок моей лодки-однодеревки, и пошел дальше своим незнакомым путем... куда-то...

Также моего Ахмеда и его изящную женщину я увидел в последний раз. В ответ на мою просьбу поскорее последовать за мной, он покачал головой с последним безразличием.

- Вы родились в Петербурге, вы знаете Россию, любите ее людей. Я знаю, насколько вы сочувствуете нам, и, все же... вы больше не наш... барин.

И внезапно он обнимает меня. Его голова довольно долго лежит на моем плече, и я чувствую, как этот мужчина, проявления чувств у которого едва ли можно было когда-то заметить, начинает дрожать, плачет, беззвучно и сдержанно, так, какой была вся его жизнь.

И я тоже прижимаю его к себе так же крепко, как в день нашей самой первой встречи, когда он убежал ко мне от своего отчима, и я сразу схватил мальчика за руку, привел в дом и закрыл дверь за нами. Но на этот раз я больше не могу закрыть эту дверь за ним. И за нами обоим тоже больше не могу.

- Теперь вы должны уходить... А то будет слишком светло, барин.

Ему отказывает голос.

- Повтори мне еще раз мой адрес.

Он повинуется и пытается сквозь слезы немного улыбаться. – Но как же ты собираешься продолжать жить дальше?

- Так... Как-нибудь... Вы же видите. Бурная пурга пронесется над нами! Она нахлынет на весь континент. И больше нет дороги, никакого света, никакого спасения больше нет. Она погребет все, все...

Быстро я сую в руки Фатме мои деньги, мои наручные часы для Ахмеда и ухожу.

Я больше не принадлежал к ним... говорил мне Ахмед. Да, это тоже было так.

Не принадлежал я и к тем, кто остался в Сибири.

Но принадлежал ли я к тем, кто ждал меня? В сомнении я поднял плечи.

Медленно я шагнул по трапу на корабль. Сердце дрожало после неизбежно последнего расставания, как в день моего прибытия при последней надежде.

Затем я подошел к перилам на корме и смотрел потерянно на бывшую столицу, ее немногочисленные огни, которые с поспешностью и беспокойством плясали над волнующейся, темной водной поверхностью. Корабельные двигатели гремели глухо... непрерывно... Последний свет исчезал.

После этого не осталось ничего, кроме беззвездной, непроницаемой темноты.

IX

Как лунатик я прибыл в Штеттин.

Я шел от витрины к витрине и рассматривал невероятное разнообразие выставленных в них товаров. Можно было купить все, хоть вагонами. Через одни сутки любое количество товаров определенно стояло бы передо мной, самая великолепная ветчина, целые мездровые стороны шкуры и самые толстые, самые жирные колбасы любого вида. Через открытую дверь я увидел целый ряд висящих костюмов и пальто; в другом месте раскладки с различными туфлями и ботинками.

Люди, которые проходили мимо меня на главной улице, беседовали громко и беззаботно.

Так, как будто они все не знали никакого страха?

Но страха перед чем?

Да... перед чем?

Неуверенно я вступил в отель, спросил о номере, поселился в нем, набрал ванну, довольно долго оставался лежать в воде, несколько раз сильно тер себя хорошим мылом. Не нужно ли было мне искупаться еще один раз, даже еще несколько раз?

Почему бы и нет?

Я пошел в парикмахерскую, попросил постричь меня, вышел из лавки, но потом вернулся и спросил парикмахера, не сможет ли он еще раз подстричь мне волосы, вероятно, еще несколько короче, более аккуратно. – Как вам будет угодно, сударь!

Вид клиентов раздражал меня.

В маленькой, обшитой деревянными панелями гостиной я ел очень медленно и робко. Я думал об Ахмеде, и о том, как мне хотелось бы написать ему теперь хотя бы одну открытку. Как охотно я пошел бы здесь с ним и с Фатме в отель, предложил бы им обширное меню, чтобы они смогли выбрать себе все, мясо, рыбу, овощи, домашнюю птицу, яйца и фрукты...

Что они сказали бы тогда?

Но что сказали бы на это миллионы и миллионы голодающих в России? Не спросили ли бы они: «Разве было это предосудительно, барин, гражданин, товарищ, что мы с нашего детства могли сытно есть, были довольны и счастливы, за каждую крошку благодарили нашего Господа Бога? Почему же мы теперь больше не можем этого?» Также Фатме говорила в безвыходном отчаянии: «Ведь мы же не сделали никакого зла!»

Они молчали бы, как и я, сидели бы робко в углу и... думали.

С мыслями приходит познание!

Но познание было преступлением, которое наказывалось смертью.

Итак, нельзя было думать, чтобы не осознать то, о чем необходимо было молчать – то, на ком была эта неизгладимая вина.

Вероятно, они плакали бы от счастья?

Возможно...

То, что возможно что-то в этом роде, только заказывать и заказывать, не в состоянии при этом съесть все, только смотреть, как это выглядит, слышать, что говорят другие, как теперь кто-то смеялся..., так беззаботно громко, свободно и так радостно.

Я думал о Наташе, обо всех, которых я знал, и которых я теперь встречу через один год отсутствия.

Когда-то я тосковал по близости другого. Теперь мое сердце также для них будет биться еще тише.

Я расплатился. Официант принес мне сдачу. Монеты лежали на белой, отглаженной скатерти. Наполовину пустой бокал еще стоял передо мной. Но я больше не хотел пить. Мне хватило. Рядом с бокалом лежал большой ломоть белого хлеба, который я разломал. Но я больше не мог также есть хлеб; я был уже слишком сыт.

И, тем не менее, я выпил вино и съел белый хлеб.

Мне предложили сигареты.

- Какой сорт желает господин?

Ведь посыльному нельзя было сказать просто «какие-нибудь». Что бы тогда паренек подумал обо мне? Я выбрал свою прежнюю марку, и он услужливо открыл жестянку, поднес мне горящую спичку.

Прошел бессмысленный вечер, с которым я совсем ничего не мог поделать.

Меньше всего с самим собой.

Я должен был сначала разобраться сам с собой, привести в порядок самого себя и все в себе, упорядочить то, что я видел и испытал по ту сторону и по эту сторону еще не понятого разумом мира самых больших контрастов.

Я решил очень рано пойти спать и попросил не будить меня.

- Разумеется, сударь. Мы повесим табличку на вашу дверь, чтобы вас никто не беспокоил.

В моем номере кровать была застелена.

Мои мысли расплывались беспечно и благотворно воздействуя.

Впервые через год!

Должен ли был бы я выразить за это свою безграничную благодарность?

Конечно! Но, собственно, кому же?

Должен ли был бы я поблагодарить этого неизвестного на коленях? Я упал на колени перед кроватью, прижал голову к твердо сложенным пальцам и громко произнес:

«Я благодарю тебя... что ты спас меня... даже если я меньше всего этого заслужил. Я боюсь бесконечности твоей доброты! Подари ее также другим там!»

Также новый день прошел бессмысленно и бесцельно.

Только следующим утром я около десяти часов позвонил в мою берлинскую квартиру. Я уже видел ее во всех подробностях. После настойчивого вызова в трубке прозвучал заспанный голос Наташи. К ней я хотел убежать сейчас!

- Солнце! Дорогой! Как же я счастлива! Я все брошу и приеду к тебе. Где ты? Ах, еще в Штеттине?

- Я на ближайшем скором поезде еду в Берлин.

- Я, конечно, встречу тебя на вокзале! Здоров ли ты, все в порядке? Ну, расскажи же, как это было. Ах, я даже не знаю, как я должна встретить тебя. Я так взволнована. Здесь все в порядке, и у меня действительно все хорошо. Я работала и была прилежной, я всегда думала о тебе и снова и снова только о тебе.

Прислонившись к окну вагона, я увидел тогда, как Наташа с великолепным букетом цветов стоит на платформе. Она махала, бежала рядом с моим вагоном и была действительно очень взволнована. На ней был светлый костюм и широкополая соломенная шляпа с лихо изогнутыми полями, которые качались при ее быстрых шагах.

Насколько прекрасной она была, эта стройная фигура, длинные ноги с тонкими лодыжками, грациозная походка, поза, которая теперь выражала небрежную элегантность!

Поезд еще не остановился, но она уже открывала дверь вагона. Но так как сначала выходил начальник поезда, она сразу сунула ему в руку свой букет: «Пожалуйста, только на минуточку!»

Улыбаясь, мужчина повиновался.

- Дорогой! ... Солнце! ... – она бросилась мне на шею и нежно поцеловала меня в губы, крепко прижала к себе, неспособная сказать ни слова.

- Ты хорошо выглядишь, милая. Ты скучала?

Она быстро кивнула, и глаза ее были влажными. – Очень! Неопишимо... ты. И теперь скажи мне, как дела там? Сможем ли мы вернуться? Скоро?

- Я все расскажу тебе дома.

Она взяла свой букет у начальника поезда, поблагодарила его с очаровательной улыбкой, украдкой протянула мне цветы и продолжила говорить.

- Сегодня мы останемся вместе целый день. Теперь мы больше не должны расставаться, Солнце, не так ли? Дай мне твои руки, я хочу почувствовать, наконец, что ты снова здесь. Это ничто, быть так без тебя, знаешь!

Сразу во время поездки она засыпала меня тысячью новостей: – У меня есть ангажемент уже четыре месяца. Сто марок за выступление! А наша Лони вышла замуж, блестящая партия! Она ждет ребенка через несколько месяцев. Кстати, Солнце! Фредерикссен уже довольно давно был в Берлине на совещании «европейских шефов» и выразил желание, чтобы мы оба приехали к нему сразу, как только сможем.

- Да, мы так и сделаем, – сказал я.

Тогда она зашептала мне в ухо: – Если бы мы уже были дома... Мне тебя так не хватает.

Она гладила мою руку, прижималась своей щекой ко мне и поддвигалась все ближе.

- Почему ты ничего не говоришь? У меня ведь нет секретов от тебя.

Огни большого города. Как картинки в калейдоскопе они скользили мимо нас.

Наташа вела меня по квартире. Я вошел в нее робко и с ощущением одновременно внутренней боли и счастья, пока она не вызвала во мне приятное чувство безопасного существования, возможности быть одним посреди многих миллионов людей. В ней ничего не изменилось; у каждого предмета было свое привычное место. Благотворный приглушенный свет ламп, как в день моего ухода, колдовским образом создавал слабые оттенки над орнаментами белых потолков.

Я вдруг почувствовал себя старым.

Наташа позвала меня.

Она еще была так молода. И бурный импульс молодости этой девушки преодолел всю робость во мне.

Только гораздо позже мы услышали осторожный гонг тяжелых часов с маятником в лежащей неподалеку жилой комнате. Ее лицо, одичавшая голова цыганки, обнаженные, светлые плечи были надо мной, два глаза, черные, глубокие и внезапно вспыхивающие.

- Ты... ты..., – она шептала.

Ее щека покоилась на моем плече, и наши губы были настолько близки, что они соприкасались при каждом слове. Я гладил ее вниз по спине, и она уютно двигалась на моей руке, улыбалась мне, настойчиво и необъяснимо, как греющееся на солнце молодое животное, которое только время от времени двигает своими тонкими конечностями. – Теперь мы должны идти, любимый, – сказала она неуверенно, и хорошо знакомая мне складка появилась между ее бровями. – Сегодня мне должны выплатить все жалование, пятьсот марок. Господин Шнайдер составил новый договор, потому что ему пришлось описывать «Trocadero» за долги. Безработица все дальше растет; безработных сейчас уже больше четырех миллионов. Я хочу, чтобы ты увидел, как я танцую. Я была очень усердной, Солнце.

В роскошной одежде мы пошли в бар.

Я видел, как Наташа как яванская танцовщица идет через бар. Каждое ее движение было по-кошачьи гибким и, все же, немного напряженным, с ноткой неприступного отклонения. Глаза всех были направлены на нее.

Когда она проходила совсем близко мимо меня, я увидел маленький след от моих губ на ее плече. Она коснулась моей руки; в ее беспечной улыбке лежало покоряющее присутствие. Улыбаясь, она вышла на танцплощадку. Аплодисменты она принимала со всех сторон, и они снова и снова гремели, пока она не закончила свой второй выход.

И я тоже снова был очарован ею, как в тот день, когда я подобрал ее на пороге моей маленькой квартиры, готовый отдать ей все, словно я был околдован ее видом.

Она подошла ко мне, взяла мою руку, как будто она немного устала.

- Пошли, Солнце, – произнесла она. – Оставайся у меня, пока я сниму грим. Потом возьми мои деньги себе. Я надеюсь, что этот высокий господин меня не одурачит.

В ее раздевалке я сразу набросил ей на плечи пальто из эпонжа, при этом она откинулась назад немного и ласково сказала: – Дорогой... ты неизменный, как будто я все еще тот ребенок, который не хотел слушаться тебя в Лезене. Мне тоже после выступления стало очень жарко.

Я смотрел на нее, как она снимала грим; при этом она смотрела в зеркало, кивала мне и строила свои привычные гримасы.

- Где же мои деньги? Или мне и здесь тоже придется описывать имущество в счет платы за выступление? Ведь это же невозможная ситуация, когда нужно бояться за свой заработок! Выйди, пожалуйста, на минутку, чтобы я смогла переодеться?

Тут прибыл владелец.

- Гости просят, чтобы фрейлейн Андреева станцевала еще что-нибудь. Можете ли вы сделать мне любезность походатайствовать за всех? Я был бы вам очень благодарен.

Наташа открыла дверь и впустила нас.

- Нет, это исключено, и вы сами знаете почему; я не стану составлять компанию никому из ваших посетителей. Это стоит в договоре. И принесли ли вы мне мои деньги? Ты пересчитаешь их прямо сейчас?

Я пересчитал. – Да, правильно.

- Я благодарю вас!

- Пожалуйста.

Владелец немного поклонился с кисло-сладким выражением лица. – Я еще хотел спросить вас, готовы ли вы продлить ангажемент на следующие три месяца? Также я принадлежу к вашим неограниченным почитателям, тем более, что количество посетителей... Или я должен вести переговоры об этом с господином Шнайдером?

- Нет, это я решаю сама, – ответила Наташа. – Я сообщу вам об этом в ближайшие дни. Мы должны скоро ехать в США.

- В Голливуд?

Она молчала и рассматривала себя в зеркале, еще раз привела в порядок свое платье с рискованным вырезом, оглянулась на меня.

- Вы слишком много рассказываете гостям и прессе, да еще при этом очень многое рассказываете неправильно, а я это не люблю!

Я помог ей надеть пальто, и она добавила по-деловому: – Вы в любом случае получите информацию. Но больше я пока не могу обещать, чтобы при этом не быть нечестной.

Перед входом в бар ждали несколько господ. Наташа взяла меня под руку, так явно, что поклонники смирились. При этом она сказала с облегчением: – Наконец-то мы сможем по-настоящему поесть! Я хотела бы пойти в «Траубе», и знаешь почему? Там есть столы на возвышенном подиуме. Все должны видеть нас сегодня вечером. Ты же не просто так надел свой смокинг. Ты пройдешься еще со мной, мы посмотрим на парочку витрин. Мне так хочется воздуха! Впрочем, сегодня я приглашаю тебя!

- Ах, милая, это очень любезно с твоей стороны, но...

- Sans discussion! Ты еще помнишь это?

- Да, наш добрый хозяин, мастер Дюкоммен...! Как там у него идут дела?

- Он заваливал меня подарками тогда в Мекленбурге! За это он требовал от меня поцелуй, как все другие!

- И ты подарила ему один?

- Однажды позже, обещала я ему. Ты знаешь, у меня теперь всегда есть оговорки наготове. Только между нами царит абсолютная правда, и как раз это так сильно нравится мне. Но вот о чем я тебе еще совсем не рассказала: из твоих денег я не израсходовала ни пфеннига. Я сама оплатила все, даже квартиру, телефон и свет! Вот видишь, Солнце!

Мы шли дальше, и после нескольких шагов она добавила: – Твое молчание впервые в жизни делает меня чрезмерно гордой!

- Да, мой непослушный ребенок!

Я немного прижал ее к себе. Мы и дальше прогуливались неторопливо, останавливались перед витринами, говорили об одном или другом предмете, который нравился нам.

- А ты знаешь, почему я хочу сидеть за таким выделяющимся столом? Ты даже никогда не догадаешься! Я хочу показать всем, насколько я счастлива сегодня, и тогда строить тебе глазки.

Мы беззаботно смеялись.

- А вот теперь я хочу поцеловать тебя прямо здесь!

- Да, давай! – ответила Наташа и бросилась мне на шею. Перед входом в ресторан она спросила меня: – Может, сделаем так, ты войдешь после меня и сядешь тогда за мой столик? Но ты не должен заходить сразу же за мной. Я докажу тебе, что я не зря ходила в актерскую школу.

- А если ты больше не узнаешь меня или не позволишь мне сесть с тобой?

- Однако, ты действительно остался дурачком, – ответила она низким голосом, засмеялась и провела кончиками пальцев мне по губам.

- Чау! – крикнул я вслед ей привет на швейцарском диалекте.

- Чау! Чау!

Она махнула рукой и позволила швейцару в позолоченной ливрее открыть ей дверь в ресторан.

Я зашел в ресторан несколько позже. Действительно Наташа сидела как на презентационном блюде, положив шубу на спинку кресла. Я не торопился и прошел по всему кафе, хотя наши взгляды встретились уже давно. Тут я заметил, как она морщила лоб и однозначно указывала на стул рядом с ней. Еще чуть-чуть, и я бы рассмеялся.

Я подошел к ней, и она сразу встретила меня со словами: – Садись быстро ко мне. Я уже сделала заказ. Дорогой...!

Она украдкой провела рукой по моей щеке. – Как хорошо ты выглядишь! Положи же свою руку на мою. Я люблю твои руки. Да, вот так.

- Я думал, ты хотела немного поактёрствовать?

- Да, но я передумала. Ты слишком долго был вдали от меня.

Она придвинулась ко мне, так что мы оба сидели почти на краю стола.

- Мы ведем себя как дома!

- Да, и я нахожу это даже очень прекрасным!

Официант подошел к нам.

- И что у вас есть хорошего, господин старший кельнер?

Одетый во фрак официант перечислял блюда.

- Весьма согласен. Заказала ли дама также что-то из напитков?

Мужчина откашлялся и ушел.

- Я, пожалуй, сделала глупость, – сказала Наташа тихо и весело. – Поэтому официант и ушел. Выбери ты, пожалуйста.

- Так какое же вино ты заказала?

- Ты не должен это знать, – ответила она смущенно.

Я углубился в карту вин.

Скоро у нас уже было маленькое опьянение, и мы нашептывали друг другу нежности. Едва видимые шлейки платья Наташи снова и снова скользили вниз.

- Подними же их снова назад, я больше не могу делать это, и я также хочу, чтобы ты касался моих плеч; так совсем тихо, только кончиками пальцев. И тогда ты всегда смотришь мне в вырез, так как ты хочешь целовать меня там. Твой взгляд возбуждает меня.

Она приятно двигала своими плечами и незаметно прислонялась ко мне.

- Теперь я могла бы танцевать как вакханка и... только для тебя... Ты... Только ты! Только совсем один... Ты!

Она произносила это слово так настойчиво, как будто бы она сама хотела избавиться от всех сомнений. – Если бы я только могла дать тебе много нежных

имен! Но я не нахожу их. Я ломала себе голову, когда тебя не было, чтобы сказать их все тебе сразу при встрече.

Она взяла мой бокал и выпила из него. – Выпей ты тоже отсюда. Мы отставим все другое в сторону, нам этого больше не нужно. Знаешь... сегодня мы будем много пить. Налей нам еще. Наш бокал снова пуст.

Я повиновался.

- Подари же мне один совсем маленький, нежный поцелуй. Благодарю, – сказала она тогда, улыбаясь.

- Я тоже.

Ее губы касались моей мочки уха.

Мы снова выпили из одного бокала.

- Я вдруг стала так печальна, Солнце!

- Но почему же, душенька?

- Я не знаю. Это иногда происходит так внезапно и остается, так же, как у тебя. Незадолго до нашего бегства мы ехали по железной дороге, и тогда папочка показывал в окно и говорил: – Посмотри, Татьяна, какая бескрайняя наша страна – как и тоска. Тогда моя Акулина была еще новой, и когда я иногда беру ее в руки, то я всегда вижу этот далекий вид из окна вагона. Поэтому я больше не люблю ее. Она не должна напоминать мне об этом, так как иначе я снова буду просить тебя... уйти со мной.

- Но теперь уже нет, Наташа!

- Давай лучше выпьем наш бокал, будем веселыми и поговорим о чем-нибудь другом.

Мы опустошили его.

- Иногда во мне появляется такая жгучая потребность владеть всем, видеть все, испытать все, и при этом мне всего этого бы не хватало, как у одержимого болезненной страстью, не знающего ни меры, ни разума. Но лишь чуть-чуть позже точно то же кажется мне снова таким незначительным, дешевым во всех со-
блазнах, а моя жажда жизни смешной. Ах, я как раз и не знаю, чего хочу... За-

кажи для нас, пожалуйста, несколько соленых крендельков, чтобы погрызть. А также миндаль! Нет, лучше сыр Petit-Fours, мы оба любим его.

Нам подали все это на стол с сервировочного столика.

- И когда ты поедешь со мной в Америку? Скоро? Фредерикссен просил меня, чтобы я известила его о твоём возвращении по возможности по телефону. Ты позвонишь ему завтра? Ты хочешь поехать со мной? Ведь было бы очень интересно посмотреть Голливуд, все-таки это что-то иное, нежели эта вечная монотонность.

Она ела сыр Petit-Fours как ребенок свое любимое блюдо.

- Но, ты знаешь... мои актерские достижения остались плохими. «Бледно и неубедительно», так говорили мне. При этом я действительно старалась.

- Для кино этого достаточно в любом случае.

- Как прекрасно ты умеешь утешать меня, Солнце... Там мы увидим, как все делается в кино.

Ее тарелка была съедена дочиста. – Ты сделаешь для меня еще одну такую маленькую вещь, пожалуйста? Закажи нам еще маленькую бутылку шампанского. Ты хочешь? Но тоже только один бокал к ней. Слышишь, что играет оркестр: мой шлягер, специально для меня написанный, Солнце... «Наташа, поцелуй меня в глаза, поцелуй меня в губы!» Вот как раз это я хочу делать с тобой... любимый!

Бутылочка была быстро выпита; только одной ею.

- Но теперь я очень, очень печальна.

Ее рука кралась к моей.

- Опять?

- Да. Однако на этот раз у меня есть веская причина для этого.

- Я знаю ее.

- Скажи, – ответила она звонко и лукаво.

- Прижаться ко мне, быть со мной. Как же мне не знать этого.

- А ты этого тоже хочешь?

- Очень!

- Тогда давай уйдем!

Когда я помогал ей надеть пальто, она улыбалась счастливо, и я видел дугу ее темно-красных губ, как она изгибалась над светящимися зубами. Она ослабила черные волосы стройными пальцами и провела ими вниз по ее мальчишеской фигуре, которая выпрямилась.

- Только совсем одни...! Ты!

Такой была она, Наташа.

Мой новый и приведший к решительным переменам период жизни начался в один из следующих дней точно в шестнадцать часов. В Детройте было около десяти часов утра, когда я дозвонился до Герта Фредерикссена.

Он ответил мне в последующем подробном письме, полном откровенной радости от того, что сможет скоро увидеть меня и Наташу и поговорить с нами. Но мистер Слоун, которого Фредерикссен смог проинформировать об этом, поставил условием доказательство моих хороших успехов в продажах в автомобильной отрасли. Тогда мою должность можно было бы рассматривать как гарантированную.

Наташа сильно удивилась моему внезапно озадаченному лицу, но она сразу знала отличный совет: господин Келлер знал одного господина, у которого было районное представительство по продаже автомобилей в Берлине на улице Курфюрстендамм. Уже во второй половине того же дня мы встретились в его автосалоне и заключили договор на восьминедельный срок, причем я объяснил господина Винтеру, почему это было важно для меня.

- За восемь недель? Да вы большой оптимист!

В первую неделю не было ни одной продажи, и так как господа представители, естественно, работали неразлучно и как ревнивые женщины вместе, а также друг против друга, и как «стреляные воробьи» выманивали друг у друга адреса клиентов, я медленно, но верно видел все сначала в серых, но по истечении второй недели, уже в настоящих черных тонах, даже если я после преодоления моей гордости уже действительно стал ходить по домам с проспектами и предложениями. Вскоре после этого они обращались со мной с приветливым сочувствием. Но я же не просто так был счастливчиком!

И у меня не просто так была еще и действительно жесткая, здоровая природа, которая пришлась мне очень кстати в эти дни. Но она всегда проявлялась в невероятно аккуратном функционировании моих органов.

В автосалоне я однажды рано утром посетил туалет – при необходимости самое нужное всем местечко. И там я нашел на полу несколько листов копировальной бумаги. Я взглянул ближе, и внезапно мне стало ясно: предложения! Предложения!

«Вежливо ссылаясь на ваш драгоценный визит, приветливость вашего телефонного разговора, мы предлагаем вам согласно желанию и с приложением проспекта автомобиль модели...»

Без малейшего сочувствия к моим последователям я разграбил это местечко полностью, поспешил за чашкой кофе в близлежащий ресторан и рассмотрел предложения. Фирма написала их четыре недели назад. На всех них была обескураживающая отметка: «Заинтересованное лицо не покупает!»

И, тем не менее, я взял такси и поехал.

Различие между продажей пылесоса за 135 марок и продажей машины, которая стоит во много раз дороже, я заметил уже во время первой беседы, когда я попытался запудрить мозги одному зеленщику весом в сто килограмм. Так как речь у меня шла «о чепухе», и я обладал известной вежливой настойчивостью, то действительно господин Гейевский, проживавший в Берлине, Юго-восток, улица Мельхиорштрассе 36, капитулировал.

В туалете, этом добром и незаменимом местечке, я теперь как ревнивый любовник всегда был первым и самым верным гостем. Он почти каждый день быстро поставлял мне удивительные адреса, так что я поклялся однажды попросить самую лучшую уборщицу и самого лучшего маляра Берлина со всем великолепием украсить эти простые стены! Известный как продувной человек господин Винтер хитро улыбался моим незаурядным, неожиданным продажам. Коллеги, когда-то полные сочувствия и тихой насмешки, смотрели на меня косо и начинали избегать меня, так как я никому не выдавал источник или причину моих успехов.

- Это же почти гротескно, – сказал один коллега после совещания представителей, когда вы приписываете ваши успехи лишь здоровому строению и совершенно нормальному функционированию органов вашего тела!

- Но это же действительно так! Я никого не дурачу и не отнимаю ни один адрес у вас. Я эффективно живу только за счет ваших отбросов!

Среди коллег был один маленький, всегда очень скромный мужчина, который при всех добросовестных усилиях добивался лишь минимального предписанного количества продаж каждый месяц. Только ему я по собственной инициативе выдал «тайну моих успехов», я дал ему эти адреса, вызвался взять его с собой к клиентуре.

Его взгляд с едва заметной грустью остановился на мне, только несколько дольше, чем обычно, и он вежливо ответил:

- Почему вы смеетесь над человеком, который честно, с грехом пополам, влачит свое существование? Как раз от вас я этого не ожидал! Извините!

В конце каждого из двух месяцев я чуть-чуть опережал своих коллег, которые уже дали мне прозвище «Нормальная функция». С соответствующим свидетельством и с тысячей благодарностей я покинул господина Винтера, который был готов дать мне постоянную работу.

Эта драгоценная бумага спустя уже несколько часов как авиапочта, экспресс-почта и заказное письмо летела к Фредериксену.

Вскоре после этого я последовал за этим письмом вместе с Наташей.

Мистер Слоун был типом того приятно неотягченного американца, добродушного и разумного, и когда я описал ему и Фредериксену причину моих успехов продажи, они смеялись так искренне и громко, что люди поворачивали головы в нашу сторону.

Я действительно хорошо выдержал мой экзамен по специальности, трудовое соглашение было превосходным, и так как у меня было еще немного времени, и Фредериксен тоже должен был поехать в Калифорнию, мы втроем отправились в Голливуд.

Мы были очень поражены «Меккой кино», все же, когда я спросил Наташу, хочет ли она остаться, так как Фредериксен хотел расчистить ей дорогу в кино, она поставила мне только один встречный вопрос: – А ты?

- Не хотел бы!

- Я тоже нет. Я никогда не чувствовала бы себя здесь как дома.

Я начал все активнее включаться в мою новую работу с мистером Слоуном. Он был великодушным, справедливым шефом, с которым я прекрасно нашел общий язык, и так как генеральная дирекция ввиду конкуренции настаивала на как можно более кричащей рекламе всякого рода, я, как посредник между Слоун и «миром», как он всегда говорил, получил в свое постоянное распоряжение необычайно красивый белый 16-цилиндровый демонстрационный автомобиль, четырехместный кабриолет, который по праву мог вызвать зависть у каждого.

Мистер Слоун любил смотреть, когда я с Наташей особенно необычно «парковался», даже за счет фирмы незначительно нарушал правила движения, когда я в полдень и вечером с удовольствием катался по самым оживленным главным улицам.

Вечно пестро-мерцающий, беззаботный мир киноискусства был быстро очарован нашей белой сверкающей машиной, и именно машину также следовало бы поблагодарить за то, что Наташа уже скоро попала на первые кинопробы и сразу после этого также получила свою первую роль в кино. Борьба за гонорары и протекцию, трудное и часто постыдное лавирование между «идолами с наглыми требованиями» не было для нее необходимым с такой машиной!

Наташа... Она принимала этот успех, только потому, что я был рядом с ней, и она оставалась табу для каждого, девочка, которую судьба уже дважды преподнесла мне. И я был благодарен этой судьбе, даже если она и не делала меня счастливым.

Наташа... Она любила меня с детской нежностью, и она была прекрасной, экзотической любовницей. Но вне своих объятий она не была в состоянии приковать к себе одного мужчину с серыми висками, зато могла, пожалуй, приковать к себе восторженные массы кинозрителей. Как комета она сверкала на ночном небе Берлина, за ее карьерой уже скоро следили нетерпеливо миллионы и миллионы. В отношении актерского таланта она, к сожалению, не поднималась выше среднего уровня, тем не менее, все любили ее, любили очарование ее мальчишеской фигурки, ее походку, расплывчатые движения ее тела, робкое открывание ее темных глаз, подобное взгляду косули. Так писала пресса о ней, и опытные торговцы душами мастерски умели предлагать любопытным ее почти обнаженное тело в драгоценном, полном фантазии обрамлении и в магическом свете как танцовщицу.

- Ах, Солнце! Что они только сделали с Наташей? Мы никуда не можем пойти, чтобы на нас не глазели, и все же это ничто для нас, любимый! Даже в русской церкви все поворачиваются в нашу сторону. Разве это не страшно? Смотри, что

я купила себе, вуаль, которую я буду теперь носить всегда, так как мы же не можем всегда сидеть дома.

Но постоянно осаждавшей ее жадной к сенсациям прессе она с самым честным в мире выражением лица рассказывала, что она, мол, не знает, откуда она приехала, и кем были ее родители, потому что я подобрал ее как беспризорную сироту.

Она категорически отказалась от обоих первых предложений ехать за границу для натуральных съемок.

- Вы хотите знать мои причины? Зачем? Почему это становится модой штурмовать каждую артистку с вопросами, чтобы с помощью этого лишь зарабатывать деньги? Разве у вас нет уважения к личности человека? Должно ли все проходить через прессу, только для того, чтобы немного занять заскучавших читателей? У меня есть мои причины, и этого должно быть для вас достаточно, пожалуйста!

- Но, милостивая госпожа! – протестовал начальник отдела рекламы. – Ваши поклонники...

- Поклонники? Я – же не Бог, которому поклоняются! – Наташа сразу прервала его.

- Тогда, все же, по крайней мере, многие ваши почитатели и почитательницы, которые так сильно интересуются вами и вашей жизнью и с бесчисленными вопросами осаждают прессу! И ваше искусство...

Наташа взглянула на меня и улыбнулась скривившимися губами. – Об искусстве раньше когда-то говорили в случае с прима-балеринами, такими как Павлова, Карсавина, Кшесинская; а ревью – это только подстегивающая чувства постановка, внешняя видимость, и я тоже к этому принадлежу. Вы сами знаете, как быстро эти «поклонники» забудут меня.

Мне же она объяснила причину с привычной откровенностью: – Я еду только тогда, если ты едешь со мной, а так как ты не хочешь, то это для меня неприемлемо. Это слово самонадеянности я усвоила.

Я видел, как Наташа снова все больше и больше превращалась в птицу с подбитым крылом. Вяло она шла на съемки. Безрадостно она возвращалась домой. На все мои призывы, многочисленные успокоения и объяснения, насколько она и ее танцевальное искусство востребованы, как она могла бы гордиться своей

трудной работой и теперь такими успехами, она не отвечала. Только мимоходом она дарила мне беглый поцелуй, или, погрузившись в свои мысли, гладила меня по волосам, и при этом у нее была усталая, безразличная улыбка. И так как я не хотел, чтобы между нами снова оставалось что-то невысказанное, я пытался вновь внести ясность.

- Дорогой, почему ты мучишь меня вопросами и увещеваниями? – говорила она мне: – Возьми меня в свои руки. Тогда мы оба сможем совсем иначе говорить друг с другом. Ты хочешь?

Она прижималась ко мне и смотрела мне в глаза. – Вот видишь, сейчас наши слова и мысли идут от сердца к сердцу. Но быть злым, это же не может быть между нами, Солнце?

- Нет, милая, никогда!

- Ведь ты же знаешь, какое желание было у меня, когда я была еще ребенком? Я всегда хотела работать для тебя, и чтобы только ты был рядом со мной.

Затем она шептала: – Я не хочу быть такой, как так много женщин, которые отдаются любому мерзавцу только ради своей смешной карьеры. Да ведь большинство из них поступают так. Я сама вижу это ежедневно. Теперь мое самое заветное желание исполнилось: я зарабатываю своими выступлениями только в «Scala» больше, чем ты, и это как бы между прочим, когда я снимаюсь. Ты сердишься на меня, если я тебе это говорю?

- Нет, душенька. Это же правда.

- Ну, вот видишь, Солнце... Тогда бросай теперь свою работу, всегда оставайся со мной, делай сам для меня все договора, и я тогда с тобой буду ездить на все натурные съемки, которые только могут быть, хоть на край света. И тогда также все должны будут знать, что я люблю только тебя и принадлежу только тебе.

Она осторожно поцеловала меня в губы и ждала.

- Ты знаешь, насколько нетребовательной я осталась, – продолжила она через некоторое время, – и мы будем экономить все деньги, чтобы потом, только через несколько лет, выяснить, что мы будем делать. Но как быстро пройдет это время, особенно для меня и моего небольшого таланта!

- Ах, Наташа... Всего после полутора лет работы я должен отказаться от такой должности и жить за счет твоих денег?

- Любимый! Я целыми днями часто вижу тебя только тогда, когда я подкрадываюсь поздно вечером в твою комнату, и смотрю, как ты спишь и еще хорошо ли ты накрыт одеялом. Неужели ты считаешь, что это правильно и хорошо? Я нет! Какой мне толк от моего солнца, если я не вижу его?

- Это трудное решение для меня.

- Я знаю, поэтому я никогда больше не говорила об этом.

- Но ты позволишь мне об этом подумать, ради тебя!

- Ради меня? – спросила она ошарашенно, – тогда я знаю, что ты поедешь со мной, Солнце! Я знаю это точно! Теперь поцелуй меня! Мы должны забыть эти длинные, тяжелые дни, которые теперь остались у нас за спиной. Я хочу, чтобы ты снова жаждал меня, радовался, видя меня... Или ты не хочешь снова быть счастливым со мной?

- Нет, нет, я очень хочу... Со мной обстоят дела как со всеми другими: я не могу сопротивляться тебе!

В то время машина того же самого типа как та, на которой я ездил, уже много дней накручивала круг за кругом по Афусу.

(АФУС, AVUS, сокращение от Automobil-Verkehrs und Übungs-Straße — «дорога для автомобильного движения и упражнений») — гоночная трасса, проложенная между берлинскими районами Шарлоттенбург и Николасзее, в настоящее время часть автобана А115. – прим. перев.)

Ежедневно чередовались опытные шоферы, ежедневно машину контролировал мастер с завода в Темпельхофе, американец. Нужно было довести до максимума мощность двух V-образных лежащих друг за другом восьмицилиндровых двигателей этого темно-синего лимузина, чтобы продемонстрировать полную мощность этой сильной машины каждому клиенту.

Мистер Слоун слабо разбирался в технических деталях. Его должность называлась «Sales Promotion Manager», директор по продвижению продаж, через руки которого проходил каждый из импортированных его концерном в Германию автомобилей. У него было несколько специалистов-консультантов; также цеха в Темпельхофе и мастер во главе их были подчинены ему.

Моя презентационная машина и наша «машина Афуса» часто подвергались контролю на темпельхофском заводе. Этот мастер, который, собственно, заслуживал звания инженера, был также великолепным водителем, и потому случалось,

что мы время от времени беседовали обо всех подробностях модификации этого шестнадцатилитрового монстра, пока я однажды не решился высказаться откровенно и прямо сказал ему:

- Это опасная неправильная конструкция!

Мастер, ростом и шириной со шкаф, зло сжал губы, поставил свой карандаш на винтовое соединение радиатора и запустил мотор моей машины. – Стоит карандаш? – спросил он меня коротко.

- Да, мастер.

- Работают оба мотора?

- Да. Слышно только для нас двоих.

- Вот именно, сэр. И тогда вы говорите о неправильной конструкции?

Он поднял обе брови как строгий учитель.

- Я не имею в виду механику, а то, что вы мне показали, это известный трюк продавцов. Статика равновесия корпуса, давление, противодействие, натяжение и противонапряжение – вот что не в порядке. Оба двигательных блока в носу машины слишком тяжелы в сравнении с кузовом. Во время поездки у меня постоянно есть чувство, что у машины при 100 км/ч больше нет устойчивости, она отделяется от дороги, парит, плывет.

- Идите за мной!

Мы склонились над статическими расчетами.

Внезапно он поднял глаза, схватил мою руку и произнес несдержанно громко: – Ну, сэр... в моих глазах это машина смерти! Его слова медленно затихли в цеху. – Я ведь говорил это у нас главным конструкторам! Эта стерва слишком длинноногая! Я даже рад, что вы подтвердили это мне!

Затем он добавил: – Вскоре после вашей первой поездки я залез под зад вашему белому, а когда выбрался, то сразу сказал моему ассистенту: «Our German is a clever guy! Вы только посмотрите, он сразу положил две большие свинцовые пластины в багажник, чтобы стерва не плавала!»

Очень скоро после этого я продал один двухместный кабриолет одному молодому актеру, который был любимцем всех юных девушек во многих фильмах. Как

актер он был лишь хорошей посредственностью, но зато у него было милое, хитрое мальчишеское лицо. В съемочном павильоне все девушки завидовали Наташе из-за попыток ухаживаний со стороны этого молодого человека, но моя чернушка и это тоже принимала как нечто само собой разумеющееся. Она только спросила, может ли она принять участие в пробной поездке. Я согласился, и так как молодой человек был счастлив этим, он попросил меня, чтобы я выжал всю скорость из этой сказочной машины. Мы возвращались по Афусу. Я медленно вжимал педаль акселератора все глубже в породистое, но капризное тело этой машины. Стрелка обрамленного в перламутр спидометра дрожала вокруг цифры «сто», деление за делением скользила дальше, достигла еще следующие двадцать единиц, и тут я почувствовал на моей спине ледяной ливень – машина не слушалась руля...

- Фантастика! Фантастика! – кричал молодой человек.

При этом Наташа, ничего не подозревая, смотрела в зеркало заднего вида.

... руль едва ли повиновался, как будто бы машина отделилась от земли. На несколько секунд вся власть была потеряна над ней, над «машиной смерти».

Секунды, которые прошли до того момента, пока она снова не была полностью в моей власти, показались мне бесконечными.

- Вот это было приключение! – сказал молодой человек.

И я ответил ему словами, полностью противоречащими всем правилам консультаций со стороны продавца: – Я боюсь, вы сможете ездить на ней на полной скорости лишь редко и только на очень короткие расстояния.

- Да, я это уже знаю, но даже одно только чувство обладания таким запасом мощности под капотом, – это великолепная вещь, добавьте к этому чудесные линии, оснащение. Отметьте, пожалуйста, в заказе, можно ли было бы заказать мою машину в США по телеграфу?

Так как у Наташи было несколько свободных дней, мы поехали в Бремерхафен, чтобы выгрузить целую колонну различных машин и во главе каравана возвратиться в Берлин.

Это была незабываемая поездка по осенним ландшафтам, по лесам в пестром, светящемся украшении, через светлый, блестящий, как в калейдоскопе, наземный туман ранних утренних часов, в тихом дожде и последних солнечных лучах. Чистые, воздушные стены спальни и прокуренные комнаты сельских,

идиллически расположенных гостиниц, простая губная гармошка одного из моих молодых водителей и наш веселый танец! Эти три дня Наташа была счастливой и расслабленной, какой я никогда не видел ее в съемочном павильоне. За рулем машины, однако, мы мечтали о чужих странах.

Эта даль... она манила меня с детства, также теперь, когда я задумчиво рассматривал ее картины, так как в самом потаенном уголке моего сердца я, все же, оставался настоящим бродягой.

Наташа не смогла убедить меня, чтобы я повсюду следовал за нею.

- Все же, ты не любишь меня, – сказала она дома укоризненно и печально.

Казалось, как будто бы мы никогда в полной мере не сможем найти дорогу друг к другу.

В следующее воскресенье мой телефон зазвонил в девять часов утра так настойчиво, что я рассерженно взял трубку и уже хотел прорычать туда несколько не особо вежливых слов, когда я услышал голос Слоуна; он был страшно взволнован: – Наш мастер с семьей разбился в автокатастрофе на Афусе. Вы должны сделать все возможное, чтобы преуменьшить значение этой аварии. Я через несколько минут буду у вас.

С большой поспешностью я оделся и побежал вниз по лестнице.

- Это страшно, ужасно! – произнес Слоун.

Как пожарная команда мы помчались к Афусу.

Аварийная бригада была уже на месте; расследование началось. На основе измерений тормозного следа пришли к выводу: машину занесло, она задела бордюрный камень и после этого дважды перевернулась. Мастер сам управлял презентационным автомобилем.

- Эта проклятая гонка! – сказал я.

- Да, еще один такой пример! – ответил эксперт по авариям и начал составлять свой отчет.

Две недели спустя...

Я должен был продемонстрировать машину одной владелице верхнесилезских угольных шахт. Это был четырехместный, серо-зеленый кабриолет, на котором я с Наташей ехал из Бремерхафена в Берлин. Далеко за Потсдамом дама попросила меня позволить ей управлять машиной самостоятельно. Она представила мне свое водительское удостоверение и ехала довольно долго.

После обеда она снова выразила желание сесть за руль. Тем не менее, я отказал ей, так как мы еще находились в городе, и машина не была застрахована, но решил все-таки спросить мистера Слоуна. Кроме того, я хотел гарантировать себе высокие комиссионные за успех продажи, чтобы не выглядеть слишком жалко перед Наташей.

- Как давно у нее права? – спросил Слоун коротко. Это было уже в конце рабочего дня.

- Более пятнадцати лет. Какие-нибудь штрафы не отмечены. Она водит не хуже таксиста. Но имейте в виду, что ведь ни машина, ни пассажиры не застрахованы.

- У вас есть какое-то чувство неуверенности?

- Нет, ничего подобного.

- Ну, тогда не будьте таким излишне боязливым и позвольте ей ехать, но, конечно, осторожно!

Мы достигли Хеерштрассе. Женщина увеличила скорость. На ее лице лежала довольная улыбка.

Мы молчали, ехали к площади Райхсканцлерплатц. Я еще подумал, как часто я в ноябрьских туманах ходил через эту площадь, и быстро взглянул в направлении еще сильно удаленного моста Штёссензеебрюкке.

Внезапно машина подсакивает вперед.

Я сразу понимаю: нога женщины соскользнула с педали тормоза на педаль газа!

Доли секунд...

Гремящий грузовик с прицепом справа.

Перед ним и слева остановки с тесно стоящими, кричащими от страха людьми.

Люди!...

Последние мысли!

Два трамвая передо мной.

Хватаюсь за руль, за ручной тормоз, жму на ножной тормоз... ее визг...

Оглушительный треск, грохот, скрежет, осколки... Зажат!

Женщина поникает за рулем.

Рамка ветрового стекла ударяется навстречу мне! Моя рука...!

Все вокруг меня начало расплываться, люди, мысли и чувства, настоящее, будущее и деньги.

Уже двенадцать лет назад течение выбросило меня на незнакомый берег. Потом одна из бесконечно многих волн, едва ли воспринимаемый ветерок вечности, снова вынесла меня в море. Теперь новая волна, где-то вдалеке поднятая далеким штормовым ветром, снова выбросила меня из как раз еще пульсирующей жизни на сушу и в проклятие бездеятельности. Я снова лежал на крутом берегу, не зная, взберусь ли я когда-нибудь на него.

Наступил отлив.

И с ним тишина вокруг меня.

Еще все во мне жило в соответствии с обязательным законом инерции, который позволяет всему этому продолжаться в нас еще некоторое время, даже если этого, собственно, больше не хотят.

Сегодня, теперь, я был готов уйти с Наташей, как я обещал ей это тогда.

Но теперь ее не было здесь...!

Но сделать это только в одиночку – для этого я стал слишком трусливым, слишком уставшим, слишком апатичным.

Люди... мысли и чувства о них и вокруг них начинали расплываться все больше и больше.

Наташа...

Она так сильно радовалась, что поедет в Индию на натурные съемки. И, тем не менее, она до последнего мгновения отбивалась от этого и долго плакала в моей больничной палате, пока я не убедил ее с обещанием последовать за ней, само собой разумеется, скоро. Наконец, тогда она повиновалась. Я больше не мог привязывать ее к себе, к развалине, к полной неизвестности вокруг меня. У нее было право молодости на собственную жизнь.

Да и что бы она должна была делать со мной?

Этого требовало от меня время! Только оно должно было принять решение обо всем последующем между Наташей и мной! Других людей, которые раньше окружали и любили меня, я отвергал со своим дружелюбным упрямством. Я, как раненый зверь, хотел быть лишь один, совсем один, как уже много лет назад в дешевой снимаемой почасово комнате.

Теперь расплылось также настоящее. Согласно логическому закону времени будущее и деньги должны были последовать за этим. Все убегало у меня между пальцев. Я только видел, как быстро исчезало все то, что я собрал когда-то с трудом и усердием, с бережливостью и выносливостью.

И так же, как двенадцать лет назад тайный советник Пайр снова стоял передо мной и дергал напудренными тальком пальцами за свою маленькую эспаньолку. Он постарел, согнулся, его рука больше не была, пожалуй, такой уверенной, как когда-то; два младших ординатора должны были оперировать меня.

На этот раз борьба за руку была коротка: я согласился заменить разорванные аварией кости.

У моей сестры Шарлотты были тронутые сединой волосы, и она стала более неразговорчивой, чем прежде. Разочаровала ли жизнь также ее? Она никогда не говорила об этом. Моя старая больничная палата была заново покрашена современной светло-зеленой масляной краской. Тихий сад клиники остался неизменным, также его тяжелая железная дверь, которая вела для всех снова назад к жизни или к «уходу».

После нескольких недель она еще раз открылась и для меня. Даже если я вовсе не хотел этого.

Моя квартира в Берлине была в пыли, пустая, тихая, неприятная, перед входной дверью в вестибюле лежала куча почты, газеты, журналы. Телефон был отключен.

Я сел в широкое, светлое кресло и позволил сумраку окутать меня, и все стало далеким, невероятным...

Голод разбудил меня. Я пошел в «Райхе» и сел в нишу. Господин Райхе также на этот раз как бы механически задернул старый занавес, обменялся со мной парой приветливых слов, так как мы уже давно не виделись, а я за это время уже приобрел привычку состоятельных людей питаться только в первоклассных ресторанах, как этого требовала моя профессия и общение с владельцами толстых кошельков.

На обратном пути я заглянул в швейцарскую к моему портье Шарренбергу, спросил, можно ли будет немного почистить мою квартиру еще тем же вечером. Его жена и обе дочери сразу объявили о своей готовности сделать это и были рады тому, что смогут забрать с собой многие газеты и журналы. Они также сберегали мою почту.

Банковские расчеты, трезвые числа.

Я считал так же трезво. Но на этот раз у меня было неприятное чувство, как будто бы я всюду хватал пустоту.

Впервые в жизни я боялся будущего. Это была глухая, парализующая боль как от безжалостного холода. Она окружит меня всюду снаружи, вне моей квартиры и ее знакомого комфорта, и ее защищенности, это неприятное чувство, нетерпимость больного по отношению к чужим людям. Я больше не буду один, не смогу также спрятаться от них, и при этом они даже не должны быть плохими или шумными.

Мой договор об аренде квартиры.

Письмо об увольнении.

Это были только лишь несколько недель. Но еще много часов. Я ходил из комнаты в комнату, боязливый и взволнованный, как будто бы я вдруг что-то искал.

Я был в отчаянии.

Тогда я открывал шкафы, осматривал мои вещи, касался их, аккуратно сложенных, и вспоминал о том, для чего они когда-то служили мне, и о том, что мне они теперь не нужны и, вероятно, никогда больше не понадобятся.

Только потому, что у меня была авария...

Вещи Наташи пристально смотрели на меня в своем разнообразии, полные запаха сильных духов и полные воспоминаний, и при этом я не мог не подумать о сказке про старого рыбака, который поймал золотую рыбку, но в ответ на обещание подарить рыбаку все, что он пожелает, освободил ее. Но старик желал себе слишком много, и потому он остался таким же, каким был, сидящим перед своей прогнившей, завалившейся избой и развалившимся колодцем.

Наташа... Вернется ли она ко мне? Пусть даже на очень короткое время? Будет ли она тогда другой? Она была в таком отчаянии, когда уходила! Я и в этот раз тоже не смогу затаить на нее обиду, снова должен буду понять ее, снова ободрить, так как судьба когда-то доверила ее мне, когда она была еще ребенком.

Она хотела вернуться домой примерно через шесть месяцев. Очень долгое время, но только для меня.

А для нее...?

Индия... Там, должно быть, очень красиво. Я так охотно поехал бы с ней. Желанием моего детства всегда было увидеть и испытать далекий мир. Древний рыбак в Сибири, в забытой деревне, однажды посмотрел мне в глаза и сказал: «Господин, ты пойдешь еще через далекие дали, так как я не вижу знака креста на твоём лбу». Он считался ясновидцем, так как никто из крестьян не находил такие богатые рыбой места, как он, хотя он в большинстве случаев сидел неподвижно, как во сне, на тонкой носовой части лодки, когда маленькая флотилия выходила на рыбную ловлю. Я видел этих людей в их забытой деревне, я исполнил свое обещание вернуться домой. Мы разговаривали все вместе, и они по старому обычаю братства сердечно целовали меня в обе щеки. Друзья и товарищи.

И, все же, я больше не принадлежал к ним, ни к кому больше, по ту сторону и по эту сторону границы.

Наташа и ее молодость отдалили меня от них все больше и больше...

Но что теперь? Также к ним, к теням, я больше не мог вернуться!

Я зажег все лампы в каждой комнате, и ходил, ходил и ходил, пока не почувствовал, как болела рука и насколько я устал.

Тогда я снова считал неизвестные числа. Смогут ли мои нервы выдержать это время без работы? Это был вопрос.

Несколько раз я ходил в кино. Так как я хотел увидеть Наташу, по крайней мере, на экране, ее движения, взгляд ее черных глаз, поворот ее головы, улыбку... для всех других.

Дома вокруг меня было необычно тихо, и у меня снова было чувство страха оставить мои доверенные стены, как тогда, когда я покинул клинику после тяжелого приступа гриппа и стоял в смятении на улице.

Я начал колебаться, не следует ли мне попросить моих друзей и знакомых, чтобы они помогли мне? Наташу, Шнайдеров, Келлера и даже Фредерикссена или богатого Нойманна. Тогда у меня больше не было бы этого чувства озноба на затылке. Никто никогда не проронил бы и слова об этом.

Хоть это и успокоительно иметь друзей вокруг себя в веселые часы, однако так постыдно быть обязанным однажды напомнить им об этом. Должен ли я снова и снова ходить к ним, звонить им в двери, протягивать руку?

Я пошел в кухню, приготовил себе крепкий кофе, поставил рядом бутылку водки и начал записывать мои диспозиции на следующие дни... снова левой рукой.

Сначала я съеду с дорогой квартиры, но я быстро снова заработаю на нее.

Я заказал экспедитора. Приехали упаковщики, сложили по моим указаниям вещи и ящики, вынесли мебель наружу. Только когда я положил к вещам Наташи старую куклу Акулину и потом еще ее иконку, мое самообладание отказало мне. Быстро я отвернулся и подошел к окну. Слезы застилали мне глаза, и вечный вопрос жестко напрашивался во мне: почему?

Я покинул пустую квартиру последним. Ключи я, как положено, передал швейцару.

Первое время в новой комнате, даже если я обставил ее своей мебелью, мне было трудно переносить. После трапезы в «Райхе» я поймал себя на том, что я пошел хорошо знакомым путем в мою прежнюю квартиру. Ее пока еще никому не сдали. Ее окна и двери были все еще закрыты. Вечером там никогда не горел свет. Иногда, когда я ехал домой после ежедневных процедур в клинике, я выходил по дороге и рассматривал у экспедитора складированную там мебель.

С неуместной уверенностью я как одержимый болезненной страстью искал себе занятие, которое я вовсе не мог выполнять, так как мне еще нужно было так много лежать. На руке, казалось, висел груз весом в пятьдесят килограммов,

внутри все было еще изранено и очень болело. Я только вставал, чтобы пойти поесть и поехать в клинику.

Так прошли несколько недель. Я постоянно бывал у тайного советника Пайра для контроля. Я не замечал никаких улучшений. Теперь Пайр настаивал на моем немедленном отъезде в Швейцарию.

Я был готов снова поехать в Лезен, чтобы там еще раз пройти каждый самый маленький шаг. Но тут меня постигла новая беда: необходимо было произвести коррекцию в плечевом суставе.

Мои несколько оптимистичные планы становились вследствие этого иллюзорными. Мои сбережения таяли.

В течение следующих недель моего пребывания в клинике я не проронил почти ни одного слова. Во мне появилась упрямая настойчивость сопротивляться всему и каждому, как попавший в облаву разбойник, изо дня в день, час за часом.

И я выдерживал, хотя я должен был жертвовать моими вещами предмет за предметом, но не только ради еды, питья и проживания, но и ради... морфия.

Это было дорого, эта вторая жизнь, невесомое погружение в далекую, счастливую пустоту.

И это продолжалось дольше целого года...

Я жил в поселении Айхкамп у темпераментной, толстой хозяйки, которая спала в одной комнате со своим таким же толстым и вечно безработным сыном. У меня было только лишь два хороших костюма, четыре пары ботинок, из которых у двух уже были дырки в подошвах, и я получал благотворительное пособие в размере пяти марок и сорока пяти пфеннигов в неделю. Благотворительное учреждение оплачивало также двенадцать марок платы за комнату; это была особая цена, любезность этой женщины. Большого я не мог требовать.

Юридическое определение «снят с пособия» было однозначно для меня и государства.

Все же, нет.

Я владел еще двумя ценностями: пишущей машинкой, которую я всюду пытался продать только за двадцать марок, всегда в надежде, что смогу вдоволь наесться за эти деньги, и мои золотые наручные часы, которые я прятал от моего строгого, вынюхивающего, вечно придирающегося социального работника.

Время от времени, когда я действительно не знал, что делать дальше, я закладывал их за двадцать марок в ломбарде Аронзона на Иоахимсталерштрассе, чтобы потом с еще большим упрямством вынуждать у самого себя проценты для их выкупа.

Госпожа Аронзон была замечательной женщиной, однако, не из-за ее «карлсбадской» фигуры, которую ее завистливые конкурентки описывали как грудь на животе, а живот на коленях, а из-за ее большого понимания искусства. Мы часто беседовали, и я видел, как ее совета спрашивали даже видные эксперты. В ее ломбарде все слушались только ее приказов, неохотнее всех – ее муж, которому также не разрешалось никого обслуживать.

Когда я в первый раз пришел в ее ломбард, я хотел за мои золотые наручные часы пятьдесят марок.

- Я дам вам за них только двадцать, – кратко ответила она.

- Но почему так мало? Ведь они же стоят больше!

- Но что сейчас уже значит «стоят больше»?

Она раздвинула руки в сторону и сделала при этом угрюмое лицо. – Вы же хотите когда-то увидеть их снова?

- В любом случае!

- Вы безработный, как вы сказали. Для двадцати марок и процентов к ним вы еще сможете как-то собрать денег, но для пятидесяти уже нет. Итак? Это же не сделка для вас с пятьюдесятью марками, сударь!

Эта женщина была тысячу раз права! Всегда, когда я оплачивал ей собранные с большим трудом проценты, и когда она медленно пододвигала мои деньги своей украшенной бриллиантами рукой, наши взгляды встречались, и всегда она улыбалась с превосходством бесстрастного мудреца.

- Все еще без работы? Плохо, да? Ах, эта жизнь, сударь! При этом еще верят в жизнь после смерти!

На Сочельник у меня было всего шесть пфеннигов. Но моя хозяйка, которая, несмотря на уменьшенную квартплату, несколько раз тщетно пыталась ухаживать за мной, пожалуй, только из соображения, что было бы более удобно иметь дома «что-то в этом роде», тем не менее, попросила меня испечь в духовке ее

двенадцатифунтового гуся с фермы в Одербрухе; мы однажды беседовали о приготовлении таких вкусных вещей.

Я достал ей все, что полагалось, расплатился с нею до пфеннига, наполнил птицу каштанами, сливами и яблоками, сначала тщательно натёр гуся лимоном, потом смазал маслом и засунул его в духовку. В качестве вознаграждения меня, самое позднее через три часа, должны были пригласить съесть гуся вместе с ними. Толстуха пообещала мне это, взглянув на меня глазами с поволокой.

- Ах, как пахнет наша птичка! – воскликнула она тогда, усмехаясь. Она пришла из церкви. Я между тем справился с переодеванием и с ее птицей; грудка была туга и хрустела. Она уже внесла гуся в ее комнату.

Но... она не позвала меня. Я ждал.

Для голодающего человека тяжело готовить гуся, вдыхать его аромат еще из одежды и знать, что его сейчас едят в соседней комнате, особенно, если тебя же как раз и приглашали на эту трапезу. Я надел свое пальто, несколько мгновений постоял у двери моей хозяйки, слышал, как они едят, чавкают, и как булькает красное вино, которое я тоже расставил, и к нему незадолго до ее возвращения оба прибора.

Это была ее месть.

Тогда я открыл, все еще нерешительно, входную дверь и вышел.

Была холодная, звездная ночь. Полнолуние освещало маленькие односемейные дома и близкий сосновый лес. Я добрался до одного места в лесу, где несколько искалеченных, кривых берез и сосен, окруженных дико разросшимся кустарником, стояли на слегка заболоченной территории. Это место немного напоминало мне о Сибири. Я часто посещал его и сидел на его краю, погружившись в мысли о прошлом и о его далеких людях.

Я не знаю, вероятно, причиной этого был мой безвыходный голод, вероятно, также только что еще вдыхаемые ароматы пищи, во всяком случае, все вдруг начало вращаться вокруг меня, редкий лес, луна. Я упал на раскиданный ветром снежный покров и потерял сознание. Как долго я лежал там так, я не знаю.

Но я еще сегодня точно помню, что я почувствовал осторожную руку на моем раненом плече и потому перевернулся на спину.

- Да...? – громко спросил я и раскрыл глаза, так как я почувствовал это неожиданное соприкосновение отчетливо.

Но я никого не видел.

И вокруг меня не было даже следов, ни человека, ни животного.

Тут мои пальцы вцепились в землю, рот вгрызся в едва засыпанную снегом лесную почву, как будто я из последних сил и за последний кончик брошенного мне кусочка жизни держался за этот маленький клочок земли, чтобы не упасть окончательно и не потеряться безвозвратно.

«Боже мой!» – дышал я в замерзшую землю. «Вот такова грязь жизни!» добавил я вслух и снова лег на спину.

С никогда еще не существовавшей ясностью я видел каждую ветвь, каждый увядший лист и высокие, стройные деревья надо мной. Мое дыхание стало быстрым. Сердце колотилось.

Я вдруг почувствовал себя окруженным со всех сторон, как когда-то в бегстве из Сибири. Я вскочил как сумасшедший и искал в светлом маленьком лесу путь к побегу...

Тут я увидел моих пленных товарищей вокруг меня, отчаявшихся, опустившихся, голодающих, умирающих, как они пристально смотрели на меня, не шевелясь, похожие на страшилища из паноптикума, из жестокой темноты бесконечных зимних месяцев только на несколько коротких часов вырванные на свет, и я говорил им все, что я и тогда бесцеремонно кричал им с жестокой грубостью отчаявшегося человека, что это теперь было также их делом: помочь мне таким же образом, так как в противном случае я должен был бы только лишь презирать их.

Мой лоб был весь в поту.

Далекое жужжание моторов... В стеклянной освещенности неба самолет с его огнями как созвездие летел своим путем...

Наконец, я пришел в себя, сдвинул шляпу на затылок и несколько раз провел рукой по лбу. Постепенно я успокаивался, вдыхал глубоко холодный воздух, представлял себе все то, что я говорил, думал о том, насколько бессмысленным был мой грубый упрек умершим и пропавшим. Они тогда со своей стороны верно помогли мне перенести самые тяжелые часы сибирских снежных ураганов. Их хоть и было немного, но, все же, это они откопали меня из моей хижины, когда отчаяние уже сгустилось вокруг меня. И те, которые хотели помочь мне

еще сегодня.... Почему же я отверг их всех, даже, вероятно, оскорбил их своим отказом?

Одолел ли меня приступ безумия?

Были ли это только галлюцинации голодного?

Да, я хотел есть: парализующее, пустое чувство, которое охватывало меня и медленно принуждало идти домой.

При этом я снова думал о гусе, как вкусно он выглядел, как великолепно он пах. Но я же все равно совсем не смог бы есть его, чтобы не заболеть при этом, так как мой отвыкший от еды желудок просто не смог бы его переварить. Собственно, я должен был быть даже благодарен моей хозяйке за ее «неприглашение» ...

В холодном месте для приготовления пищи подвала, сразу рядом с углем и дровами, стояла двухкомфорочная, заржавевшая газовая плита, на огне которой я немного согрел руки, а потом поставил на нее мою кастрюльку с облупившейся эмалью.

Это была скудная трапеза: искусственный суп с горстью картофеля и к нему еще один ломтик хлеба. Я должен был есть в подвале, так как моя хозяйка не терпела того, если в ее квартире пахло «чужой», самой дешевой едой. И так как моя комната была особенно недорогой, поэтому во время быстро растущей безработицы в стране более чем вожделенной, я должен был покоряться ее желанию. Кроме того, она могла выбрать среди своих съемщиков и других, которые были бы с ней не «такими», как я.

Поэтому я сел прямо в пальто на ящик и поставил одну кастрюльку на другую, которая всегда служила мне как стол, так как она была выше. Это скудная еда была чуть теплой, чтобы экономить газ.

Святая ночь...

Потом я снова вышел на улицу, останавливался тут и там перед окнами, заглядывал в них, видел семьи, собравшиеся вокруг горячей рождественской елки и своей трапезы, слышал их голоса, их рождественские песни, радость детей. Но во мне больше не было горечи; не было даже потребности войти к ним в теплую комнату, поговорить с ними.

Да и что я мог, чужак среди чужаков?

Я мимолетно подумал о моей матери, которая отмечала Рождество среди членов ее семьи, вспомнил, что я отказался и от ее приглашения тоже, так как не хотел, чтобы она видела меня в таком положении. У нас не было тесного контакта друг с другом, но я никогда не забывал великодушно исполнять свой долг перед нею. Теперь эта опасавшаяся открыто выражать свои чувства, гордая женщина зависела от милостыни своей сестры, муж которой достаточно часто упрекал мою мать в этом.

Но что я должен был делать? Я с большим трудом мог помочь даже самому себе и не имел перспективы на какую-либо работу. Я думал о Келлере, о Шнайдере и его жене, а также о Наташе.

Она в своей новой квартире, которую обставил ей Хорст с изысканным ее вкусом, будет праздновать с ним Рождество, позволит ему баловать и одаривать себя, в модельном платье пройдет по комнатам, подарит ему улыбку, поцелуй. Он был культурный, умный парень, сын известного промышленника, всего на четыре года старше Наташи. Они познакомились в Индии, в Мадрасе, когда он приехал с охоты. Оба жили в одном отеле.

Так что она возвратилась назад какой-то другой, но она не возвратилась домой; я отчетливо это чувствовал.

Оба были молоды, красивы, богаты и, вероятно, также очень влюблены как раз так, как бывают влюблены молодые люди. У них было право на это, бесспорно, да это и не могло быть иначе, и они могли еще требовать от жизни всего. Их дни были без тени, и Наташе не нужно было слышать никакого, даже самое тихое эхо из ее тяжелого прошлого. Не было ли это как опьянение, то большое счастье, пережить которое в такой сияющей яркости, всегда стремится каждый из нас?

Наташа ничего не утаила от меня также на этот раз. Когда она вернулась из Индии, она говорила со мной совершенно откровенно:

- Я была в таком отчаянии из-за твоей аварии и того, что оставила тебя в Берлине, что мне больше всего хотелось бы только кричать! И... Хорст... никогда не был назойлив, всегда корректен... мальчик из хорошей семьи, и, хотя бы поэтому также никто другой не осмеливался подкатываться ко мне. То, чего я с нетерпением в течение долгих лет ожидала только от тебя, что, наконец, стало правдой, рухнуло... так как ты в глубине души не любил меня! Я рассказала Хорсту все.

Я понимал ее и вечное право молодости. И поэтому тоже я не мог сердиться на нее.

- Ты любишь его? – спросил я вопреки моей воле, так как я при всем том ощущал спрятанную где-то глубоко во мне занозу ревности.

Она подняла взгляд. Ее темные глаза долго смотрели в мое лицо, ее тонкая рука так знакомо прокралась в мою руку и прижала ее к своим темно-красным губам.

Едва слышно она произнесла только: – Прощай...

- Я ничего не должен прощать тебе!

Так ушел от меня последний, дорогой человек.

Только потом она рассказывала далее:

- Хорст хочет жениться на мне, – тихо говорила она. – Он настаивает на нашей скорой помолвке. Он уже представил меня как невесту своим родителям, они оба хорошо относятся ко мне, балуют и одаривают меня, при этом у меня лишь только самое необходимое общее образование. Подумай только, как это невозможно! Но это не мешает Хорсту, всегда говорит он. Он очень любит меня, и это сбивает меня с толку. Я часто отвратительно и несправедливо веду себя с ним. Он должен делать все, что я хочу. Это совсем не так, как у тебя. Вокруг тебя всегда была безупречная надежность. Хорст не знает этого, часто промахивается, мы совершаем много ошибок, так как мы оба слишком молоды, пожалуй, еще, слишком неопытны, и, все же, все представляется мне без ошибки, по-новому, всегда по-новому. Ты действительно поймешь это... Я живу в как в дурмане, в невероятно прекрасной мечте о совсем другом счастье, нежели с тобой, до которого мне теперь нужно лишь дотянуться рукой... Дорогой! При этом я часто думаю о твоих словах, что у меня глупые руки, и я даже почти верю, что я, все же, снова все это потеряю. Это счастье выскользнет из них! Ты знаешь меня гораздо лучше, чем я знаю саму себя, потому что тоска..., знаешь, ... она же так никогда и не проходит во мне. Только иногда она улетает, на несколько дней или недель. Но когда она возвращается, то мне так чужды и Хорст, и моя профессия и даже я сама. Тогда я хочу только лишь к тебе! Потому что только ты понимаешь меня в этом... Почему это так? Не ругай меня! Я же сама ничего не могу с этим поделать. Возьми же меня в свою руку, любимый, хотя бы на это короткое мгновение. Ты еще помнишь, – спросила тогда она неуверенно, – что ты обещал мне тогда? Скажи!

Она смотрела на меня непрерывно, как кто-то, которого, наконец, поймали, кто теперь больше не может ускользнуть от других.

- Но, Наташа...

Она закрыла мне рот своими губами и качала головой так же упрямо, как она делала это еще ребенком, когда еще летали ее косы.

- Когда ты почти ослеп, ты всегда видел одну и ту же картину: полет диких гусей над бесконечностью северной тундры, на синем тихом ветру изумрудного света. Я всегда должна думать об этом, и поэтому я пожелала себе от Хорста такую картину к помолвке, точно так, как эта картина живет в моей фантазии.

- Ты говорила с ним о твоей тоске?

Она провела рукой по моему лицу и печально улыбнулась, снова недоверчиво покачала головой.

- С ним...? О моей тоске? Ты знаешь, что он однажды смеялся над моей Акулиной? Тогда мы были на волосок до взрыва! И ты еще спрашиваешь, люблю ли я его на самом деле? Ты ведь так и остался моим дурачком!

Когда она потом покидала мою больничную палату, пришла сестра Шарлотта, чтобы перевязать меня. Мы подошли к окну и увидели Наташу, как водитель открыл ей дверцу, как она, молодая дама в норковой шубе, мне сделала пальцами знак, который должен был напомнить мне о движениях ее Акулины, и только после воздушного поцелуя уехала.

Она также не забыла еще раз на углу обернуться ко мне.

- Ваша маленькая Наташа любит вас теперь уже десять лет, – заметила сестра Шарлотта. – А вы знаете, что она поцеловала в обе щеки нашего господина тайного советника прямо посреди коридора, так как он сказал ей, что уверен в вашем выздоровлении?

- Нет, – ответил я, тогда погруженный в свои мысли, и отошел от окна.

Иногда Наташа звонила мне на телефон моей хозяйки. Тогда мы встречались в городе. Она представлялась мне человеком из абсолютно другого мира.

Всегда она предлагала мне свою помощь.

- Будь же хорошим и благоразумным, Солнце, позволь мне помочь тебе, что такое для меня уже несколько сотен марок в месяц. Доставь мне радость! Избавь меня от кошмара знать, что ты голодаешь!

- Спасибо тебе, Наташа. Я – слишком сильно русский, и русский всегда остается один в бедности и беде. Ты увидишь, я выкарабкаюсь из этого дерьма, это такая же правда, как то, что я сегодня стал нищим.

Я увидел зарницу, вспыхнувшую в ее глазах.

- Я боюсь за тебя, когда ты так говоришь!

- Почему? Или ты, похоже, не веришь в это?

- Ты слишком долго был один.

- Нет, – сказал я теперь вслух самому себе на ходу.

Во мне не было никакой горечи.

Только в одном я был нерешительным: должен ли был я расстаться с Наташей окончательно и бесповоротно, чтобы этим сделать для нее невозможным возвращение к прошлому, чтобы ей не пришлось вспоминать об этом снова, и чтобы она не оказалась снова птицей с подбитым крылом? Но помогут ли ей пережить это ее молодость, ее профессия и муж, чтобы вследствие этого не пострадало ее душевное здоровье?

Она сама дала мне на это ответ.

На обложке одного иллюстрированного журнала – я точно подсчитал пфенниги и купил его себе – я только несколько позже увидел ее фотографию и фотографию ее жениха. Это было светское событие, которое описывалось с обыкновенными в таких случаях высокопарными словами.

Я долго рассматривал фотографии.

Ее убедили, уговорили, перехитрили, думал я не без злобы. Мысли и воспоминания приходили и уходили, блуждали по широким просторам моей жизни, и новые волны парализующей все апатии накатывали на меня. Я уже даже почти не вставал, чтобы сварить мой суп на всю неделю: несколько поджаренных с суповой зеленью, обычно подаренных мне мясником хрящей, к ним перловая крупа или картошка, как разнообразие относительно обычно ежедневно приготавливаемых овсяных хлопьев в воде.

В этом журнале мне бросилась в глаза целая страница с объявлением: овсяные хлопья. Кто питается ими, как их готовят, как дополнительное питание или основное питание, когда и почему? Самый интересный ответ на этот вопрос мог принести ответившему первую премию в размере тридцати марок. При этом торжественная трапеза должна была произойти в присутствии прессы. Я послал мое «мнение эксперта»: Уже полтора года безработный, овсяные хлопья уже полгода ем как основное питание, освободился от изжоги, свежий, довольный, полностью работоспособный... И я действительно получил за это первую премию.

Мужчина лет тридцати пяти остановился на своей представительной машине перед домом и был проведен ко мне с большой камерой. Он огляделся в моей комнате, что при ее размере два на два метра можно было сделать быстро и основательно. Он начал свою рекламную консультацию, как будто бы он должен был сначала убедить меня в своем продукте и перешел, наконец, к моему письму.

- Удивительная питательность у наших овсяных хлопьев, не так ли?

- Да, невероятно!

- Вот именно! У вас есть фотография? Могу ли я сфотографировать вас?

- Но я не брился уже несколько дней.

- Это не имеет значения!

- Мое мнение эксперта настолько исчерпывающее, что вы определенно могли бы отказаться от моей фотографии. Я не придаю этому значения, да и торжественной трапезе тоже.

Мне было неловко появляться в газете.

- Внешний вид? Ха! Это особенно важно! К тому же еще безработный! Это более чем актуально! И вы выглядите замечательно!

- Именно, благодаря вашим овсяным хлопьям!

- Правильно! Совершенно верно! А могу ли я знать, работаете ли вы теперь? Вы писали, что вы безработный.

- Если вы не донесете на меня из-за нелегальной работы?

- Упаси Бог, в такой всемирно известной фирме это полностью исключено!

- Я пишу книгу.

Это пока только мое намерение, хотел я добавить.

- Ах! Как интересно! И сколько часов, сколько страниц и букв в день? – этот человек уже непрерывно расспрашивал меня дальше.

- Беспрерывно.

- Уже очень интересно! Очень важно для нашей статистики и общей продовольственной политики при растущей безработице. Целый день? Не находите ли вы сами это удивительным?

- Я не перестаю удивляться!

- И с полным правом!

Мужчина косо взглянул на меня, вытащил из своего портмоне заполненный лист, который давал ему разрешение опубликовать мое «мнение эксперта», передал мне в большом конверте роскошный диплом о первой премии, пересчитал деньги и ушел.

За эти тридцать марок я купил себе, наконец, один фунт гуляша, 1/8 литра сливок, пакет спагетти, тертый сыр, полфунта масла, а также свежие фрукты и овощи. У меня текли слюнки, пока я все готовил, но особенно, когда я уселся в моей ледяной кухне на ящик, игравший роль стула, у ящика, игравшего роль стола. Теперь у меня началась борьба с самим собой. Я не мог позволить моему отвыкшему от еды желудку съесть слишком много. Для этого было нужно большое самообладание. Но как у голодающего, у меня его больше не было. Но на третий день я капитулировал перед роскошным меню.

Я лежал в жару.

Хаотично бродили мои мысли. Я думал о Сочельнике, о видениях в лесу, также о моих небрежно произнесенных словах о написании книги.

И тогда... Воспоминания все более уплотнялись, становились все более живыми..., ощутив я видел людей и природу во всех почти забытых подробностях, как будто бы я действительно теперь снова стоял посреди них.

Но потом беспокойство снова погнало меня к моему маленькому, искалеченному маленькому лесу, на краю которого я долго сидел, потом дальше, в Груневальд, вдоль и поперек, час за часом, от боли прижимая руку к себе.

Мой новый социальный работник был маленьким, хилым человечком, но манера, с какой он открывал мой шкаф и ящики с тихим вопросом «Вы же позволите?», чтобы отыскать там «ценности, о которых не было заявлено, и тому подобное», существенно отличалась от строгости его предшественника. Он никогда не спрашивал меня о том, получил ли я «нелегальную работу, которая запрещена законом». Но он это наверняка видел, этот официально уполномоченный Шерлок Холмс, который при своем едва ли достойном упоминании жалования иногда считал себя обязанным после такого обыска даже предложить мне сигарету. Его марка называлась «Драма», и количество сигарет в его жестяном портсигаре с метаящим копье Ахиллом всегда было одинаковым: две штучки с правой, две с левой стороны. Он никогда не уходил, чтобы при этом не ободрить меня: – Поверьте мне, ситуация улучшается, медленно, но улучшается. И тогда... кто знает, – он улыбался немного и едва заметно, так как он делал это так редко в его жизни, – вероятно, у вас в один прекрасный день тоже будет маленькая машинка. Тогда вы забудете все, все, также вашего социального работника.

- Но нет, как же я мог бы! – отвечал я благодарно и растроганно. У меня ведь не было больше никого, кто хоть как-то ободрял бы меня.

Однако теперь моя постаревшая пишущая машинка, которую я часто безуспешно таскал к заинтересованным в ее покупке, оказалась моим лучшим другом. Многие попытки найти начало для моей книги не удавались. Мысли были гораздо быстрее, чем пальцы на одной моей пригодной руке, которые, кроме того, должны были включать машинку, вставлять листы и выравнивать их.

Но я не сдавался! Не было ли это занятие единственной возможностью заполнить многие бессмысленные часы? Не было ли оно единственным средством изгнать тупое ощущение вечной бездеятельности и отчаяние из-за этого во мне?

Но спустя всего несколько дней на меня навалилась новая, неожиданная беда. Моя хозяйка однозначно возражала против непрерывного печатания. – Я так или иначе ничего не получаю от вас, вместо этого в последнее время этот стук. Я была бы очень рада, если бы вы подыскали себе другую комнату. До пятнадцатого числа съезжайте!

Комната за двенадцать марок поддержки от благотворительного ведомства для бедного инвалида, который мог только сидеть в этих четырех стенах? Таких

комнат просто больше не было! У нас в то время было шесть миллионов безработных. Должен ли был я применить в моем случае закон о защите безработных? Если я попрошу моего хилого социального работника, чтобы он высказал свое важное «нет!»? Тем самым я мог бы даже позволить ему гордиться собой, так как он, вероятно, впервые в своей жизни выступил бы с веским доводом, а также был бы при этом прав.

Все же, я согласился съехать.

Совершенно неожиданно удача пришла ко мне в форме судебного исполнителя с чертами звезды вестернов, обычно нагоняющей ужас на зрителей. Люди с такой физиономией в большинстве случаев бывают простодушными и ограниченными, таким же был и он. Время от времени мы здоровались мимоходом, обменивались парой слов, так как он жил на той же улице, только дальше, через несколько домов.

Он обратился еще тем же вечером ко мне. Уже долгое время он должен был безупречно составить несколько важных отчетов об исполнении, хорошая формулировка которых могла помочь его карьерному росту в учреждении!

- Ваши несколько шмоток, – произнес господин Хольцхауэр приветливо, – я возьму себе сам и бесплатно, и тогда это все, да? Ваша голова важна для меня! Я слышал, как вы печатаете в последние дни все чаще и как раз подумал об этом. У вас много долгов?

- Никаких. А что?

- Стыдливый бедняк? Чепуха, дружище! Если есть возможность что-то хапнуть, то почему бы и нет. Безработный без долгов? Такого не бывает! Как главный судебный исполнитель я это уже знаю. Только не надо бояться!

- Но у меня на самом деле нет долгов!

- Самое главное, шутник...

- Это моя голова.

- Совершенно верно!

Он забрал мои вещи, а я получил маленькую, сыроватую комнату с меланхолическим видом на полностью запущенный огород и с совершенно определенной гарантией, что мне не потребуется делать «это просто так». Хотел ли я еще

большого? Не были ли даже каждая картофелина и каждый кочан капусты для меня избытком?

И, тем не менее, я спросил рассерженно: – И это что, все?

- Нет! Нет! – ответил главный судебный исполнитель. При этом я рассматривал его. Его лица действительно можно было не на шутку испугаться.

Ко мне мгновенно пришла блестящая мысль, которой я также основательно воспользовался в последующие недели. Между тем, однако, я редактировал один отчет об описи имущества должника за другим и переписывал их. Хотя лицо Хольцхауэра прояснялось все больше, плата за мой труд вместе с одной дешевой упаковкой трубчатого табака в неделю представлялась мне, даже включая любой урожай с огорода, слишком незначительной. Я протестовал с осторожной энергией, так как очередной поиск дешевой комнаты висел надо мной как дамклов меч. Когда, однако, мое сопротивление не принесло никакого толку, я предложил ему одно любовное решение.

- Возьмите меня с собой, все же, на описи имущества должников!

При этом я думал о его физиономии разбойника с Дикого запада. – А все остальное решится на месте!

- Опасно... Это даже очень опасно!

- Почему опасно? Вы вот недавно подарили мне для моей трубки две раздавленные сигары. Вы же их точно не покупали.

- Гм, – проворчал Хольцхауэр в свое безбородое лицо, которое становилось все яростнее.

Наконец, он взял меня с собой на одну опись имущества должника, которую я воспринял, тем не менее, с «технической точки зрения» как «непсихологическую». Я пытался объяснить ему это, но мои объяснения никоим образом не устранили его ограниченность и простодушие. Тогда я высказался более четко:

- Я считаю вашу тактику описи имущества должников неправильной. Вы должны делать это совсем иначе!

- Чтоооо? Да у меня уже почти пятнадцатилетний опыт в этом деле, и вы еще осмеливаетесь в чем-то упрекать меня...?

Он подошел ко мне.

Прямоугольная голова «щелкунчика» стояла передо мной.

Огромные челюсти медленно размалывали во всей их ширине.

- Да! Да! Вот так вы хороши! Отлично! В крайнем случае, я сразу устрою вас в кино! У меня есть хорошие связи в Америке!

- Вы что, с ума сошли? – зарычал он.

- Да вы там сможете зарабатывать, сколько захотите. Если вы сделаете такое лицо, то... тогда у нас все получится при каждой описи имущества должников! Вы можете слепо положиться на меня. Я в любом случае молчу. Только сядьте. Я хочу объяснить вам кое-что важное!

С ворчанием и неохотно он сел на стул, уперся руками в колени, вытянул вперед большую голову. – Ну, что, посмотрим, что вы тут за чушь придумали. Иначе я выкину вас прочь с вашим шмотьем!

- Мы нужны друг другу, Хольцхауэр. Или вы серьезно думаете, что я не заметил ваше дружески просветлившееся лицо последних дней? Никто не напишет вам лучшие отчеты об описи имущества должников!

Я начал излагать ему мои планы в форме изученной мною в США «консультации продавца» без психологических пробелов, особенно, однако, его подход во время описи имущества, и сделал вывод: – Вы сами говорили мне, что если есть возможность что-то хапнуть, то нужно это сделать. Но у вас к тому же есть еще и зловещая власть исполнительного решения на вашей стороне! Власть – это деньги, а деньги – это власть!

Теперь его челюсти размалывали задумчиво.

Итак, он сообразил. Я успокоился и стал более уверенным в отношении моего благополучия в течение следующих недель.

Спустя некоторое время мы отправились на новую опись имущества должника. Хольцхауэр сразу подошел к официанту, сделал лицо «звезды вестернов» и при этом громко прошептал: – Немедленно позовите мне шефа! Это официально.

Официант удалился. Мы ждали в вестибюле известного танцевального дворца на улице Мартин-Лютер-Штрассе и приняли серьезный вид. Пришел директор.

- Судебный исполнитель, – мрачно прорычал ему Хольцхауэр и ждал эффект этого все-таки недвусмысленного слова.

«Дежурная улыбка» директора застыла, он побледнел и только тогда стал исключительно любезным. – Да... господа... это так...

- У меня есть исполнительный лист в портфеле, – произнес в соответствии с нашей программой «щелкунчик» и открыл портфель. Оттуда появилось несколько печатей судебного исполнителя.

- Господин коллега, – начал я, как было условлено, – может, мы лучше сделаем это не так заметно?

- Да, господа, пожалуйста, само собой разумеется, только пройдем, пожалуйста, только присаживайтесь...

Директор привел нас в находящееся сбоку помещение. – Только подождите минуточку!

Я толкнул Хольцхауэра.

- Подождать? Неужели вы не можете оплатить, как минимум, хотя бы часть?

Его челюсти начали размалывать. Директор отступил перед ними.

- Если бы хотя бы можно было подождать в приятной обстановке, – заметил я.

- Господин коллега, тогда мы могли бы, как минимум, быстро выкурить по сигарете.

- Гм? – снова проворчала моя «звезда», не упуская мужчину из вида.

Быстро был накрыт маленький офисный стол.

Если нам во время описей имущества должников того или другого казалось слишком мало, портфель с исполнительными листами должен был позаботиться о каждом снабжении. Только маленького его кончика хватало. Мы «удостоили» нашим посещением также «Trocadero», где когда-то танцевала Наташа. Владелец сильно удивился, увидев меня, ведь тождество с моим более ранним появлением казалось ему слишком абсурдным. Иногда официанты одаривали нас, естественно, за счет фирмы, так как они тоже хотели описывать имущество в соответствующих кафе и находили теперь у нас совет и содействие.

Так я довольно быстро стал расти также без овсяных хлопьев и мясных хрящей. Больше того, я начал заниматься обменом: сигареты, сигары, вино и шнапс за

трубочный табак, кофе или продукты всякого рода, особенно, однако, за бумагу для печатной машинки.

Хольцхауэр и я были в восторге не только друг от друга, но и от наших «постоянных клиентов», но, к сожалению, недолго. Времена вновь стали сложными и богатыми кризисами.

Только Элли Зайлер, дерзкой безработной девушке примерно восемнадцати лет, я часто дарил сигареты. Она тоже получала пособие только пять марок и сорок пять пфеннигов в неделю.

- Только бери себе вдоволь, Элли, я ведь тоже получил их в подарок. Ты можешь к этому выпить еще чашечку кофе.

Она не говорила «нет» никогда и ни к чему. Она «ходила» с одним безработным того же возраста, что и она. Но ее мать не должна была знать об этом. Она приходила ко мне в изношенных войлочных шлепанцах, неторопливо и покачивая тонкими бедрами, в черном залатанном халате. Она убирала мою комнату, и когда она разглаживала мой матрас, она при этом ободряюще легонько била меня локтем в бок.

- Ах, вы! – говорила она тогда.

Иногда я приглашал также моего хилого и рахитично выглядящего социального работника на хорошую чашку кофе и несколько сигарет. Он всегда выглядел таким печальным и таким голодным.

- Я остался непонятым человеком, – объяснял он мне каждый раз. – Также и из всех радостей жизни я не смог ничем насладиться. Как маленький служащий городской биржи труда...

Он махнул рукой и выпил глоток. – Я добьюсь для вас льгот, но не потому, что вы предлагаете мне кофе и табак. Пособие по безработице вы должны будете забирать теперь только лишь один раз в месяц. Вы получите также пару карточек на бесплатные обеды и деньги на обувь... наличными. Больше я не могу сделать.

Я очень благодарил его и налил ему еще чашку. Я уже давно ждал, когда он уйдет, чтобы продолжить писать мою работу.

- Кстати, меня зовут Кринлих.

Он неуклюже кланялся, при этом он курил свою сигарету, пока он почти не обжег себе пальцы, глядел поверх его старых, грязных очков в стальной оправе и перебирал пальцами кофейную гущу из чашки. – Это меня очень радует, господин Кринлих.

Мы впервые подали друг другу руку и даже улыбнулись.

- Нет, мой дорогой: Гринлих. С «ю». Я саксонец, из Бирны, с твердой «б».

(Саксонец традиционно произносит название города Пирна с «б» вместо «п». – прим. перев.)

Но когда он больше не пришел в привычное время попить кофе, я удивился его отсутствию. И только несколько позже я прочел печальное сообщение об его убийстве. Преступники, безработные парни, перепутали его с одним известным чудаком, богатым мужчиной, которого они, собственно, хотели только ограбить.

Он умер от своих ранений через четыре недели в больших муках.

Его преемника звали Мелиг, и он был похож на умершего беднягу по своей манере, тоже забытый судьбой, но при своем небольшом жаловании такой верный в исполнении своего долга при слежке за безработными.

Лишь несколько месяцев спустя моя «звезда» и щелкунчик благодаря своему жильцу «упал вверх». Он жил в городе, имел большую, тяжелую машину, в то время как его жена и сын оставались в Айхкампе. Короткая поездка из Берлина была даже для такой машины и для так нагруженного работой служащего слишком далекой. Также его жена считала себя большей, чем другие, и больше не нуждалась в сдаче внаем моей сыроватой комнаты. Кроме того, друг господина Хольцхауэра, который был также ее другом, очень настаивал на этом, чтобы повысить ее авторитет. Проблема новой дешевой комнаты снова угрожающе нависла надо мной.

Тут помогла дерзкая Элли Зайлер. Ее отец, машинист локомотива, умер уже много лет назад; ее мать владела в Айхкампе маленьким домом с садом и больше не используемой крохотной кухней с двухкомфорочной газовой плитой. В комнате, окрашенной оливково-зеленой масляной краской, стояли узкий шкаф, маленький стол, солидный стул и зеркало шириной в ладонь. Квартплата составлял десять марок, и так как Элли, ее мать и бабушка хотели сдать комнату «наконец, когда-то лучшему господину», Элли не пришлось долго ходатайствовать за меня: «Это же сразу видно, мама!»

Я въехал, и так как кухня находилась немного в стороне от квартиры, я мог теперь беспрепятственно печатать на машинке, наконец, только для себя самого. Но «дружеских добавок» моей деятельности в качестве коллеги судебного исполнителя мне, конечно, очень доставало. Тем не менее, я писал изо дня в день, хотя я снова переориентировал свой желудок на уже такие успешные в свое время овсяные хлопья.

В эти дни каждый час представлялся мне кошмаром, каждый шаг из дома казался бессмысленным, смешным, каждая строка, которую я писал, – насмешкой над самим собой.

Мне иногда казалось, что я почти сойду с ума от этого. И как раз поэтому я пытался еще больше заниматься чем-нибудь, особенно в маленьком саду Зайлеров, где я полон сорняки. Почти в любую погоду я плавал в озере Груневальдее, изо всех сил принуждал мою руку двигаться, и если она иногда не хотела помогать моей левой руке при печатании на машинке, я ругал ее самыми ужасными словами.

Я принуждал себя писать одну строку за другой, страницу за страницей, пока часто на лбу у меня не появлялся холодный пот, и я снова начинал проклинать обе мои неловкие руки, так как они так бесконечно медленно находили и нажимали клавиши букв, в то время как мои мысли поспешно уходили как сны, и мои герои окружали меня как люди из плоти и крови, говорили со мной, стояли рядом со мной, жили со мной, повсюду сопровождали меня и даже иногда давали мне поесть. Тогда я больше не чувствовал голода и никаких потребностей...

- Вы! Вы! – иногда звала меня по вечерам шепотом Элли. – Я кое-что принесла!

Ее круглое, открытое лицо сияло, ее грубые, натруженные руки проводили неуверенно по моей щеке, глаза светились, полные внутреннего беспокойства, как будто бы кто-то пригнал ее ко мне. Она напоминала мне молодую волчицу, которая охотится ради своего выводка и кормит его.

- Теперь быстро закройте дверь, чтобы моя мать не вошла!

- Целое кольцо ливерной колбасы! Откуда она у тебя?

- Ах, зачем вы всегда спрашиваете. Ведь вы же мне немножко нравитесь. По-едем, вот и всё! А вы спрячьте остаток. У вас никто не будет ничего искать.

Тогда я не смог сопротивляться такому соблазну и ел вместе с ней.

В другой раз она принесла кофе, потом масло, снова колбасу, пачку с сотней сигарет и даже трубку.

- Для меня, Элли? Это очень любезно, но...

- Никаких «но». Мы сначала поедим. Вот...! Разве это не великолепные чулки? И здесь еще две пары. Отличные, или как?

- Откуда это у тебя, девочка? – спрашивал я настойчиво.

- Ганс подарил мне это. Он получил работу, но такую!

Она подняла оба кулака и рассматривала меня с восторгом.

Через несколько дней я снова начал с решительного вопроса: – Элли, скажи же мне теперь, наконец, полную правду, откуда у тебя эти вещи. Ты знаешь, я никогда не выдам тебя! Их становится все больше!

Она охватила меня руками, шептала и плакала: – Прихватила с собой... все, потому что у меня был такой ужасный голод. У меня все горит внутри, если я ничего не ем. Я просто больше не могу владеть собой. Когда я стою в каком-то магазине, я дрожу от жадности. Много безработных крадут только из-за голода.

- А если тебя кто-то поймает, то на этом все закончится!

- Ну, вам я могу рассказать. С прошлой недели я снова хожу с Гансом, и вследствие этого нам легко делать это. Он расстегивает пальто, становится, очень широкий и толстый, передо мной, а я роюсь.

- Ты больше никогда не должна так делать! Это кража, и за нее наказывают тюрьмой!

- Это так, но я же хочу есть!

Ей стоило большой внутренней борьбы, пока она не пообещала мне, что больше не будет красть.

Однажды она пришла очень поздно. Согнувшись, она стояла передо мной, у нее было бледное лицо и темные тени под глазами. Она поникла на моем матрасе, пододвинула мне большой пакет и внезапно всхлипнула. От страха, что кто-то мог бы ее услышать, она глубоко зарылась лицом в мое одеяло. Прошло много времени, пока я смог ее успокоить и заставить говорить.

В пакете были только мясные изделия.

- Это плата..... от скотины... Я все еще могла бы кричать от боли.

Быстро я подогрел воду, наполнил бутылку и положил ее Элли на тело. Она посмотрела боязливо, но залезла под мое одеяло. В ее глазах вспыхивали огоньки, она всматривалась в мое лицо, но ничего не говорила. Пульс ее был учащенным, затем, прижав руки к телу, она заснула, время от времени испуганно вздрагивая во сне.

Я работал, иногда посматривая на нее, накрыл ее одеялом.

На рассвете я должен был разбудить ее, чтобы никто не заметил ее отсутствия. Я спросил, не порезать ли ей мяса. Она качала усталой, тяжелой головой. – Только спрячьте от матери! Иначе всему конец. Завтра, во время уборки, мы поговорим об этом!

С согнутой спиной она стояла передо мной на очень нетвердых ногах, но я даже не мог привести ее в ее комнату.

На следующий день Элли не пришла. Она была больна. Только спустя несколько дней она снова могла ходить. С отговоркой, будто бы я получил в подарок кусок мяса, я принес его матери Элли. За это мы были приглашены на «сытный обед». Мы ели колбасу каждый вечер, пока нам от нее не стало плохо, и живот уже восставал против нее.

Прошло довольно много времени. Элли держалась хорошо.

- Если ты еще раз украдешь... Я больше ни крошки не возьму.

- Ах, вы, – девушка толкнула меня. – Я же вижу, как вы хотите есть, человек ростом с дерево. Как блестели ваши глаза, когда я приносила кусочек колбасы! Тогда я также чувствую себя неплохо. У других же это есть, а у нас нет.

Но потом она однажды принесла гусиную грудку.

Она долго и настоятельно просила меня съесть ее с ней, но я больше не делал это. Я дал ей кусочек моего хлеба, потом слышал, как она поспешно ест и чавкает от голода. Я повернулся к ней спиной, чтобы выстоять перед самим собой.

Я больше не видел Элли.

Ее мать, которая теперь содержала мою комнату в порядке, я спросил об отсутствии ее дочери. Она села на стул и расплакалась.

- Такой позор навлекла девчонка на наш дом! Только подумайте, полиция задержала ее и одного безработного. Оба украли колбасу у мясника. Моя Элли... я же так следила за ней. Бабушка тоже плачет из-за моего ребенка. Если бы это знал наш отец, он тотчас убил бы Элли, он был такой хороший, уважаемый человек.

На следующий день, в семь часов утра в мою комнату без стука вошел какой-то коренастый мужчина и отвернул воротник своего пиджака, чтобы показать мне значок.

- Я всегда предпочитаю выяснять все быстро и кратко: вы же знакомы с Элли Зайлер?

- Конечно!

- Ели ли вы с ней мясные изделия или пользовались другими украденными вещами?

- Да.

- Гм...

Он сначала помедлил, огляделся в комнате. – Я должен передать вам самый лучший привет от обер-вахмистра Вильгельма Шёне и от начальника Грюнеберга.

- Из полицейского участка Кайзердамм, где я жил? Спасибо!

- Я справлялся о вас, сударь. Самые лучшие рекомендации, но вот это дело с Элли... Девочка твердо отрицала, что давала вам хоть что-то из украденного. Порядочная, да?

Мы еще курили украденные Элли сигареты и разговаривали.

- Гм, – снова произнес полицейский. – Раньше чаевые по пять и десять марок, а сейчас у вас только пять марок и сорок пять пфеннигов в неделю, вот так.

- Совершенно верно.

- Да, вот такая эта проклятая жизнь. Теперь проводите меня, по крайней мере, до двери. Дело сделано. Живите спокойно.

Когда я вернулся в комнату, на моем исписанном листе лежал маленький пакет. В нем, завернутые внимательной женской рукой, лежали три пары больших берлинских бутербродов с колбасой.

Элли стояла в суде перед загородкой со сжатыми кулаками, как будто бы она хотела в любой момент наброситься на председателя, и когда потом был оглашен приговор, она внезапно закричала в переполненный зал:

- Я только хотела есть! Я была в отчаянии! Дайте нам, безработным, наконец, работу! Мы хотим работать! И наказывайте лучше преступников, которые отбирают работу у нас!

Председатель предостерегал ее дерзким голосом... Служебный пристав вывел ее прочь. За ней последовал сломленный Ганс. Он плакал.

В зале наступила полнейшая тишина.

Только тогда проснулись голоса, которые все громче защищали осужденных.

В течение полугода я больше не видел Элли Зайлер. Ее мать отмалчивалась. Старая бабушка с добрыми, уже полуслепыми глазами, белоснежными волосами с тщательным подбором, подагрическими, дрожащими руками также не говорила ни слова о том, где находилась Элли.

Когда я однажды после полудня нашел на улице одну марку, я подошел к кассе маленького кинотеатра, чтобы после предъявления моей карточки безработного посмотреть фильм за пятьдесят пфеннигов: Наташа блистала как танцовщица в новом сказочном ревью.

Была холодная осенняя погода. Поэтому я просмотрел фильм дважды.

Затем я неторопливо прогуливался по Курфюрстендамм, долго смотрел в витрины и долго стоял то тут, то там перед заманчивыми выкладками товаров.

На Уландштрассе я хотел перейти на другую сторону. Тут подъехало такси, мне нужно было чуть-чуть подождать, и вдруг я увидел, как Элли выходит из машины.

- И одна марка в придачу как чаевые, – сказала она водителю. Она сразу узнала меня и протянула мне руку.

- Как твои дела, Элли? Хорошо?

Она выглядела роскошной и светской. Она подняла плечи и положила маленькую вуаль над краем шляпы.

- Он ревнив как молодой любовник, но он богат и любит таких молоденьких, как я.

- Вероятно, принц, все же, однажды приедет.

- Для принца я крада тогда. Сегодня я краду только для себя самой. Хрен редьки не слаще. Я не изменилась.

Она указала на дом, перед которым она как раз стояла, быстро вытащила связку ключей из сумочки, открыла тяжелую дверь, кивнула мне и исчезла.

Зима была очень суровой.

Из-за голода и лишений мое зрение после днящегося часами писания начало затуманиваться с ранних вечеров. Я с огорчением думал о моем тогдашнем заболевании гриппом, когда я неделями ничего больше не мог видеть. Лампа на потолке безжалостно светила мне на голову и на лицо; я должен был устранить этот беспорядок.

У одного мастера-инструментальщика, которого я разыскал в свое время для мистера Слоуна, я сконструировал себе особенную настольную лампу. Ее основание состояло из круглой свинцовой пластины. Вследствие этого она не могла упасть. На нем я укрепил маленький стальной шар, а на нем трубку, в верхнем конце которой прикрепил еще один шар. Таким образом я мог приводить мою лампу и ее свет в любое положение, причем я с помощью простой жестяной манжеты мог поворачивать также абажур в форме чаши.

- И что из этого выйдет, когда будет готово? – спросил мастер Каминский, большой знаток своего дела.

- Вы скоро увидите, и даже получите от меня в подарок такую штуку.

Он ответил неопределенным «А, ну!», но пока я работал, он все же поглядывал на меня. Когда, однако, мое потрясающее изобретение было закончено, он отложил инструмент, осмотрел мою лампу благоговейно и кратко добавил:

- Черт побери! Это хитрая штука! Вы это знаете? Патент вам обеспечен!

- Для этого у меня нет денег!

- Всемирный патент стоит примерно три тысячи марок, господин сосед. Если подсчитать... то это сто пятьдесят месяцев или два с половиной года благотворительного пособия.

- Правильно! Но при этом ничего не есть!

- Совершенно точно. Позвольте уж мне заняться этим. Но только держите рот на замке. А теперь сделайте-ка и мне такую же штуковину.

- Она должна держаться на стене или с зажимом на вашем верстаке?

Каминский сел на свою старую, трехногую табуретку, задумчиво посмотрел на меня, с отсутствующим видом убрал в сторону инструмент со стола и снова взял мою лампу в руки.

- Разнообразие возможностей применения... понимаю... понимаю... также на стену, зажимать на столе... из-за свинцовой пластинки абсолютно неопрокидывающаяся!

- И если вы еще замените трубку ножничным механизмом...

- Тогда у вас сразу уже есть двадцать марок задатка. Иначе овсяные хлопья переживут вас!

Когда я вскоре после этого забирал мое ежемесячное пособие, я потерял сознание на улице, упал и был доставлен в участок. С несколькими толстыми бутербродами с колбасой и одеждой, полной великолепно теплая, я был отпущен дружелюбными полицейскими, однако лишь после того, как я еще жадно съел жирный суп. Тем не менее, я никогда не мог заставить себя посещать «официально обогреваемые закусовые». Вид частично опустившихся людей, их грязь и их всепроникающий запах, армия, которая насчитывала уже свыше шести миллионов человек, оказывали на меня слишком удручающее впечатление. Не просто так я выбрал поселение Айхкамп, чтобы избегать каменного моря города.

Во второй раз я упал в обморок прямо посреди проезжей части, и владелец автомобиля, который чуть не задавил меня, одарил меня двадцатью марками и, к тому же, добился для меня за счет своей страховки за «несомненно перенесенный шок» двухнедельного пребывания в больнице. Восстановив свои силы благодаря хорошей еде, уходу и теплу, я снова приступил к моей работе, купил

уголь, и долгое время все было хорошо. Я умолял свою пишущую машинку, чтобы она не отказывала, так как моя работа приближалась к концу.

Все же, я не оставил без внимания оба обморока, эти предупредительные сигналы моего тела.

Снова я сдал в ломбард мои золотые наручные часы, но так как госпожа Зайлер уже в тот же день попросила меня заплатить за чрезмерное потребление электричества, я сразу должен был снова отдать большую часть денег. Кроме того, она незамедлительно заблокировала мне ток и запломбировала мой счетчик. Я больше не нуждался в моей новой лампе. Вместо продуктов я покупал теперь только лишь свечи, голодал, экономя пфенниги, чтобы только смочь продолжать мою работу.

Я ведь работал только для того, чтобы не лишиться рассудка! Снова и снова парализующее отчаяние одолевало меня. Могло ли все это и дальше так продолжаться?

Но даже в такие мгновения ничто не могло отговорить меня от моей упрямой воли справляться с моей жизнью и с судьбой только в одиночку. В эту волю я буквально вцепился зубами.

Однажды в конце месяца русский Семенов перед биржей труда заключил меня в свои объятия, похожие на медвежьи. С того вечера мы иногда встречались в русском ресторане, но потом снова на время теряли друг друга из виду. Я смотрел на его большую голову и темные глаза, которые светились на ярком солнце. Он рассказывал мне о своей работе на сигаретной фирме и указывал при этом на стоящий рядом с нами автофургон. Мы разговорились.

- Поехали сразу со мной! Мы ищем человека-рекламу, носящего на себе плакаты, для всего района вокруг Силезского вокзала. Ваша рука? Я привезу вас и плакаты, куда вы только захотите. И вы получите от фирмы сорок марок.

- В месяц?

- Ну вы и скажете тоже, мой дорогой! В неделю, конечно! Вдобавок еще и проездной на трамвай. Но без этого вы сможете обойтись, как я вам уже сказал!

Сорок марок в неделю!

Сорок марок в неделю!

Это не шло у меня из головы. Это так взволновало меня, что я едва ли мог говорить с Семеновым. Пока автофургон не загрузили снова, я пошел с русским в соседний трактир. Он оплатил мне горячую сардельку с картофельным салатом и огромную чашку кофе. Я был сыт, согрелся, а также приобрел уверенность. Работа оказалась превосходной; Семенов трижды в неделю привозил меня и мои плакаты в мой район, потому что я не мог носить тяжелые плакаты одной оставшейся здоровой рукой. Я уже израсходовал полученное от благотворительного учреждения пособие на целый месяц, чтобы в некоторой степени сохранить свои силы. Уже в выходные я получил первые сорок марок и смог наесться с надлежащей осторожностью.

С районным представителем, которому я был подчинен, я прекрасно нашел общий язык. Он любил выпить, и так как я посещал всю его клиентуру с рекламными плакатами, он также позволил мне принимать заказы от клиентов.

Первые две недели я ощущал мои ноги только как ничего не чувствующие деревянные палки. Едва я успевал поест, как я погружался в свинцовый сон. Тогда дела шли постепенно лучше и легче, но тут директор филиала позвал меня к себе и потребовал ответа:

- Кто же вы на самом деле, носитель плакатов или районный представитель моей фирмы? – спросил он рассерженно, и так как я почуял поживу, я предпочел золотое молчание. – Я попросил предоставить мне счета и установил, что большинство бланков заказа составлены вами. А что же ваш представитель делал в это время? Снова пил?

Я молчал.

- Не хотите ли вы с завтрашнего дня принять ваш район в свои руки уже как представитель?

Я откашлялся.

- Да или нет? Речь так или иначе идет только о примерно четырнадцати днях, так как я из-за плохого состояния бизнеса вынужден уволить нескольких господ. Вы в этом случае были бы нашим самым новым представителем.

Я согласился.

Точно на четырнадцать дней позже я был уволен, но за это время я заработал двести марок комиссионных на продажах. Пока я готовил тогда с наслаждением мою роскошную еду, я пересчитывал многие ставшие необходимыми расходы

для обновления моего внешнего вида, но это не могло испортить мое хорошее настроение.

Пломбу с моего электросчетчика снова сняли, и в теперь удобно обогретой комнате, пусть даже и при в дальнейшем действительно скромной еде, я заканчивал в свете лампы моего собственного изобретения остаток письменной работы. В дополнение к этому я делал многостраничное краткое изложение содержания и выписки из рукописи, которая насчитывала в целом тысячу двести страниц.

Все же, внезапно, едва я закрыл крышку скоросшивателя над моим трудом, заботливая деловитость, с которой я более двух лет писал свою рукопись, превратилась во мне в болезненное ощущение того, что теперь я был обязан расстаться отныне со всем этим, с миром моей молодости, со всеми воспоминаниями, которые я снова вызывал в мыслях, чтобы придать им долговечность.

Тени и голоса отступали.

Я слушал и слушал, но они больше не говорили со мной. И я тоже больше не осмеливался вызывать их снова. Я опять был один... один как перст.

Когда я тогда после одной бессонной ночи рассматривал себя в зеркале шириной в ладонь, я увидел, каким старым и дряхлым я стал.

Тогда меня потянуло в город.

- Как поживает ваша писательская работа?

Я сильно испугался. Я стоял перед витриной моего бывшего книготорговца. Он впустил меня.

- Я как раз вернулся домой из Сибири в Германию, – ответил я иронично.

- Могу я однажды прочесть это?

- Лучше пока нет, так как там еще не все исправления. Мне сначала нужно напечатать хотя бы один чистовой экземпляр. Но я принесу вам краткое изложение содержания.

- Тогда я буду вашим первым читателем и критиком. Ведь вы же будете предлагать свою работу?

- Она, по меньшей мере, выполнила свою цель. Собственно, большего я и не хочу.

- Но ведь раньше вы, судя по вашему заработку, все же, были весьма неплохим коммерсантом! Неужели вы совершенно серьезно хотите оставить без какого-либо использования весь ваш труд и все усердие на протяжении двух лет?

- Я посмотрю.

С моим инструментальщиком Каминским я заключил соглашение: у него было совсем немного работы, и он должен был за пятьдесят марок профессионально изготовить мою волшебную лампу, так как я хотел продать ее. В случае успеха он должен был получить за нее еще пятьдесят марок. От подачи заявки на патент, по крайней мере, для Германии, он скептически отказался.

Так как я довольно хорошо ориентировался в берлинской промышленности, я поехал с готовой лампой на один знакомый завод недалеко от Петербургер Штрассе. После деловых размышлений я был достаточно уверен в успехе.

Два специалиста вертели мою лампу туда-сюда, кивали с серьезными лицами, а затем спросили меня о цене.

- Пятьсот марок, – сразу ответил я. – А потом вы можете делать с ней, что хотите, это значит, без ограничений.

- Но это очень большие деньги!

- Наоборот, господа!

Я еще раз демонстрировал мою идею, указывал на ее значение для всего работающего человечества. Но совершение покупки не осуществилось.

- Я прошу вас, чтобы вы выдали мне расписку, – заявил я рассерженно, – о том, что вы получили этот образец и мой технический чертеж к нему. Это обязательно.

- Но у нас же нет инфляции!

- Все равно!

Они сделали это очень неохотно, улыбались снисходительно и обещали мне, что сообщат о своем окончательном решении в ближайшие дни. Тоже самое мне обещали на других пяти фабриках.

За это время мой книготорговец прочитал изложение содержания. Он был в восторге и назвал мне несколько значительных издательств: – Они обеими ру-

ками схватятся за вашу книгу! Запомните мои слова! Немедленно разошлите ваше изложение содержания одновременно во все страны света! У вас в руках целое состояние, поверьте же мне!

После этого хорошего заключения специалиста я предлагал свою рукопись с необремененным оптимизмом и не боялся больших расходов на пересылку. Наконец, ответы пришли в мою маленькую комнату со светло-зелеными стенами, двухкомфорочной газовой плитой и зеркалом шириной с руку. Это были очень культурные письма, содержавшие замечательный стиль, безупречную пунктуацию и даже вежливый способ выражения..., однако, в них были только отказы: темы войны, России, Сибири, пленных, описаний природы абсолютно неинтересны и ввиду избыточного предложения такой литературы больше не пользуются спросом. Большое спасибо за ваше предложение!

Мои деньги опасно таяли. Я все сильнее затягивал свой пояс, продолжал предлагать свою работу до тех, пока последнее подходящее издательство не ответило мне отказом. Вместе с тем также последняя надежда казалась мне похороненной. Мой книготорговец был расстроен даже больше, чем я сам. Тем не менее, он дал мне две личные рекомендации в берлинские издательства.

В одном издательстве меня сразу принял главный редактор некоего сенсационного журнала. Он выказал большой интерес к моей работе, хотя он был почти завален высокими кучами рукописей, печатных листов и прочего хлама, громоздившегося на его письменном столе.

Между тем прошли еще шесть недель. У меня оставалось только двадцать марок.

Во второе издательство, одно из самых значительных в Германии, я сначала вовсе не хотел идти. Оно первым вернуло мне назад мое изложение содержания.

Однако мой книготорговец настаивал на этом.

Но начальник отдела продаж этого издательства не принял меня также и в третий раз. Он был очень занят, сказала мне одна из двух его секретарей с вежливым сожалением. Какой странной, все же, иногда бывает жизнь, думал я каждый раз; десять миллионов безработных, которым нечего делать, и этот господин перегружен работой!

Упрямо, каким я был всегда, я пришел в четвертый раз, снова в моем лучшем костюме. Его другой секретарь сказала мне точно то же. Так как мне самому

приходилось работать много и часто даже очень много, не рисуясь именно этим фактом, я вдруг почувствовал, как у меня лопается терпение.

- Если этот высокий господин – бог, то пусть он лучше сядет на Олимп, а не в издательство!

Мой голос всегда был довольно звучным. На этот раз он через дверь донесся до него, до «высокого господина», который неожиданно для нас троих появился на пороге, великан, с добродушными глазами, лохматыми бровями и по-отцовски благосклонными чертами лица, вовсе не какой-то свирепый берсерк, как я предполагал.

- Чего же вы хотите?

Мы представились, и так как я в то же самое мгновение вынужден был подумать о том, что я так же достал великана за его хорошо охраняемой дверью, как надоедливая муха часто заставляет встать самого сильного и самого тяжелого человека, я не мог слегка не улыбнуться. Также он любезно улыбнулся. Какая-то симпатия сразу возникла между нами.

- Я хочу предложить издательству рукопись, мою работу.

- Тогда я, к сожалению, должен сильно разочаровать вас. Но, пожалуйста, приходите, а я позвоню в соответствующий отдел и сообщу о вас.

Огромный человек позвонил и простился со мной с приветливыми словами: «Ни пуха, ни пера!» Я пошел в названный мне отдел, высказал мою просьбу, передал одному из господ мое короткое изложение содержания, которое он сразу же принялся перелистывать и даже читать отдельные абзацы.

Так как теперь как раз был полдень, я, как в мои молодые годы до войны, сразу взял быка за рога: я пригласил его на обед в близлежащий итальянский ресторан.

Едва мы сели за столик, он спросил меня, не отвлекаясь от моих описаний Сибири, почему я не хочу поесть вместе с ним? Ведь меню просто великолепно! Я вряд ли мог бы ему сказать, что я как раз забрал мое пособие размером в двадцать марок за целый месяц.

- Извините, пожалуйста, – я сразу ответил ему и вытянул левую руку с золотыми часами, чтобы сразу же в зародыше задуть все возможные предположения с его стороны. – Я как раз только что поел. Это было чуть раньше. Есте-

ственно, если бы я знал! Но, все же, мы выпьем эту бутылочку кьянти! Или вы торопитесь?

- Нет, не особо, и для таких описаний и хорошей еды с вином всегда нужно выделить себе немного времени.

У нас сразу был почти сердечный контакт друг с другом. Мужчина по-своему нравился мне. Жесткая школа обращения с трудной частной клиентурой и советы моего ковбоя и мистера Слоуна были мне очень кстати при описании моей работы. Мой собеседник ел дальше, слушал и молчал, в то время как мой пустой живот очень вопреки своей воле должен был довольствоваться несколькими простыми солеными палочками с тмином. Я начал изо всех сил защищаться от быстрого опьянения кьянти.

Когда мы расставались, я видел в широких каменных плитах тротуара только лишь ровные квадраты, которые я возможно более точно хотел обходить, прошел по ним со значительным балансом в ближайшую булочную и купил себе полбуханки ржаного хлеба. С задумчивым удовольствием и беззаботностью пьяного я съел его на ближайшей станции метро. Только после этого я вновь нашел дорогу в мою комнату.

Дома меня ждало письмо от сигаретной фирмы. С трудом я понял его смысл, что я снова могу на несколько дней пойти к ним на работу, продавать их товар в окраинных районах и сразу же доставлять его автофургоном. Водитель Семенов должен был сопровождать меня. На следующее утро около девяти часов я сразу же позвонил в издательство, и так как мой редактор еще не появился, я попросил передать ему, что я уехал, и что ко мне можно будет позже дозвониться только по такому номеру. На его последующий звонок фирма ответила, что я в разъезде с «моей» машиной.

Когда я вернулся, письмо издательства уже лежало здесь.

Я никогда еще так долго не решался открыть письмо, как тогда.

Редактор сожалел, что не смог ко мне дозвониться. Он заинтересовался моей рукописью, которую я должен доставить ему лично в издательство, причем, как можно скорее, т.е. в том виде, в каком она сейчас есть, все тысячу двести страниц с исправлениями. Позже пришло второе письмо в синем конверте.

Решение?

Меня просили провести переговоры с издательством об опционе.

Между тем я снова зависел от пособия, так как представитель, которого я должен был заменять в это время, выздоровел... к сожалению.

В издательстве теперь вследствие телефонного запроса меня принимали как «человека с собственной машиной».

- Право опциона на два месяца – согласен, но, пожалуйста, не без задатка, – отвечал я с вежливой самоочевидностью и поправлял на запястье снова выкупленные мною в последний момент у ломбарда золотые наручные часы.

Это было непросто, но когда я покидал издательство, у меня в кармане лежало семьсот марок.

Снова я зашел в итальянский ресторан, сел за тот же покрытый белоснежной скатертью стол с чистыми, сверкающими бокалами, корзинкой, полной белого хлеба, и смотрел в окно. Пешеходы беспрерывно проходили мимо.

Было очень тепло, июль, небо было безоблачным, бледно-голубым. Как странно было все это!

Как это еще было, тогда?

Все вокруг меня начало расплываться, люди, мысли и чувства, настоящее, болезнь, голод, уединенность... Что будет дальше?

Как лунатик я снова поехал в Айхкамп, но я не выдерживал там в моих тесных четырех стенах. Там, в искаленном маленьком березовом лесу, я лег в мох, поднял глаза к залитому светом небу, и внимательно слушал и слушал.

Что?

Я этого не знал!

Спустя три недели моя рукопись была принята. Уже через несколько месяцев должна была выйти книга, мой роман о Сибири, о Забытом, «Забытая деревня». Я все еще не мог поверить в это!

Был вечер.

Я сидел на моем матрасе и, погружившись в мысли, пристально смотрел вперед, снова ждал, однако, не знал чего.

Тут пришла Наташа!

Робко она переступила порог. Только один быстрый взгляд в маленькое помещение. Две тонкие руки, внезапно судорожно сжатые в кулаки, прижались к ее рту. Она застонала.

- Ты же даже не можешь ходить здесь! А ведь ты такой большой! Какой ужас!

Мое сердце билось настолько быстро, что я только медлительно смог подняться. Я подвел ее к моему единственному стулу. Нерешительно она села. Ее руки опустились. Растерянно она рассматривала меня.

Очарование ее внешности осталось неизменным.

- Я очень много сидел, и потому мне это не мешало, – ответил, наконец, я.

- Тебе это не мешало...?

- Нет.

Аромат ее духов, кажется, мог взорвать тесноту моих стен. Я взял ее руку и медленно поднес ее к моим губам. Она прислонилась своей холодной щекой к моей, но настолько неуверенно, что я при этом вздрогнул, и тут же почувствовал, что причинил ей этим боль.

- Мне даже нечего тебе предложить, Наташа. Ты должна уже меня простить. У меня, пожалуй, есть немного денег, но я все еще живу очень скромно.

Она кивала, не отводя от меня взгляд.

- Значит, здесь ты жил все это время, эти два года?

- Да, почти два года.

- А теперь? – спросила она тихо и боязливо.

- Теперь... у меня больше нет потребностей... вообще никаких.

Она снова кивнула. Слеза отделилась от ее ресницы и покатилась по щеке. Она поняла меня, эти несколько слов, которыми я хотел описать эти два с половиной года и как бы покончить с ними.

- Никаких потребностей... вообще никаких, – повторила она беззвучным голосом и вздохнула.

- Тем не менее, я должна сказать тебе, что ведет меня к тебе. Ты скоро это узнаешь.

И она начала описывать мне свою жизнь, слово за словом, мне, как бесстрастному исповеднику, в молчании которого она была уверена.

Тяжело опершись головой в ладонь, я сидел на матрасе и не пропускал при этом ни одного слога, ни даже тихий нюанс ее знакомого голоса.

Время от времени она говорила о наших общих воспоминаниях, и они были изображены настолько отчетливо, что я невольно должен был смотреть на Наташу, видя, как ее глаза при этом сверкали и потом опять напоминали матовый бархат. Но это было действительно только исповедь, деловой отчет молодой женщины, которая еще никогда не врала себе, даже будучи ребенком.

- Репетировать, выступать, сниматься, зарабатывать все больше денег, выслушивать безвкусные, пошлые комплименты мужчин, от гостиничных посыльных до жалких, смешных «идолов», неизменные на протяжении многих лет, и снова и снова, день за днем, день за днем. Это моя жизнь. И мне еще так сильно завидуют в этом.

Она крепко сжала пальцы.

- И теперь Хорст... Он хотел жениться на мне, сделать счастливой, но я своей собственной непоследовательностью разочаровала его и саму себя. Он был разочарован мной, пришел в отчаяние и заявил мне на прощание, что он больше не сможет жить без меня... Так он и поступил в тот же самый вечер...

Ее голос замолчал.

- Это может прозвучать странно, – произнесла она затем жестко, – но я тут ничего не могу сделать! Я снова и снова проваливаюсь в это странное чувство холодного и безвыходного одиночества, в непростительное безразличие и неблагодарность, из которой ты изо всех сил пытался вытащить меня; и все без успеха. Такой я была также по отношению к тебе... тебе... больше, чем ко всем другим! При этом я оказываюсь такой жалкой... ты знаешь. Любое счастье я разбиваю моими вечно глупыми руками!

Наташа посмотрела на свои пальцы и немного растопырила их.

- При этом все говорят мне, как они прекрасны... мои руки. Также самое ценное и самое дорогое, что я могла когда-нибудь иметь, и это – ты, Солнце, выскользнуло у меня из этих пальцев... как у дуры.

Мы смотрели на приглушенный свет моей лампы, и оба молчали некоторое время, как будто бы мы хотели сперва упорядочить все мысли в нас.

- Тогда, когда я одна поехала в Индию, – при этих словах наши взгляды встретились, – ты предоставил мне выбор вернуться к тебе, такой, какой я ушла от тебя, или я чувствовала, насколько сильно ты ожидал этого от меня..., в последний раз ожидал. И я пришла тогда, да, но я не вернулась... О, я пристально следила за твоей жизнью, и просила даже еще пристальнее следить, когда ты голодал, был болен и одинок, но я была слишком труслива, чтобы растормошить тебя тогда. Я должна была бы убедить тебя всеми средствами, чтобы ты пришел ко мне, должна была просить об этом, бороться за тебя! Ведь ты же много лет делал это ради меня! И я даже думаю, Солнце, – ее голос звучал тихо, далеко и нежно, – ты тогда простил бы меня за то, что я покинула тебя в такое мгновение. Тогда это не было бы слишком поздно... для меня.

Но ты – мужчина, который требует от женщины всего, иначе она для тебя бесполезна... по праву. Ты же тоже давал мне все, все... Позже я лучше поняла тебя... Да, позже! Но тогда я больше не осмеливалась уже прийти к тебе и жила как в дурмане. И при этом я осталась только маленькой, незначительной девочкой, какой я всегда была с тобой, Солнце. Одной рукой я держалась за тебя, в другой держала мою старую Акулину... это самая дорогая картина в моей памяти... в счастье и безопасности... невосприимчивая ко всему низкому... только благодаря тебе, твоей воле и заботливому принуждению вести меня по жизни. Этой картине, которую мы часто рассматривали в витринах в Лезене, принадлежит вся моя нежность вплоть до сегодняшнего дня.

Она сбросила шубу со своих плеч и молчала. Тогда я все же решился спросить: – И что теперь, Наташа? Что будет с тобой дальше?

Она подняла и опустила плечи.

- Не спрашивай, только не спрашивай об этом! Я этого не знаю. Недавно я подумала... Я вышла из ванной и рассматривала себя в зеркале, взяла флакон духов... Но если бы было какое-то средство, самое дорогое, которое только можно вообразить, чтобы с его помощью отмыть себя так основательно, или что-то другое сделать с собой, пусть даже самое мучительное, чтобы только стать такой, какой я была... с тобой. Только с тобой!... Но такого средства нет. Нет его!

Она покачала головой и накинула шубу на плечи. – Неужели ты думаешь, что я могла бы хоть когда-нибудь забыть то мгновение, когда ты мне пообещал..., что возьмешь меня с собой?

Она остановилась, замолчала, неспособная говорить дальше... Слезы катились у нее по щекам.

Тогда она прошептала:

- Я возвращаю тебе твое обещание... так как... то, что однажды было разбито, никогда больше не будет целым. Это твои собственные слова, и я вижу, что ты прав. И ты... Ты больше не нуждаешься во мне, так или иначе, Солнце. Но даже если бы ты и простил мне все, я никогда больше не смогла бы быть с тобой такой, как раньше. Я знаю это, и так как я к этому времени уже так часто разочаровывала тебя, я жила бы только лишь в постоянном страхе перед всем этим, что...

Она поднялась, хотела сделать пару шагов.

- Боже мой! Как ты еще тут живешь! ... В такой тесноте!

Ее руки беспокойно двигались по ее фигуре, лицу, волосам.

Беспокойно я тоже встал. Тут она уже лежала на моей груди, охватила меня, дрожа, и всхлипывала.

- Так что же мне все-таки еще делать? Что? – спрашивала она саму себя в отчаянии, уткнувшись головой в мое плечо.

- Послушай, – внезапно сказала она решительно и взглянула теперь на меня.

- Если я больше не смогу дальше, абсолютно, ты же знаешь меня, придешь ли ты тогда однажды ко мне, Солнце?

- Наташа..., – ответил я укоризненно.

- Это тоже причина, почему я пришла к тебе, – прибавила она настолько быстро, что я ничего больше не мог добавить. – Ты обещаешь мне это? Даже если ты будешь где-то в другом месте, далеко за границей? Большого я не хочу от тебя!

- Наташа...

Ее рука закрыла мой рот. Она настойчиво качала головой, и знакомая мне с ее детства складка над тонкой спинкой ее носа стала еще глубже.

- Могу ли я поцеловать тебя в щеку?

Я прижал ее к себе, гладил ее, целовал ее глаза.

- Нет! – сказала она испуганно и освободилась. – Нет! Еще нет, Солнце!

Она взяла мою голову в обе руки и касалась моих щек своими дрожащими, мягкими губами.

Я хотел проводить ее, так как все еще надеялся, что смогу продолжить разговор, что смогу убедить ее, но она попросила меня не делать этого.

Переступая порог моей двери, она указала на угол.

- Тогда я стояла здесь и ждала тебя. Это никогда больше не повторится... И это ужасно!

Ее глаза смотрели мимо меня; слезы стояли в них. Я больше не мог понять, о чем она думала.

Затем она ушла.

В окно я видел, как водитель открывает дверь ее машины, как она садится и уезжает.

Впервые она не оглянулась назад.

Незаметно я следил за ее дальнейшей жизнью. Я часто думал о ней и написал ей два подробных письма...

Но ответа на них я так и не получил.

Да и что она должна была ответить мне?

Прошли годы. Тогда Наташа позвонила мне.

Она ждала меня со своей последней искрой жизни.

Когда я вошел в больничную палату, ее осунувшееся лицо прояснилось в слабой, потерянной улыбке. Я присел к ней и осторожно взял ее руку, которую она больше не могла протянуть мне.

Ее комната напоминала цветник, и я знал, почему больше не нужно было выносить ее драгоценное разнообразие. Немного пахло ладаном. На ночном столике стояла маленькая освященная иконка ее матери. Часами я сидел рядом с нею.

Наступила ночь.

Лишь только на короткое время жизнь вспыхнула в Наташе. Я понял ее взгляд и осторожно взял ее руку. Она кивнула едва заметно и непрерывно смотрела на меня своими ставшими зловеще большими черными глазами. И я тоже кивнул ей. Она должна была видеть, что я понимал ее мысли, которые я знал с ее детства.

Потом она заговорила очень тихо, и я приложил ухо к ее горячим, открытым губам, чтобы не потерять ни одного из ее слов. Но ее голос был слишком слаб. Я больше не мог понимать ее.

Медленно ее веки закрывались.

Аромат цветов, жизни, доносился к нам. – Душенька, – тихо позвал я ее.

Ее взгляд поднялся и снова довольно долго был обращен на меня. Я приложил мою щеку к ее щеке, гладил ее волосы. Наташа больше не двигалась. Ее веки оставались закрытыми, и мне уже не хватило духу, чтобы окликнуть ее еще раз.

Только когда рассвет едва заметно забрезжил, она немного пошевелилась, еще раз раскрыла глаза. Она стала неестественно прекрасной. Холодными, тонкими кончиками пальцев, которые уже приобрели немного восковой цвет, она едва заметно провела по тыльной стороне моей ладони.

Внезапно она вцепилась в меня, попыталась подняться. Я подпирал ее, и она еще на мгновение успокоилась в моих руках... как когда-то. Ее рот раскрылся и прошептал:

- Ах...

Я почувствовал дуновение ее последнего вдоха.

Ее пульс остановился.

Горькое выражение образовалось вокруг ее губ, которые утратили все до сих пор детское, впервые стали чужими.

Светлая тень скользнула над ее лицом...

Я закрыл ей веки. Я уложил ее обратно на подушки... освободил ее и трижды осторожно осенил ее лицо крестным знаменем... как символом нашей жизни и страдания. Затем я встал на колени перед нею.

Перед ее безграничным одиночеством.

Еще долго я не мог отвести взгляд от покойницы. Я пытался вести с ней немой диалог, но это не удавалось мне... как тогда с моим отцом.

И тогда я начал искать ответ на ее лице с постоянством и просьбой человека, которому был так необходим этот ответ: К чему все же была дана нам эта жизнь, что взяла она с собой из этой жизни?

Ее лицо не давало ответ...

Оно было совершенно замкнуто в себе, так ужасно тихо... Вероятно, когда-то моя жена тоже будет стоять рядом со мной, мой ребенок, мой сын, который задаст точно тот же вопрос мне и моему замкнутому лицу: «Зачем ты жил, отец?»

Также я не дам ему этого ответа.

На белом железном ночном столике стояла иконка. По обе ее стороны догорели до конца восковые свечи; русский священник дал ей святыя таинства.

Я взял иконку. За ней я нашел последнее письмо Наташи мне.

«Солнце, будь милым и проводи меня. Уладь все. Я стояла, разгоряченная после выступления, на сквозняке. Ты всегда злился на меня за это. Я подумала об этом, когда тоска вернулась снова. Я не боялась, когда делала это. Я больше не хотела. Зачем еще кусочек моей жизни?»

Мой дом в Мекленбурге принадлежит тебе.

Оставшееся распредели среди сирот. Я тоже была такой сиротой во всем! Наташа».

В часовне я вложил иконку и букет подснежников в сложенные руки Наташи, рядом положил ее любимую куклу Акулину. Затем я заботливо накрыл ее в последний раз, что ей так нравилось, когда она была ребенком, и ждал, пока ее цинковый гроб запаляли и вложили в дубовый.

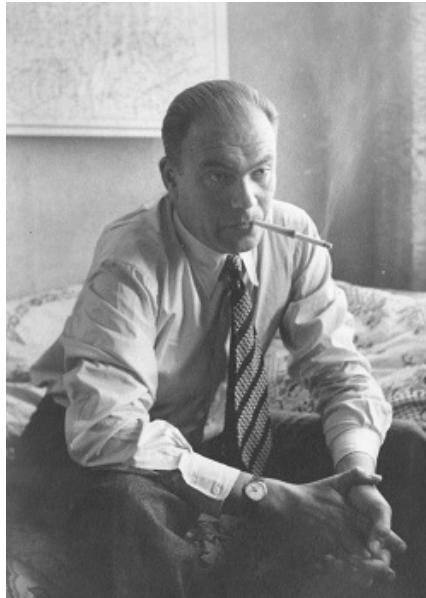
Она немного склонила свою голову в сторону.

Она очень крепко спала.

Я был единственным, кто шел за старым русским священником. Вокруг теснилась большая толпа, окружала могилу. Только священник и я бросили внутрь три лопаты земли. Я оставался у нее, пока поток венков над ней не закончился. Наступила тьма.

И стало очень, очень тихо.

ТЕОДОР КРЁГЕР,



широко известный автор книги «Забытая деревня» родился в 1897 году в Петербурге в семье мекленбургского фабриканта.

(В большинстве источников в качестве года рождения указан 1891, и он представляется более достоверным, так как при более позднем годе рождения автору в начале Первой мировой войны было бы только 17 лет. – прим. перев.)

В возрасте десяти лет он был отправлен в швейцарскую школу-интернат, после получения аттестата зрелости совершал авантюрные поездки по Европе, был лейтенантом резерва в немецкой армии, а потом работал инженером у своего отца. Когда в начале Первой мировой войны отцовские предприятия были конфискованы, Крёгер попытался сбежать в Германию. Тем не менее, его побег не удался; у границы между Финляндией и Швецией он был арестован, заключен в царскую тюрьму в Шлиссельбурге и из-за подозрений в шпионаже «временно» выслан в пожизненную ссылку в Сибирь. Пережитое им во время этой ссылки он позже описал в своем знаменитом романе «Забытая деревня», который после своей первой публикации в 1934 году относится к самым успешным книгам нашего времени. В нем Крёгер в форме исповеди рассказывает, как он после бесконечных скитаний с колоннами заключенных, наконец, попадает в затерянную в тайге на севере Сибири деревню Забытое, освобождается здесь необъяснимым образом, и как он теперь на протяжении пяти лет помогает сделать из заброшенной штрафной колонии военнопленных и политических узников достойное человека поселение. Крёгер называет эту книгу «книгой о товариществе». Она представляет собой хвалебную песнь верности и непреклонной воле

к жизни и дает внушительное описание жесткой борьбы за существование в сибирском ландшафте, о котором Крёгер говорит: «Нет другой страны, познавшей более высокие высоты и более глубокие глубины человеческой души». Однако большевистская революция зимой 1917-1918 годов не остановилась перед процветающей общественной жизнью в Забытом, которую Крёгер со своими друзьями выстроил буквально из ничего, и поэтому ему в 1919 году приходится пробиваться на Запад.

Его записи первых лет после бегства, которое привело его сначала в Берлин, содержатся в данном романе «Наташа». В течение долгих лет Крёгер работал над рукописью этой книги, которая была задумана им как продолжение его рассказа о России. Только незадолго до своей смерти в 1958 году в монастыре близ Давоса в Швейцарии, он смог закончить эту работу.

Он вновь увидел Сибирь и «забытую деревню» только лишь однажды, но лишь спустя много лет, так как большевистское влияние распространилось уже почти на всю Россию и так как для оставленных друзей из бывшей штрафной колонии возможностью спасения оставалось только бегство. Но то, что он пережил в Сибири, нашло отражение позднее в последующих романах и рассказах, например, в романе «Родина на Дону» (1937), любовной истории, действие которой происходит во время русской революции, и в рассказе «Ангел-хранитель» (1939).

Перевод с немецкого: Виталий Крюков, Киев, Украина, 2015 г.

Русский Интеллектуально-Познавательный Ресурс
«ВЕЛЕСОВА СЛОБОДА»



Если вы хотите автоматически получать информацию о всех обновлениях на сайте, подпишитесь на рассылку --> [Новости сайта Велесова Слобода](#).